

Зденек МЛИНАРЖ

**ХОЛОДОМ
ВЕЕТ
ОТ КРЕМЛЯ**



ZDENĚK MLYNÁŘ
NIGHTFROST IN PRAGUE

Publisher: PROBLEMS OF EASTERN EUROPE
P.O. Box 566
Maspeth, New York 11378
U.S.A.

Перевод: *Лариса Силницкая*
Редакция: *Людмила Алексеева, Борис Шрагин*
Художник: *Лев Межберг*

Russian translation copyright
by Problems of Eastern Europe

Manufactured in the U.S.A.

Зденек МЛИНАРЖ

**ХОЛОДОМ
ВЕЕТ
ОТ КРЕМЛЯ**

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

**ПРОБЛЕМЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
PROBLEMS OF EASTERN EUROPE**

NEW YORK

1988

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ко второму изданию.....	I-IX
Пролог.....	5
Глава I: От Хрущева к Дубчеку.....	29
Глава II: Пражская весна среди власть имущих.....	89
Глава III: Перед судом Кремля.....	168
Эпилог.....	287

ПРАЖСКАЯ ВЕСНА – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ (предисловие ко второму изданию)

Мои воспоминания были написаны в конце 1977—начале 1978 г., вскоре после эмиграции из Чехословакии в Вену, десять лет спустя после описанных событий. Косные антидемократические силы в странах советской сферы влияния, которые, собственно, и осуществили вторжение в Чехословакию, находились тогда на вершине власти.

Я не пессимист, и никогда не верил, что развитие остановится на этой точке или повернет вспять, но тогда положение „реального социализма” представлялось мне в очень мрачных тонах. Если бы тогда мне сказали, что через десять лет центром новой попытки проведения реформ и демократизации системы советского типа станет Москва и что в Праге Гусак и Биляк заговорят о необходимости „нового мышления” и развития демократии, я счел бы это безвкусной шуткой. И все-таки это произошло. Читатель, разумеется, вправе задать мне вопрос, написал бы я сейчас свои воспоминания так, как десять лет назад? Он вправе был бы спросить меня и о том, как в свете моего чехословацкого опыта я оцениваю перспективы нынешней реформистской политики советского руководства. На эти вопросы я попытаюсь коротко ответить в предисловии ко второму изданию моей книги.

Десять лет назад я писал воспоминания о Пражской весне как о завершенном историческом периоде. В настоящее время, однако, выявляется, что хотя речь идет об историческом прошлом, Пражская весна не утратила политического значения ни для Чехословакии, ни для других стран советской сферы влияния, в

том числе для СССР. Поэтому не исключено, что если бы я писал свою книгу сейчас, я уделил бы больше внимания вопросам, актуальным сейчас, т. е. анализу основных программных концепций коммунистов-реформаторов в период Пражской весны, и меньше — некоторым событиям и людям, которые, как я полагаю сейчас, подробного описания не заслуживают. Не исключено, что я описал бы некоторые события и отдельных людей с учетом той роли, которую они могут сыграть в политике сегодня или в недалеком будущем. Десять лет назад такой самоцензуре я себя не подвергал. Я писал о событиях и людях лишь то, что я действительно думал о них, не ставя перед собой вопрос, как это отразится на конфигурации политических сил в будущем. Мне думается, что такой подход был верным и придает определенную цену воспоминаниям и в настоящее время.

Мемуарная литература — это субъективные свидетельские показания. Она не может заменить объективных аналитических исследований, но зато круг ее читателей более широк, потому что именно субъективная оценка событий, ощущений, переживаний людей в прошлом интересуют людей будущих поколений больше, нежели самые объективные анализы.

Мои воспоминания о Пражской весне, моя оценка этого периода, безусловно, односторонни, поскольку они соответствуют моему личному, а тем самым и одностороннему опыту, что вытекает из той роли, которую я играл, и того поста, который я занимал в эти восемь месяцев 1968 г. События, наблюдаемые из окна секретариата ЦК КПЧ, давали мне, разумеется, иную картину, нежели та, которая предстала перед глазами миллионов людей, ни разу не переступивших порог ЦК. Происходящее за обитыми дверьми — в Праге или в Москве — отличается от происходящего на улицах. Но, я думаю, эта односторонность, если ее, разумеется, сознают и автор и читатели, имеет познавательное значение. Если такая односторонность повлияла на мою книгу десять лет назад, она неизбежно повлияла бы на нее и в том случае, если бы я писал свои воспоминания сейчас. Происходившее за обитыми дверьми секретариата — факты, которые не могли бы изменить и истекшие десять лет. И рассказывал бы я об этом так, как я рассказал десять лет назад.

Нарисованная мной картина Пражской весны не является собранием положительных героев. Она показывает людей, в

большинстве своем питавших благие намерения, но не добившихся успеха. Они оказались побежденными, и этому поражению они нередко сами способствовали своими действиями и допущенными ими ошибками. Я думаю, что в этом нет ничего удивительного, в истории много аналогичных примеров. Это, однако, не снимает вины с тех, кто задушил Пражскую весну военным вторжением, нарушив основные нормы международного права, не только нормы человеческой морали. Таковы факты, и не следует о них молчать или приукрашивать их.

Я убежден, что именно сейчас, когда предпринимается новая попытка реформировать систему советского типа, исключительно важно объективно проанализировать, что же, собственно, произошло в период Пражской весны. Как я уже говорил, мой взгляд на эти события односторонен, он охватывает Пражскую весну в сфере власти имущих, в рядах правящей элиты, если пользоваться социологическими терминами. Однако иллюзии относительно представителей этого слоя могут оказаться особенно опасными в ситуации, когда от них-то и ожидают перемен к лучшему.

Тем самым я подхожу ко второму вопросу: как я оцениваю перспективы нынешней горбачевской политики. Из эту тему, разумеется, можно написать отдельную книгу но я ограничусь лишь некоторыми замечаниями.

Попытка провести радикальную реформу системы советского типа, которую три года назад начал осуществлять М. Горбачев, имеет множество сходных черт с чехословацкой попыткой реформы в 1968 г. и в то же время во многом отличается от Пражской весны. Эти различия столь же велики, сколь велики различия между историческими традициями обоих государств, между их возможностями автаркного развития и между политическим значением Чехословакии и СССР на международной арене. Но горбачевская политика является исторической реабилитацией чехословацкой попытки реформы в 1968 г., независимо от того, что по этому поводу говорит или может сказать Горбачев. Это, однако, не означает, что в Чехословакии Пражская весна может просто повториться.

Нынешняя советская политика создает благоприятные условия для возможной реформы в Чехословакии. Можно сказать, что при Горбачеве не возникла бы угроза военной интервенции

за перемены, подобные проводившимся в период Пражской весны. Однако Пражская весна была результатом внутреннего развития чехословацкого общества, она не была стимулирована извне, хотя определенную роль, безусловно, сыграл хрущевский период десталинизации. Но в настоящее время внутренние условия ЧССР весьма отличны от условий 1968 г., и потому не следует даже ожидать событий, аналогичных Пражской весне.

В этом введении я не могу дать подробный анализ перемен, произошедших за последние 20 лет в Чехословакии в результате „политики нормализации”. Я убежден, что ни управляемое большинство, ни правящее меньшинство уже не разделяют и не могут разделять ту же надежду на осуществление общих целей и общей мечты, тогда как в 1968 г. большинство чехов и словаков, в том числе коммунисты, действительно верили в такую возможность. С одной стороны, этот факт следует оценить положительно: это означает, что будет меньше иллюзий и больше политического реализма. С другой стороны, это создает атмосферу, в которой никто не хочет ставить на карту уже полученное к настоящему моменту, уже апробированное и кажущееся устойчивым и прочным, ради надежд на обещаемые перемены. Разумеется, не следует удивляться проявлениям недоверия в обществе, большинство которого не имеет иного опыта, кроме приобретенного после 1948 г. (год прихода коммунистов к власти в Чехословакии. — Ред.) и особенно после 1968 г. В то же время недоверие является фактором, препятствующим возникновению общественной и политической атмосферы, которая обусловила то беспрецедентное слияние реформ „сверху” с надеждами „снизу”, что, собственно, представляло собой суть Пражской весны.

Я считаю, что это явление не может повториться в обществе, где большинство членов компартии, обладающей монопольной властью, вступило в нее уже после чистки 1970 г. — не по убеждению в правильности социалистических идеалов, а, главным образом, по причинам низменным, многие — по карьеристским соображениям, ради выгод и привилегий. Пражская весна не может повториться в обществе, большинство которого представляют поколения, убежденные, что политика — это сфера деятельности всемогущих бюрократических аппаратов, постановления которых приходится выполнять (или обходить).

Всеобщее поправление принципов, в соответствии с которыми люди вознаграждаются за свой труд в зависимости от его производительности и квалификации, господство коррупции во всех сферах общественной жизни, цинизм — вместо тех ценностей, которые провозглашает официальная идеология — все это создает совершенно маразматическую обстановку, в которой не могут расцвести надежды, вера и вдохновение времен Пражской весны.

Положение, к тому же, усугубляет стремление власть имущих навязать себя как гаранта новой политики реформ. Такого рода попытки ни граждане, ни партийный аппарат не могут рассматривать как путь к серьезным переменам, как начало нового этапа. Не следует искать выхода и в возвращении к власти руководства 1968 г. Не только потому, что многие члены этого руководства уже пенсионеры, а некоторых уже нет в живых, но потому, что люди, не обладавшие достаточными способностями воспрепятствовать произошедшей двадцать лет назад катастрофе, вряд ли стали бы наилучшим гарантом политического успеха в нынешнее время.

Выход из положения, таким образом, вынуждены будут найти активные представители тех поколений, которые определяют нынешнее положение в Чехословакии, — в области экономики, политики и культуры. Для них же 1968 г. — история; тогда они были детьми. Их взгляд на чехословацкое общество и на мир, их убеждения, их ценности будут определять характер новой попытки изменения экономической и общественно-политической системы.

Для успеха этой попытки, однако, необходимо, чтобы 1968 г. перестал быть для них легендой, а для власть имущих — пугалом. Этого нельзя добиться без откровенной дискуссии о Пражской весне — не только историков и других специалистов, но и при участии общественности. Каждый, кто интересуется этим, должен иметь возможность прочитать документы того времени, видеть фильмы того времени и ознакомиться с любыми материалами и взглядами времен Пражской весны. Создание необходимых для этого условий уже само по себе явилось бы существенной политической переменой, элементом нового в общественной жизни. Кроме того, право на участие в политической жизни страны должны получить все, кто за взгляды,

высказанные в 1968 г., и за действия в период Пражской весны были его лишены, и подверглись преследованиям, и те, кого до сих пор называют за это преступниками. Без такого рода изменений Чехословакия не сможет вылечиться от травмы 1968 г.

Моя книга уже десять лет назад стала вкладом в такого рода обсуждение Пражской весны и продолжает оставаться таковым, хотя мое свидетельство, конечно, субъективно, предвзято, основано не только на рациональных рассуждениях, но и на личных переживаниях и эмоциях. Но это свидетельство о важнейших событиях в Чехословакии и вне ее (например, на переговорах в Кремле в августе 1968 г.).

Я считаю своей обязанностью предостеречь читателя от попыток найти в этой книге нечто другое — например, предсказание того, что может произойти с горбачевскими попытками осуществить реформу. По-моему, успех или провал этой политики зависит, главным образом, не от факторов, действовавших в период Пражской весны, а от тех, которые отличают советскую ситуацию от чехословацкой.

Прежде всего, Горбачев стремится осуществить реформу системы советского типа „на ее родине”, а не в маленьком государстве, которое в значительной степени зависит от внешних влияний и обстоятельств. За спиной СССР 70 лет автаркного развития, которые продемонстрировали, что хотя содержание политики советского руководства в определенной степени зависит от внешних факторов (например, от войны или „холодной войны”), однако решающее значение для этой политики имеют внутренние условия и потребности советского общества. Для этого общества в настоящее время нет иной программы, которая могла бы обеспечить развитие вперед, модернизацию и динамизм, нежели горбачевская программа. Консервативные силы, определяющие судьбу советского блока в 1968 г., в последующие двадцать лет провалились не только при осуществлении внутренней политики, но и во внешней великодержавной политике — в обоих этих направлениях СССР завел страны Восточной Европы в тупик.

Внутреннее положение в СССР, разумеется, отличается от положения в Чехословакии весьма существенно, поскольку в СССР в связи с традициями этой страны гораздо легче проводить реформы „сверху” без оппозиционного давления „снизу”, без

требований более широкой демократии, большей автономии для различных групп интересов. Если Дубчек столкнулся с проблемой необходимости регулировать давление „снизу” за плюрализм и за обеспечивающие этот плюрализм институты, против ограничения рамок реформы, то перед Горбачевым стоит совершенно противоположная проблема: как стимулировать нажим „снизу” с требованием реформ и ограничить активность „снизу” за сохранение авторитарной системы в духе национального шовинизма и великодержавной гегемонии.

Как может убедиться мой читатель, в 1968 г. я полагал, что экономическая и политическая система, выросшая на основе тоталитарной сталинской диктатуры, в определенных обстоятельствах может привести к кризису и вызвать взрыв недовольства. Реформировать такую систему постепенно, не вызывая волнений общественности, не легко. Однако я и сейчас убежден, что это единственно реально возможный путь изменения системы во всех странах советской сферы влияния, в том числе в СССР.

Горбачевская реформа неизбежно будет противоречивым процессом; политики-реформаторы должны будут воевать на два фронта: против консервативных, принципиально антиреформистских сил, и в то же время против тех, кто требует радикальных мер, которые могут выйти из-под контроля реформаторов. Мне думается, что Горбачев оказался в такой ситуации уже в нынешнем году. Дальнейшая судьба реформ будет зависеть от того, как он решит стоящие перед ним проблемы.

Это не единственное сходство с периодом Пражской весны. Мне, однако, кажется, что внутривнутриполитические предпосылки обеспечения контроля „сверху” над процессом реформы в СССР лучше, чем в Чехословакии в период Пражской весны.

Справедливо было бы возразить, что обеспечение контроля „сверху” над общественным развитием не является и не может быть оптимальной программой в обществе, которое называет себя социалистическим. Я совершенно согласен. Я считаю, однако, что в настоящий момент речь идет не об оптимальном развитии социализма, а просто о том, как на практике ликвидировать систему, корни которой уходят во времена тоталитарной диктатуры Сталина, и заменить ее системой, способной эволюционировать и обладающей хотя бы элементами демократии. Только потом, если окажется успешным этот первый этап, в Советском

Союзе может начаться процесс, в ходе которого общество само будет искать пути развития, которые сочтет оптимальными.

Следует иметь в виду, что максимальным результатом реформы в СССР может быть достижение такого уровня демократизации, который соответствует историческим традициям и нынешним возможностям советского общества. При этом даже успех горбачевских реформ не может автоматически решить проблемы стран Восточной Европы, относящихся к иной, нежели Россия, культурно-политической традиции. В первую очередь, это относится к Чехословакии.

Чехословацкий затяжной кризис, углубившийся после вторжения 1968 г., невозможно решить, не восстановив связь этой системы с западноевропейской политической традицией, поскольку чешские земли и отчасти Словакия в течение веков развивались именно в контексте этой традиции. Особый путь к социализму — единственно позитивный путь. Он состоит не в праве на народный костюм и фольклор, а в праве самостоятельно принимать решение о том, к какой цивилизации данный народ относится. В случае Чехословакии такая автономия не может быть реализована в условиях навязанной изоляции от Запада. Такая изоляция не имеет ничего общего ни с социализмом, ни с дружественными связями с СССР. Однако ее тяжелее ликвидировать в международных условиях, определяющихся конфликтом между Востоком и Западом, между военными блоками Востока и Запада. Ее можно было бы ликвидировать, если бы Восток и Запад были демилитаризованы, если бы в отношениях между ними преобладали элементы сотрудничества и мирного соревнования.

Возможность перемен в этой области определяет одно из существенных различий между ситуацией Чехословакии в 1968 г. и СССР в настоящее время. Пражская весна, разумеется, не могла изменить характер отношений между Востоком и Западом. Перемены в советской политике являются, однако, переменами в политике одной из сверхдержав. Проводимые в СССР реформы означают „новое мышление” и во внешней политике, которое Горбачев рассматривает как один из столпов своей реформистской концепции. Речь идет о ревизии проводимой в прошлом великодержавной советской внешней политики, поскольку при Горбачеве военный конфликт был объявлен неприемле-

мой альтернативой решения существующих между Востоком и Западом противоречий.

Эта идея основывается на убеждении, что ядерное оружие массового уничтожения обусловило невозможность победы в войне, поскольку в такой войне не было бы ни победителей, ни побежденных, и она поставила бы под угрозу выживание человечества. В той мере, в какой советское руководство постепенно, основываясь на этой предпосылке, приходит к дальнейшим выводам (например, о понимании безопасности как взаимной безопасности; о предпочтительности совместного решения общечеловеческих проблем современного мира, а не конфликта между двумя политическими системами и т. п.), советская политика реформ становится элементом перемен не только в СССР и странах советской сферы влияния, но и на международной арене.

Само собой разумеется, что, исходя из опыта Пражской весны, невозможно предсказать, есть ли шансы на успех у тех грандиозных целей, которые сформулированы в горбачевской концепции реформ. В СССР одновременно решаются и иные проблемы, и в конфликт вовлечены совершенно иные общественные силы.

Я лично убежден, что каждый, кто был и продолжает оставаться сторонником программы, выдвинутой КПЧ в период Пражской весны, в настоящее время должен поддерживать политику Горбачева, несмотря на то, что советское руководство пока не проявило достаточного мужества по отношению к Пражской весне, не осудило военное вторжение в Чехословакию в августе 1968 г., не проанализировало критически действий тогдашнего руководства. Такой анализ неизбежно привел бы советских руководителей к выводу, что подавление Пражской весны танками обусловило подавление в СССР тех сил, которые могли выступить против брежневской застойной политики и раньше, не дожидаясь 1985 г., предложить народам СССР иную альтернативу — проведение реформ.

Млинарж требует реабилитации Пражской весны

Бонн, 3 мая 1988.

Зденек Млинарж, занимавший во время *Пражской весны* пост члена политбюро и секретаря ЦК КПЧ, призвал сегодня чехословацких руководителей сказать правду о *Пражской весне 1968 г.*, а Москву признать военное вторжение в Чехословакию ошибкой.

Это заявление Млинарж, ныне проживающий в Западной Европе, сделал на пресс-конференции в Бонне, созванной партией *Зеленых* по случаю 20-я годовщины *Пражской весны*. Он выступил по этому поводу также перед депутатами этой партии в Бундестаге.

Млинарж отметил, что нынешние советские реформисты восприняли многие идеи *Пражской весны*, в том числе идею о политической демократии как условии успеха экономических реформ. Советские реформисты, по словам Млинаржа, также осознали, что советская система не может существовать в прежнем виде. Однако, сказал он, в Чехословакии *Пражскую весну* невозможно повторить, потому что за последующие 20 лет изменились и общество и КПЧ.

Млинарж призвал нынешнее руководство КПЧ прекратить лживые заявления о *Пражской весне* как об антисоциалистическом и контрреволюционном явлении и допустить честную политическую дискуссию. Млинарж отметил, что нынешнее руководство КПСС не несет непосредственной ответственности за военное вторжение в Чехословакию в 1968 г., но это не значит, что оно должно утверждать, что в этом повинна Чехословакия. Он подчеркнул, что военное вторжение было осуществлено не чехословацкими, а советскими танками.

Млинарж призвал СССР заявить, что вторжение в Чехословакию было политической ошибкой, которая не должна повториться. Он указал, что такое заявление продемонстрирует искренность слов генерального секретаря КПСС М.С. Горбачева об общем европейском доме.

Млинарж напомнил, что военное вторжение 1968 г. было трагедией не только для Чехословакии, оно положило начало застою в СССР и активизировало его агрессивность в международной политике, что в настоящее время советское руководство осуждает.

Млинарж положительно оценил тот факт, что по истечении 20 лет стали уделять внимание не только советскому военному вторжению, насильственно подавившему реформы в Чехословакии, но и самой сути чехословацких реформ.

На вопрос о Горбачеве, с которым Млинарж учился в МГУ, он ответил, что если бы Горбачев жил в Чехословакии, он не мог бы быть членом КПЧ, так как его исключили бы из партии как ревизиониста, и вынужден был бы работать исполнителем. Млинарж сказал, что если Горбачеву удастся укрепить свое положение в СССР, то это приведет к изменениям и в Чехословакии, но не к повторению *Пражской весны*, поскольку в нынешней КПЧ нет активных сторонников реформ и она не пользуется поддержкой народа.

ПРОЛОГ

Мне еще не было шестнадцати, когда весной 1946 г. я вступил в партию. Я принадлежу к поколению коммунистов, которым в 1948 г., при установлении коммунистической диктатуры, было около двадцати лет. Те, кто к тому моменту был старше, смотрели на вещи иначе: они помнили не только военные годы, но и жизнь в демократическом государстве. При обычных условиях разница между людьми в пять лет не очень значительна. Но если как раз за эти годы происходит мировая война, различие оказывается огромным.

Мое поколение, захваченное бурным развитием событий, увлеклось политикой слишком рано, не успев накопить политического опыта. Мы знали только войну и оккупированную Чехословакию, но и этот опыт был, скорее, детским. Наше видение мира оказалось поэтому черно-белым: либо — враг, либо — враг врага. Победа может быть за одним или за другим, а третьего не дано. Победа линии, которую мы считали правильной, отождествилась в наших глазах с ликвидацией, уничтожением другой.

Против врагов мы боролись тогда со всей страстью молодости. При нашем черно-белом мировосприятии последовательность и радикализм казались самыми важными качествами в политике. Осторожность родителей, которые оправдывали ее при протекторате сотрудничество с оккупантами, нам надоела до смерти. А если кто и пытался объяснить нам примитивность нашего радикализма, таких мы считали трусами. Собственный наш опыт нас не научил, что демократия предполагает совершенно иную постановку вопроса, что при демократии победа одной идеи вовсе не должна означать уничтожение всех остальных. Мы были дети войны, но никогда не сражались. Психологию военных лет мы привнесли в первые послевоенные годы, когда, казалось, наступила наша очередь вступить в борьбу.

На вопрос, против кого и за что сражаться, эпоха давала четкий ответ: на стороне тех, кто последовательнее и радикальнее

всех выступает против прошлого, кто не трусит, не ищет компромисса с прошлым. Такой силой казался тогда Советский Союз, а такой личностью — Сталин. Сейчас это выглядит абсурдом, но в первые послевоенные годы все было именно так.

В Чехословакии 1945 года поклонение Советскому Союзу и Сталину не противоречило общенародному стремлению к свободе и справедливости. Напротив, оно отождествлялось с этим стремлением, придавало ему конкретность: борьба за социальную справедливость и равенство людей. Для тех, кто решительно разошелся с прошлым, но ничего толком не знал о советской жизни, Советский Союз был страной сбывшихся надежд. Без корыстных расчетов и помыслов, движимые внутренним убеждением мы пришли в партию, восприняли ее идеологию.

Наши представления о марксизме в те первые годы были весьма туманны, хоть и глотали мы с жадностью бывшие тогда в ходу идеологические снадобья. Статья Сталина "О диалектическом и историческом материализме", "История ВКП(б)", "Коммунистический манифест", "Анти-Дюринг" Энгельса, "Государство и революция" Ленина, "Вопросы ленинизма" Сталина — таковы были вершины марксистского обучения. Из этих обрывков мы формировали систему своих взглядов, из идеологических брошюр извлекали свою политическую и человеческую позицию.

Почему эта литература оказалась для меня в те времена политической Библией, почему нашла она отзвук в глубинах моей души? Объяснить это я смог только много лет позднее. Мне думается, что идеология, изложенная в этих брошюрках, порождает в полуобразованном человеке иллюзию, будто он познал все, овладел закономерностями развития мира и человечества. От него требуется фактически только одно — верить. И чем человек необразованней, чем больше он жаждет знать, тем легче он верит, ибо вера как бы подменяет знание. Меняется внутренний мир, поскольку начинает казаться, будто обретен безошибочный ориентир; знания по-прежнему нет, но появляется способность судить — что прогрессивно, а что реакционно, что хорошо, а что вредно для будущего человечества. Не слишком утруждая себя учеными занятиями, человек уже знает наперед, что научно, а что антинаучно. Он сразу поднимается выше несознательных, которые по-прежнему блуждают в неведении и сомнениях;

он прозрел. Он по-прежнему ничего не знает, но считает себя сознательным.

Что наличие веры возносит человека над неверующими, это мы слышали не только по поводу коммунистической идеологии. Христиане тоже считают себя выше язычников и безбожников. Весь вопрос в том, как верующий, действуя во имя своей веры, поступает с неверующими, насколько сознание собственного превосходства оправдывает его насильственные действия по отношению к остальным. Вера в коммунистическую идеологию сталинизма, в которую я, как и десятки тысяч моих современников, обратился в 1945 г., оправдывала крестовый поход против не веривших в коммунизм.

Большинство именно потому так легко и спонтанно приобщилось к коммунистической вере, что она соответствовала нашему сформировавшемуся в годы войны черно-белому политическому мировоззрению. Были указаны враги, снова определена ясная цель: уничтожить противника (на этот раз — "как класс"), сделать это радикально, бескомпромиссно, расчистив тем самым путь новому, справедливому обществу (на этот раз коммунистическому, в котором все будут равны, где не будет социальных противоречий и войн, которое принесет счастливое будущее). Нужно только последовательно и энергично бороться, выиграть "последний и решительный бой", как поется в "Интернационале". Нас, накопивших, но не израсходовавших в годы войны энергию, эта идеология притягивала как магнит.

До февраля 1948 г. и еще несколько лет после переворота представления моих сверстников о социализме были примитивней и односторонней, чем у старших коммунистов-сталинистов, которые благодаря своему политическому опыту время от времени вносили коррективы в идеологические постулаты своей веры. Но зато в нас было больше самоуверенности, что роднило нас с западноевропейскими маоистами и представителями других течений "новых левых" конца 60-х гг. Мы были сектой и отличались всеми присущими сектам особенностями: мы были счастливы в кругу единомышленников, мы исповедовали собственные ценности и свою мораль, приверженность которым постоянно освежала в нас ощущение превосходства по сравнению с неверующими. Когда вера требовала бескорыстия и жертвенности, на нас можно было положиться. Мы доброволь-

но и бесплатно ездили на субботники – в шахты, на строительство и сельскохозяйственные работы; мы работали по ночам, по воскресеньям, во время каникул и отпусков. Мы не только заседали в парткомах, мы там жили. Небольшой аппарат Коммунистического союза молодежи Чехословакии получал в первые годы зарплату, которая была намного ниже среднего заработка рабочих.

Все это мы делали с воодушевлением, и с таким же воодушевлением играли роль статистов в первых спектаклях, разыгранных коммунистической партией. Мы были верными оруженосцами этой партии, и партийное руководство умело нас использовать, когда в его интересах было, чтобы мы не только поддакивали, но в меру своих возможностей и действовали. Мы еще не заседали в судах и не приговаривали к виселице, но уже одобряли, когда это делала партия. Нашими руками проводились репрессии иного рода: различные проверки и чистки, в результате которых многие противники и критики нашей веры теряли возможность получить образование, найти свое место в жизни или просто заработать себе на хлеб. Нам казалось вполне естественным, нравственным и справедливым, что политическая власть, опираясь на тотальную диктатуру, защищает и выдвигает именно нас. Это тоже соответствовало нашей морали и нашей вере. И мы так думали, хотя противникам наша вера вовсе не казалась такой уж бескорыстной. Любая критика воспринималась тогда как проявление "классовой вражды" к нашей политической программе, а критикующих мы, учась у наших старших товарищей, подавляли и уничтожали.

В многочисленных дискуссиях в узком кругу коммунистов, а иногда и открыто, когда обсуждался вопрос об ответственности за преступления 50-х годов, много раз повторялся один и тот же довод: ведь тогда мы действительно верили в партийную идеологию. Это – всего лишь констатация факта, но не помогает определению ответственности или конкретной доли вины за прошлые и настоящие действия партии, членом и активным проводником политики которой был или продолжает оставаться данный человек. Мы ответственны и за то, во что верим. Факт моей веры – не оправдание, а признание вины. То, что я искренне верил, конечно, отличает меня от тех, кто поддерживал действия и преступления режима, не веря при этом, что "с

исторической и классовой точки зрения” это полезно и необходимо. Факт моей веры может свидетельствовать, что я не подлец, что я не творил зло за деньги или из карьерных соображений. Все это так. Но это еще не избавляет меня от ответственности и признания своей вины.

Вспоминая все пережитое, оценивая воздействие на меня веры в Сталина, я вынужден признать, что моя вера, скорее, увеличила вину — хотя бы потому, что я позже других сумел сделать надлежащие выводы, которые подсказывались мне повседневной политической практикой. Ведь мы, молодые, убежденные коммунисты, видели то же, что и другие, видели, но воспринимали все иначе. Мы постоянно обнаруживали доказательства верности нашей позиции, тогда как другие находили в той же действительности множество аргументов против нее.

Моя коммунистическая вера тех лет представляла собой логически замкнутую систему ценностей, в которую не могли проникнуть ни свежий аргумент, ни новая идея, ни накопленный опыт. Я не берусь сейчас решать вопрос, присуще ли это самой марксистской философии в ее неупрощенном виде. Не это представляется мне сейчас важным. Важно, что эта герметическая закрытость присуща коммунистической идеологии в том ее виде, в каком мы ее восприняли тогда (а некоторые компартии воспринимают и до сих пор), в каком ею руководствовались в своих повседневных действиях ”истинно верующие”, ”сознательные” коммунисты.

Для верующего коммуниста критерием оценки действительности является лишь то, что усвоенная им идеология считает важным для достижения ею же поставленной цели. Критика, которая базируется на иных ценностях, не может поколебать его убежденности в верности собственных идей, ибо в глазах верующего коммуниста такая критика ничего общего с его целями не имеет.

Основной ценностью в системе нашей тогдашней коммунистической веры было абстрактное понятие об ”интересах рабочего класса”; этому подчинялось все — от экономики до нравственности. Нравственно то, что служит рабочему классу — так говорил Ленин. Если же кто-то возражал, что та или иная политическая мера с экономической точки зрения неэффективна, для нас это не имело никакого значения, ибо тотчас же связывалось

с буржуазным взглядом на вещи. Та же судьба постигала любое напоминание, что та или иная политическая мера не вяжется с одной из десяти заповедей.

Как же мы тогда судили, что именно "в интересах рабочего класса", а что — нет? На основе демократически выраженного мнения большинства рабочих? О, нет! Для убежденных сталинистов и этого было бы недостаточно, ибо в их идеологической системе нет места живым рабочим; в ней речь идет лишь о рабочем классе как абстрактном субъекте исторического прогресса. Конкретные живые рабочие могут быть и часто на деле бывают несознательными, неверно понимают свои исторические интересы, отдавая предпочтение сиюминутным выгодам, чему их научил капитализм. Как же тогда на практике проверяет сталинист, каковы подлинные интересы рабочего класса? Опять-таки при помощи своей идеологии и своей партии, которая, как творец идеологии, является для него единственным представителем и выразителем фундаментальных, исторических интересов рабочего класса.

Пока такой верующий коммунист действует в рамках своей логики, своей системы ценностей, ход его мышления выглядит для других людей, как движения вертящейся в колесе белки. Но и окружающий мир не может повлиять на белку, ибо она отделена от него как раз своим вертящимся колесом.

Сознательные коммунисты видели, конечно, те явления действительности, которые могли бы серьезно поколебать их веру. Но в том-то и дело, что в те времена, как бы остро ни ощущалось противоречие между жизнью и верой, это ощущение не подрывало веру как таковую. Если бы верующие коммунисты убедились, что все происходящее несовместимо с "интересами рабочего класса", — только тогда они смогли бы вырваться из порочного круга овладевшей ими идеологии.

Но именно поэтому убежденные, искренние сторонники тоталитарной диктатуры типа сталинской оказались в каком-то смысле более серьезными противниками перемен и исправлений, чем те, кто стал коммунистом из чисто карьерных соображений. Конъюнктурщики легко приспособивались к любым официальным требованиям. А "сознательным" коммунистам нужно было действительно сначала убедиться в необходимости реформ. Соответственно, и потенциальная роль этих двух групп

была разной: конъюнктурщики едва ли могли выступить с инициативой реформ, поскольку это означало бы взять на себя ответственность, когда еще не было ясно, благоприятно ли это для личной карьеры, когда это могло оказаться рискованным или даже опасным; а "сознательные" коммунисты могут, говоря теоретически, выступить как реформаторы, но только вследствие длительного, противоречивого и мучительного кризиса собственных взглядов.

Я состоял в партии 25 лет — с 1946 до исключения в 1970 г. Из них около двадцати ушло на медленное, болезненное развитие моей мысли. И даже после исключения мне понадобилось еще несколько лет, чтобы дойти до отчетливых выводов.

* * *

В сентябре 1950 г., когда в Чехословакии снова запустили на полный ход машину по производству политических процессов — на этот раз против ведущих деятелей КПЧ, — я уехал учиться в Москву. В те времена все учившиеся в Советском Союзе чехословацкие студенты принадлежали к элите коммунистической молодежи и имели известный стаж партийной работы. Волна подозрительности и старание повсеместно разоблачать скрытых "классовых врагов и агентов империализма", повышая при этом собственную "идеологическую бдительность", характерные тогда для Чехословакии, проявлялись и среди чехословацких студентов в Москве. Центральный комитет КПЧ в Праге призвал всех коммунистов способствовать разоблачению "преступной банды вредителей" в рядах партии. На этот призыв старались откликнуться, как могли, и мы.

Мое письмо, которое я послал тогда партийной комиссии по расследованию деятельности уже арестованных партийных руководителей Отты Шлинга и Марии Шверма, ожидала особая участь. Не в то время — тогда оно просто затерялось в партийно-полицейских архивах среди тысяч ему подобных, а 26 лет спустя: 1 марта 1973 г. отрывки из этого письма были опубликованы в "Руде право", чтобы заклеить меня как бесхребетного доносчика, которому и при гусаковском режиме не пристало выступать за права человека, а подпись которого под Хар-

тей 77 следует расценить лишь как еще одну попытку рвущегося к власти карьериста.

Тогдашнее мое участие в разоблачении "внутрипартийных врагов" не продвинуло моей карьеры. В парниковой атмосфере молодой, учившейся в Москве партийной элиты разрослась склонность искать "вредителей" в самом нашем парнике, а обвинять мы могли только друг друга. И это было совершенно закономерно. По воцарившейся тогда в Праге логике, вредителя следовало искать на самой высокой ступени партийной лестницы, а парторгом московских студентов из Чехословакии был тогда я.

Вслед за моим, в Прагу полетели письма других "сознательных" коммунистов, в которых указывалось, что "партийным вредителем" в среде московских студентов, по всей вероятности, являюсь я. Товарищи обнаруживали сходство между моими методами работы и методами "главного агента империализма" генерального секретаря КПЧ Рудольфа Сланского, который был тогда только что арестован в Праге. В моих высказываниях о советской действительности они усматривали несознательное отношение к Советскому Союзу. Меня отстранили от должности парторга. Я ожидал решения Праги. И я не был одинок: еще нескольких, вполне, как и я, добросовестных сталинистов обвинили в подобных же грехах, то есть в несознательном отношении к Советскому Союзу.

Я и сейчас прекрасно помню свою тогдашнюю реакцию. У меня не было сомнений, что, обвиняя меня, мои товарищи действовали из таких же соображений, что и я сам, обвиняя других. Немногих заподозрил я тогда в корыстных мотивах, а большую часть продолжал считать настоящими коммунистами. Почему обвинили именно меня, я пытался понять, ища причину в себе самом, и нашел даже не одну, а несколько. Я действительно пользовался принятыми тогда в партийной работе методами, но прежде это считалось плюсом. Я перебирал в памяти все, что говорил и думал о Советском Союзе, признавая известные противоречия своих мнений требованиям идеологической сознательности, хотя и видел, что советские будни при непосредственном знакомстве с ними полностью опровергали наши представления о "советском человеке", внушенные нам в Праге.

Я совершенно искренне выступил тогда с самокритикой, признал справедливость многих обвинений, но категорически отказался признаться в антипартийных намерениях. Ожидая решения из Праги, я совершенно не тревожился и был уверен, что со мной-то ничего не случится, ибо все происходящее лично со мной я воспринимал как ошибку и недоразумение. Не поколебал моего спокойствия и проходивший в те дни в Праге процесс Рудольфа Сланского и других деятелей КПЧ, который завершился смертным приговором одиннадцати обвиняемым. Мне и в голову не приходило, что и те одиннадцать тоже могли быть "сознательными" коммунистами, которые и после ареста не утратили уверенности, что все происходящее окажется "недоразумением".

Но, в отличие от них, я оказался спасен. В декабре 1952 г. собрание чехословацких студентов в Москве посетили руководители КПЧ Антонин Запотоцкий и Вилиам Широкий, чтобы положить конец кампании по "разоблачению внутривнутрипартийных врагов". Запотоцкий вслух зачитал письма, которые мы слали из Москвы в ЦК КПЧ; он поочередно просил встать авторов этих писем и внимательно их разглядывал. Потом он произнес короткую речь. Писать такие письма, сказал Запотоцкий, может каждый. Партия послала нас в СССР учиться не этому. Мы должны доверять друг другу, отбросить взаимную подозрительность и приняться за серьезную учебу. Он рассказал нам, как пристраивал к своему дому комнату, но никак не мог рассчитать, как сделать потолок, чтобы он не рухнул. Он говорил о том, что партии нужны люди, которые знают свое дело, ибо на политической болтовне потолки строек социализма держаться не могут. Наша задача — получить образование, выучиться делу. Насчет наших взаимных обвинений в несознательном отношении к Советскому Союзу Запотоцкий сказал: вы живете здесь и, конечно, понимаете, что наш народ никогда бы не пожелал жить в таких условиях. Так не создавайте конфликтов, когда говорите об этом друг другу, а постарайтесь это понять и разумно объяснить.

Надо покончить с разоблачениями, сказал Запотоцкий в заключение. Перестаньте писать в Прагу. Нет никаких оснований кого-либо за что-либо наказывать. Так думает и товарищ Готвальд.

Личный мой опыт как будто бы подтвердил таким образом правоту моей партийной веры. Все было расследовано справедливо и обернулось недоразумением. Еще долго после этого я не верил, что Запотоцкий, который в этом случае сыграл самую положительную роль, мог, будучи одним из членов партийного руководства, согласиться на казнь своих долголетних сотрудников и друзей, не располагая неопровержимыми доказательствами их виновности. Лишь много лет позднее я узнал, что всего за месяц до беседы с нами в Москве тот же Запотоцкий голосовал за одиннадцать смертных приговоров, великолепно понимая, что процесс против "заговорщического центра во главе с Рудольфом Сланским" сфабрикован по приказу Сталина, противиться которому невозможно. А за год до этого тот же Запотоцкий пригласил к себе Сланского на вечер, зная заранее, что Сланского арестуют. И когда Сланский уже надевал пальто, Запотоцкий лично позвонил офицеру полиции, ответственному за аресты, и, как было договорено заранее, сказал:

— Он выходит.

Не сомневаюсь, что Запотоцкому была намного милее роль отеческого наставника студентов-фанатиков, чем полицейской ищейки и самозванного судьи. Однако он был способен и на то и на другое.

Много позже я понял, почему в 1952 г. все сошло для меня так удачно. Я был подающим надежды молодым коммунистом, а потому высокое партийное руководство решило уберечь меня и других, таких же, как я, от последствий собственной политики. Подрастающему поколению лишь много позже предстояло разделить на обвинителей и обвиняемых, и лишь будущее было призвано решать судьбу каждого. Но в тот момент это было преждевременным, для партии ненужным; тогда мы лишь разучивали роли, до которых не доросли. Мой опыт времен сталинского террора оказался исключителен: проводники этого террора смотрели на меня как на подающую надежду смену. И мои тогдашние переживания решительно отличались не только от того, что перенесли жертвы террора, но и большинство населения Чехословакии, которое, склонив голову, надеялось как-то выжить. Мне тогда еще предстояло понять, какое это было время для моего народа.

Сомнения в непогрешимости исповедуемой идеологии назре-

вали больше от знакомства с советской действительностью, чем под влиянием событий в самой Чехословакии.

Шокировал тогда, как продолжает шокировать до сих пор большинство приезжающих в Советский Союз с Запада, низкий материальный уровень, нищета и отсталость цивилизации, серость советских будней. Москва представляла перед нами как огромная деревня с деревянными домиками. Недоставало еды. Через пять лет после войны люди все еще донашивали старую военную форму, а большинство семей ютилось в одной комнате; вместо туалетов, в которых есть спуск для воды, пользовались нужниками; в общежитиях и на улицах люди сморкались в руку; в толпе обчищали карманы; на улицах лежали пьяные, через которых прохожие переступали спокойно и равнодушно, даже не поинтересовавшись, жив ли человек, и т.д. и т.п.

Но все это можно было объяснить. Мы знали заранее, что мы едем не в потребительский рай. Тогда, через пять лет после войны, материального благополучия не было ни в одной европейской стране. Нищету тогдашней России мы объясняли военной разрухой. А в способности населения переносить материальные невзгоды мы находили подтверждение силы "нового советского человека". Явная культурная отсталость страны выглядела в наших глазах всего лишь следствием страшной отсталости царской России.

Все эти негативные моменты не подрывали нашу непоколебимую верность сталинизму. Нашу веру подтачивало прежде всего отсутствие позитивного, отсутствие в советской жизни именно тех ценностей, которые утверждались самой этой верой как необходимые предпосылки победы коммунизма.

Основной чертой характера нового человека, "строителя коммунизма" мы считали вовлеченность в общественные дела. Нам представлялось само собой разумеющимся определять свою личную судьбу великими целями, подчинять ее "историческому императиву" и "интересам рабочего класса". Но советские люди, с которыми мы встречались, всячески старались отгородить свою личную жизнь от политики. Они, конечно, отдавали дань общественным требованиям, принимая предписанную сверху "политическую позицию", а потом предавались личным заботам, совершенно абстрагируясь от всего остального. Для нас было нормой

придерживаться тех же убеждений и в общественной, и в личной жизни; у советских людей это было иначе.

Во время моей учебы в Москве большинство советских студентов составляли демобилизованные военные. Поэтому тогдашняя студенческая среда существенно отличалась от обычной — по возрасту, социальному составу и опыту. Одной из привычек фронтовых солдат была водка. В общежитиях пили по самым различным поводам — от семейных до государственных годовщин. Но чаще всего поводом было просто наличие бутылки.

Стакан — это норма; его выпивали залпом; так выпивка только начиналась. Мы, неопытные зайцы, сразу же напивались в доску. Позже и мы приучились, уравнившись с прожженными фронтовиками. И только после этого я понял, какую роль в жизни советского человека играет водка: она позволяет хоть на время забыть о действительности, создает иллюзию свободы. Нормальное, открытое человеческое общение начиналось только под воздействием алкоголя.

Все, что происходило в комнате общежития, где я жил с шестью бывшими фронтовиками, имело символический, ритуальный характер. На стене висел портрет Сталина, который вычерчивал на карте СССР, где-то в степях Поволжья лесозащитные полосы как зримые черты коммунистического будущего. Но когда на стол ставилась водка, этот плакат поворачивали к стене, а к обратной стороне была приклеена фривольная картинка дореволюционных времен. Двери закрывали, но зато на несколько часов размыкались души, и мои соседи, отбросив лицемерие, начинали заплетающимися языками высказывать нечто более осмысленное.

Именно в такой обстановке я услышал истории времен войны, которые полностью противоречили моим представлениям о Советской армии, сформировавшимся еще в Праге по советским кинофильмам и литературе. Я понимал, что, если я начал бы высказывать перед этими людьми свои взгляды, то выглядел бы в их глазах не революционером, а идиотом вроде Биглера из "Бравого солдата Швейка". Один из моих собутыльников рассказал, как в его селе на Украине надеялись, что после прихода немцев распустят колхозы, землю передадут крестьянам, и тогда наступит рай. Но немцы деревню сожгли, а многих кол-

хозников расстреляли. Оставшиеся в живых убежали в лес и создали там партизанский отряд во главе с парторгом. Воевали мужественно, не щадя жизни, поняв, что на рай рассчитывать не приходится.

Еще чаще под воздействием водки начиналось самобичевание. Презрение к собственной слабости, жалость к себе в сочетании с сознанием своего бессилия изменить то, за что сами себя презирали — все это, известное нам по русской классической литературе и казавшееся давно отошедшим в прошлое вместе с дореволюционной Россией, внезапно всплыло на поверхность как фундаментальные и мучительные проблемы жизни и мышления молодых советских студентов. Классические вопросы русских пьяниц — “Ты меня уважаешь?”, “Человек ли я?” — повторялись и повторялись в самых разных вариантах, но никто не намеревался отвечать словами Горького: “Человек — это звучит гордо!”

“Я свинья, ну, скажи, что я свинья”, — плачет у меня на груди пьяный партийный активист, который только что проголосовал на собрании за исключение из университета товарища, поспорившего, что пробежит по коридору общежития в одних трусах и выигравшего спор. При московском пуританстве тех времен это было равно тому, как если бы он показался людям голым. А мой кающийся большевик не успокаивался, пока я не соглашусь, что он, действительно, свинья.

Хоть и я был отнюдь не трезв, все-таки у меня достало соображения спросить, почему именно от меня требовалось подтверждение, что он свинья.

— Потому что ты — не свинья, и ты это знаешь, — был ответ.

Я пытался его уверить, что вовсе не считаю справедливым исключение студента из университета за то, что он бежал в трусах, хотя бы потому, что у нас к этому отнеслись бы как к совершенно нормальному.

— Глупости, — перебил он меня, — не в этом дело. Главное, ты читаешь Ленина, сам читаешь, добровольно, потому что веришь.

Конфликт был глубже, чем мне казалось. Но, покаявшись, он лег спать, к утру ему полегчало и, если я не ошибаюсь, до конца наших совместных занятий он вел себя по-прежнему, а после окончания университета стал военным прокурором. Возможно,

и сейчас, напившись после очередного процесса, он принимается к кому-то приставать, чтобы подтвердили — да, он свинья. И вряд ли он догадывается, что его пьяные высказывания подорвали во мне веру, которую он так уважал.

Изучая работы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, мы искали ответы на важные для нас лично вопросы. Для советских же студентов это была всего лишь обязательная литература. Готовясь к экзамену по марксизму-ленинизму, большинство заучивало отрывки из первоисточников наизусть. Экзаменаторы не могли поймать их на неточности формулировок — о большем никто не заботился. Советские студенты умели, как и мы, "верно, с марксистской точки зрения" рассуждать о предметах, о которых они не имели ни малейшего понятия. Но если наши рассуждения опирались хотя бы на веру в "правильность" воспринятых нами догм, то для большинства советских студентов они были всего лишь привычными схемами, которые никак не соотносились с убеждениями. Собственного мнения у них чаще всего вообще не было, поскольку проблемы, о которых шла речь, — проблемы политические и идеологические, — их абсолютно не интересовали. Они жили другими интересами, в совершенно иных плоскостях мышления и ценностей.

Пробыв пять лет в Москве, я убедился, что для проникновения во внутренний мир советских людей гораздо полезнее читать Толстого, Достоевского, Чехова и Гоголя, чем все эти пухлые сочинения социалистических реалистов; что действительно положительные качества этих людей коренятся в системе старых ценностей, а вовсе не вырастают из советского настоящего. Последствия нового воспитания, в основном, отрицательны, а их общим знаменателем оказывается шизофреническое раздвоение на жизнь общественную, официальную, ритуально оформленную, где правят догмы "марксизма-ленинизма", и личную жизнь, где господствуют традиционные ценности.

И все же в 50-е годы без труда можно было найти точку пересечения подлинных убеждений советских людей с официальной идеологией "советского патриотизма". Советские люди искренне верили, что за границей, в капиталистических государствах, трудящиеся живут намного хуже их — даже в материальном, потребительском смысле слова. Эта вера обуславливалась

полным незнанием того, что же действительно происходит в окружающем мире.

Как-то ночью меня разбудили студенты из соседней комнаты, чтобы я рассудил их спор. Спорили они о том, какие дома в чехословацких деревнях — каменные, деревянные или глиняные, с черепичными крышами, с соломенными или из дранки. Бывший фронтовик, который был в Чехословакии, уверял, что дома там каменные с черепичными крышами. Студент из колхоза, который, кроме своей деревни, ничего не видел, этому не верил. Остальные о том, как выглядят дома в чехословацкой деревне, понятия вообще не имели. В комнате было около десяти человек в возрасте от двадцати до тридцати лет. Я подтвердил слова бывшего солдата, видевшего это чудо собственными глазами. Дебаты кончились, но по лицу студента из колхоза я видел, что он все еще сомневается. Вероятно, он заподозрил меня в национальном чванстве.

С таким кругозором легко было соотносить свои подлинные убеждения с официальной идеологией и пропагандой, которые постоянно твердили, что СССР — это образец для всего мира. Но даже и более образованные, обладавшие более конкретными и точными знаниями, верили в особую миссию своей страны; традиционный русский мессианизм образовывал какой-то странный сплав с официальным советским мессианизмом. Он исходил из убеждения, что ценой огромных жертв, принесенных в годы войны, Советский Союз решил судьбу человечества, а потому все другие государства обязаны относиться к нему по-особому. Любую критику Советского Союза советские люди воспринимали как оскорбление памяти погибших. В этом они оказывались заодно с правительством, как бы ни относились к нему критически в других вопросах.

Официальная идеология находила отклик в советских людях еще и потому, что поддерживала традиционный для России фатализм. Мы воспринимали идеологию марксизма и, в частности, ее идею о детерминированности общественного развития как предпосылку радикальной активности. Опираясь на нее, мы стремились перестроить общество, слишком легко увязывая свой активизм с примитивной, почти обывательской упрощенностью марксистско-ленинского мировосприятия: от судьбы, де, не уйдешь. В будничной рутине жизни эта философия открывала

просторы для пассивного приспособленчества к бюрократической системе советского типа. Эта философия, не официально, конечно, выражалась советским человеком в таких афоризмах, как "ничего не поделаешь", "не нашего это ума дело" или "наверху виднее". То, что риторически преподносилось как итог действия сознательного коллектива, сознательного подчинения индивидуумов общественным интересам, сознательной дисциплинированности "нового советского человека", обнаруживалось перед нами как плод фаталистического мировоззрения; границы активности отдельного человека предполагались predeterminedенными заранее, а власть считалась мудрее простого народа.

В Москве мы сталкивались не только с реальными советскими людьми, но и с советскими учреждениями, с бюрократической машиной советского государства. С этой машиной невозможно было не столкнуться независимо от того, какой специальности обучались. А поскольку я учился на юридическом факультете, мне удалось увидеть больше, чем другим; в ходе занятий я должен был провести несколько месяцев непосредственно в государственном аппарате СССР.

И все-таки, проучившись пять лет в Советском Союзе, я так и не смог понять масштабы и формы сталинского политического террора. Мне, как и другим чешским студентам, казалось, что массовый террор — дело прошлого, что это — история. Вероятно, иллюзия подкреплялась тем, что окружавшие нас современники и особенно университетская молодежь сами террора избежали. Его жертвами были знакомые, а иногда и родственники моих однокурсников, но это было поколение отцов, а иногда и дедов.

Тогдашняя советская молодежь сама часто не сознавала, как глубоко и трагически отразился на ней сталинский террор. Один из моих сокурсников пришел в университет сразу со школьной скамьи. Он был активным комсомольцем и принадлежал к тем немногим, кто еще не растратил истинной веры. На семинарах по марксизму-ленинизму он горячо и убежденно декламировал ходячие обличения троцкистов, агентов империализма и других уклонистов. Во время хрущевской оттепели ему неожиданно вручили документы о реабилитации родителей, которые были осуждены за троцкизм и погибли в лагерях. Только тогда он уз-

нал, что был усыновлен четой партийных функционеров и вырос в чужой семье. Эта внезапная травма привела к серьезному психическому расстройству.

Будучи стажером прокуратуры, я не раз присутствовал на допросах в московских тюрьмах — в том числе и в Лефортово. Мне и в голову не приходило думать о тех ужасах, которые творились в другом крыле той же тюрьмы, засвидетельствованных впоследствии Солженицыным. Сама по себе Лефортовская тюрьма устрашает, напоминая казематы и застенки прошлых веков. Но то, что я там наблюдал, было нормальным расследованием уголовных преступлений. Уголовники не выглядели невинно униженными жертвами несправедливости. Уголовники в Советском Союзе крайне жестоки, и милиционеры, которым пришлось с ними сталкиваться, часто были украшены шрамами — следами ножей и перестрелок. Я встречался именно с этой частью аппарата милиции, не имея никакого понятия о политическом ГУЛаг'е.

Проблематика антигосударственных, то есть политических преступлений на юридическом факультете едва затрагивалась, ибо одним из исходных пунктов советского права было уравнение неугодной властям политической деятельности с уголовщиной. В те годы это было аксиомой и для преподавателей, и для студентов юридического факультета Московского университета.

Помню, как на семинаре об антигосударственной деятельности я напугал своим вопросом руководившего этим семинаром доцента. Я тогда сказал, что в случае антигосударственных преступлений принцип презумпции невиновности не действителен, ссылаясь на пример пражских политических процессов: вначале действия и позиция обвиняемых определялись с политической точки зрения как классово враждебные, и только потом, исходя из этих политических обвинений, их квалифицировали органы юстиции.

Так было в Праге, и тут трудно было что-либо возразить. Я, как искренний, убежденный сталинист, считал такой порядок справедливым. При диктатуре пролетариата юстиция — это "воля рабочего класса, возведенная в закон". Так писали в советских учебниках. Проводником воли рабочего класса является коммунистическая партия, а, следовательно, если руководящие

партийные органы расценивают определенные действия как враждебные рабочему классу и рабочему государству, то так же они должны быть воспринимаемы и органами юстиции.

Руководитель семинара, конечно, прекрасно знал, как обстояло дело с принципом презумпции невиновности на политических процессах. Но согласиться с моими рассуждениями он не мог, сам рискуя получить большой нагоняй. Действительность была именно такой, как я говорил, но признаваться в этом открыто не полагалось ни в коем случае. "Почему не назвать вещи своими именами?" — горячился я. Опытный доцент выкрутился, посоветовав мне перенести обсуждение возникшей проблемы на семинар по марксизму-ленинизму. Однако ни на его, ни на каком-либо другом семинаре к этой теме больше никто не возвращался.

Только позже, на одном из этапов своего высвобождения из заколдованного круга сталинской коммунистической веры, я осознал, что занятия на юридическом факультете Московского университета не имели ничего общего с изучением права и его роли в человеческом обществе. Сталинская, как, впрочем, и современная советская юридическая наука признают лишь один критерий правосудия: правосудие — это то, что государство (вернее, государственные органы, формально наделенные соответствующими полномочиями) сочтут правосудием. По законам такой "марксистско-ленинской науки", нюрнбергские нацистские законы — тоже система права, но только буржуазного, империалистического, фашистского. Эта наука не расценивает нацистские законы как попрание права, но лишь как выражение классовых и расистских концепций "буржуазии". Подобная трактовка приводит к выводу, что неприемлема лишь классовая направленность нюрнбергских законов. Но если бы их направленность была иной, если бы они защищали "интересы рабочего класса", тогда бы и никаких оснований для критики не осталось. Согласно этой логике, феодальное "право первой ночи" — это тоже право, которое, однако, заслуживает порицания, поскольку служило интересам эксплуататоров. Идея, что само это "право" противоправно, что в любом его применении оно лишь закрепляет насилие, даже если бы, допустим, предусматривалось "право" всех членов рабочего совета переспать с дочерью фабриканта, что оно искажает человеческие отношения,

превращает одного человека в объект произвола другого, лишая его неотчуждаемой роли правового субъекта — даже намеки на такую идею в советской правовой теории элиминированы полностью. В этом пункте сталинские и фашистские юристы, если бы они абстрагировались от "классового содержания" правовых норм, могли бы прекрасно сойтись.

Юридические факультеты советских университетов не научают студентов мыслить в категориях права. Они готовят "специалистов по юриспруденции", которым надлежит запомнить, что предписывается властью в том или ином случае, как в том или ином случае надлежит действовать, а что запрещено. Они знают десятки законов и постановлений и обучены находить другие законы и постановления, которые им непосредственно неизвестны. Они, иначе говоря, квалифицированные бюрократы. В отличие от неквалифицированных бюрократов, "специалисты по юриспруденции" знают, по крайней мере, что они могут позволить себе в обращении с управляемыми, а чего не могут. Они усвоили границу, за которую их личный произвол не должен переходить без предварительного благословения властей, без соответствующего закона, который объявлен "правовой нормой". При тотальном господстве бюрократии это уже не мало, а для управляемых и немаловажно.

За те пять лет, которые я потратил, чтобы стать "специалистом по юриспруденции", то есть квалифицированным, по советским понятиям, бюрократом, я имел возможность узнать, что дозволено в различных областях советской жизни, а что, напротив, возбраняется. В этом зеркале, пусть и кривом, все более отчетливо проступали очертания жизни в колхозах и на фабриках, семейные и имущественные отношения советских граждан, мир правительственных учреждений и гражданских истцов. В результате у меня получилось довольно полное представление о системе бюрократического управления советским обществом.

В каком-то смысле это знание меня глубоко впечатлило. Все было довольно-таки хорошо продумано и отрегулировано в подробностях. Множество вопросов, которые до отъезда в Москву были мне неясны, как, например, должна при социализме решаться та или иная проблема бытовых отношений; как должны регулироваться производственные процессы и разные другие виды деятельности — все эти вопросы, на которые не было ответа

в сочинениях Ленина и Сталина, — советская действительность, казалось, решила. Многие в этих решениях представлялось мне тогда крайне удачным. И я надеялся, что, возвратившись домой с советским опытом, смогу действовать "в интересах рабочего класса". С другой стороны, многое из найденного мной в Советском Союзе вовсе не представлялось мне идеалом, который следовало бы переносить в Чехословакию.

Наша коммунистическая вера, какой бы сталинизации она ни подверглась, резко расходилась с главной тенденцией советских будней — в мелочной бюрократической регламентации малейшей общественной инициативы. Психологически мы оставались радикалами и были очень далеки от установок бюрократического консерватизма. Нам удалось с помощью идеологических софизмов убедить себя, что в отдельных случаях даже бюрократия может быть революционной, если поставлена на службу "интересов рабочего класса". Но всему есть предел.

Наши советские товарищи были похожи больше на персонажей чеховских рассказов, чем на героев "Молодой гвардии" Фадеева. А многие бюрократы, с которыми мы сталкивались в СССР ежедневно, казалось, прямо вышли из гоголевского "Ревизора" и ничем не напоминали деятелей, воспитанных на работе Ленина "Государство и революция". Ни о каком самоуправлении снизу, которое было одним из самых главных догматов нашей идеологической веры, не было и речи. Чванство советских бюрократов, их пренебрежение к стоящим в бесконечных очередях за какими-то жалкими "бумажками" просителям, их бескультурие, бездарность и высокомерие — всего этого мы в Чехословакии никогда в жизни не видели.

Зимой 1954 г., когда я учился уже на последнем курсе, мне довелось проходить практику в московской городской прокуратуре. Один день в неделю предназначался для разбора "жалоб трудящихся". Люди сотнями толклись в прокуратуре, чтобы рассказать о своих личных трудностях с законом. Дежурный прокурор выслушивал жалобу и немедленно выносил решение; на каждый казус он затрачивал минут 5-10. "Новые советские люди", "творцы истории" стояли в коридорах с шапками в руках, чтобы, заикаясь от почтительного страха, рассказать прокурору о допущенных по отношению к ним несправедливостях. Прокурор сидел при этом за массивным письменным столом,

что-то еще писал, слушал в пол-слуха и в 99 случаях из ста находил жалобу необоснованной. Старики-рабочие, изможденные трудом деревенские бабы будто сходили с экрана кинофильмов об Октябрьской революции, но только не поднимали кулаков и не угрожали. Они робко ждали приговора господ, как две капли воды похожих на героев знаменитой гоголевской комедии.

Осенью 1954 г. я переехал в открытое с помпой новое здание Московского университета на Ленинских горах. До этого я жил в университетском общежитии на Стромынке, которое при Петре Великом было казармой Преображенского полка. При советской власти над ней достроили новые этажи. Всего общежитие вмещало 10.000 студентов. В каждой комнате помещалось от 7 до 15 человек; на каждом этаже, где проживало по несколько сот студентов, был один общий туалет с умывальниками и одна общая кухня. Кроме того, на дворе была построена общая русская баня. А новое университетское общежитие сияло великолепием: у каждого студента была небольшая современная комната с туалетом и душем на двоих. Даже нам это представлялось совершенно современным жильем, а для большинства наших советских товарищей новое общежитие было, вероятно, самым комфортабельным помещением, в котором им довелось когда-либо жить.

В то время я стал стажером при прокуратуре города Москвы. В один из приемных дней туда пришла делегация от колхоза, который находился в двадцати километрах от нового здания университета. Оказалось, что перед открытием нового университетского здания несколько деревень в округе отключили от электросети: мощности электростанции было недостаточно. Затем прошел год, а деревни все еще оставались без электричества, хотя им обещали, что их отключают лишь на некоторое время.

— Закона, по которому вам обязаны включить электричество, — объяснил им прокурор, — не существует. В конституции не записано, что вы имеете право на электричество. Это зависит от экономических возможностей. Закон в вашем случае не нарушен, а потому прокуратура в это дело вмешиваться не будет.

Просители пытались объяснить, что они уже обошли все инстанции — от электростанции до городского суда, что никто их жалобу не разбирает и не дает ответа. Прокурор оставался непо-

колебим. Один из колхозников нашелся сказать, что их дело относится к ведению прокуратуры потому, что существует угроза пожара: деревня вынуждена пользоваться керосиновыми лампами и лучинами, а от открытого огня может начаться пожар.

Такая казуистика возмутила прокурора.

— Давно ли вы вообще пользуетесь электричеством? — спросил он.

— С 1938 г., — ответил колхозник.

— А чем вы освещали дома до этого? — с торжеством возразил прокурор. — Ведь теми же лучинами. Так что вы умеете с ними обращаться. А если получится пожар, мы проведем следствие и виновника посадим.

Представители колхозного крестьянства — второго правящего в СССР класса, замолкли и ушли. После окончания приема я заговорил с прокурором об этом деле и спросил, нельзя ли все-таки как-то им помочь. Прокурор ответил, что, если он вмешается, то получит взбучку от своего начальника, поскольку начальник, в свою очередь, получит взбучку от горкома партии, где ему скажут, что он должен сам знать, чем чреваты такие дела. Прокурор не сомневался в собственной правоте: мужики прекрасно умеют обращаться с лучинами, они просто хотели его надуть, а он их раскусил.

Еще долго я вспоминал эту историю, когда включал свет в моей комнате на Ленинских горах. Подобных впечатлений от советских будней у меня накопилось немало. При всей своей высокой сознательности и идеологической подкованности, я не мог поверить, что видел высший образец отношения к людям в социалистическом государстве, что все это мы должны перенести в Чехословакию.

Большинство молодых чехословацких коммунистов, которые учились в советских институтах в первой половине 50-х годов, вернулись на родину поколебленными. Мы ехали в Москву с мечтой увидеть свое будущее. Его-то мы и увидели. Но именно с этим было труднее всего примириться. Наша идеология пришла в конфликт с явью. В одном звене она дала трещину: мы перестали видеть в Советском Союзе воплощение наших идеалов, эталон, который надлежало только воспроизводить. Наше партийное руководство, посылая молодых коммунистов

учиться в Советский Союз, рассчитывало совсем не на это. Мы возвращались не еще более убежденными сталинистами, а сталинистами с червоточиной, для которых главный девиз партийной политики — "Советский Союз — наше будущее!" — утратил свое обаяние. Наш сталинизм сохранялся лишь постольку, поскольку мы подкрепляли его парадоксом: чтобы продолжать верить в сталинизм, мы идеологически развенчивали сталинскую действительность. Так зарождался как бы прообраз того метода, который позже попыталась применить партия в Советском Союзе при Хрущеве и в Чехословакии при Новотном.

Коммунистическая идеология сталинского толка, как мы ее усвоили, с трудом поддавалась воздействию нашего личного опыта. На то были свои причины: существенную часть этой идеологии составляли положения, которые не поддавались личной проверке. Наша вера включала в себя не только вымышленную схему социализма, но и преподнесенную нам в готовом виде схему капитализма и окружающего мира вообще.

Если Советский Союз утратил для нас свой авторитет как совершенный образец для подражания, он все еще оставался в наших глазах единственной силой, которая защищала социализм от классового врага в международном масштабе, от мирового империализма.

Наши представления о мире были не столь примитивны, как у молодых советских людей, но формировались они той же идеологией. И в те годы мы не имели возможности сопоставить их с действительностью: для большинства молодых коммунистов поездки на Запад были совершенно недоступны. По правде говоря, мы к ним и не стремились — к чему тратить время на путешествия в стан классовых врагов, когда дома стояли перед нами нерешенные задачи революции? И мы продолжали воспринимать информацию коммунистических газет, как обычно ее воспринимают в нормальном, реальном мире. Это, конечно, не оправдание, а всего лишь констатация факта.

Что бы мы ни увидели в Советском Союзе, там все же была ликвидирована капиталистическая эксплуатация, люди там не обогащались за счет других лишь потому, что либо унаследовали, либо сами ухитрились построить фабрики; там не было безработицы и, как нам тогда казалось, советская власть не стремилась к агрессии, не разжигала новой войны. Тогдашняя атмосфера

ра холодной войны и порожденная ею пропаганда воспринимались нами как верное отражение расстановки международных сил. Конфликты типа Корейской войны лишь укрепляли нашу уверенность, что вооружение и милитаризм Советского Союза, да и Чехословакии, необходимы для укрепления обороноспособности против империалистов. Нам на самом деле казалось, что в Западной Германии вновь зарождается нацизм, а политику Соединенных Штатов мы искренне расценивали как империалистическую и агрессивную.

Внутренняя ситуация в капиталистических странах Европы представлялась нам по аналогии с Чехословакией до войны и времен Протектората. Поэтому официальной пропаганде не представляло труда убедить нас, что экономический кризис, массовая нищета и безработица там неизбежны. Этим прогнозам верили и более пожилые, поскольку до войны они на себе испытали и кризис, и безработицу.

Мы были убеждены, что воспрепятствовать новой войне и повторению кризиса 30-х годов может лишь международная победа социализма. И это убеждение притупляло силу наших жизненных открытий, которые, казалось, ставили под сомнение отдельные догмы нашей коммунистической веры. Предвзятый и не поддающийся критике взгляд на международные проблемы подкреплял эту веру огромным восклицательным знаком.

ОТ ХРУЩЕВА К ДУБЧЕКУ

На таком этапе моего развития меня застал 1956 г., начавшийся секретным докладом Н.С. Хрущева "о культе личности И.В. Сталина" и его преступлениях, прочитанный на XX съезде КПСС в Москве. В международном коммунистическом движении хрущевские разоблачения произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Ошеломили они и меня. Но я — парадоксальный результат моих "советских университетов" — был подготовлен к этим разоблачениям больше, чем большинство моих чехословацких коллег. Проведенные в Москве два года после смерти Сталина подготовили меня к возможности его критики "сверху", со стороны его преемников.

Мартовские дни 1953 года — день смерти и похорон Сталина — я пережил в Москве. В эти дни к моим прежним впечатлениям прибавилось еще одно: мне стало ясно, что для многих советских людей Сталин был грозным, но в то же время любимым царем.

Когда по радио сообщили, что гроб с телом Сталина установлен в Московском Доме союзов, я, разумеется, пошел туда с нашими и многими советскими студентами. Мы оказались в многотысячной толпе желавших увидеть Сталина. Не было инструкций, по каким улицам следует идти к Дому союзов, так что толпы валили отовсюду. На периферии улицы были довольно пусты, но чем ближе к центру, тем больше улочек и переулков было забаррикадировано грузовиками. Проход по ним был запрещен — их охраняли солдаты и милиция. Натолкнувшись на препятствия, толпы блуждали как в лабиринте, отыскивая путь к гробу усопшего Вождя. Наконец, все выливалось на главную улицу, по которой можно было пройти дальше, и тогда толпа превращалась в многокилометровую очередь, медленно продвигавшуюся к гробу.

Эта трансформация толпы в шеренгу из четырех человек напонила выступление царских казаков против рабочих демонстраций в Петрограде. Солдаты и милиционеры, образовав цепочку, просто прижимали людей к одной стороне улицы. А там уже стояли ряды грузовиков — с солдатами и милиционерами — которые ограничивали пространство между центром улицы и домами, и в этот промежуток должна была, медленно сужаясь, входить толпа. Однако кое-где она пробивала военный кордон и стену автомобилей.

В такие места для восстановления порядка тут же посылали конную милицию. Милиционеры, в отличие от царских казаков, не стреляли и не рубили шашками, но в этом даже не было необходимости. Лошади наступали на людей и теснили их назад. Когда толпа прилиwała, лошади вставали на дыбы. При виде занесенных над головой копыт в человеке просыпается атавистический инстинкт самосохранения — в результате толпа отсупала, как если бы над ней развевались сабли. В тех случаях, когда вздыбленные лошади не производили достаточного впечатления, в ход вступали дубинки всадников.

Плотность толпы достигла степени, характерной для переполненного трамвая, но сзади продолжали напирать десятки тысяч, спереди были лошади и солдаты, а по сторонам — либо грузовики, либо стены домов. Было холодно, ноги скользили по размокшему снегу. Если кто падал, то никакой надежды подняться не было, да и окружающие не могли ему помочь. О количестве затоптанных, мертвых и раненых никто никаких данных не опубликовал, а потому трудно назвать точную цифру. Но я сам видел в эту ночь десятки раненых, потерявших сознание людей, — видимо, некоторые уже были мертвы. Раненых и мертвых клали на грузовики. Позже их куда-то отвезли.

Там, где проход сужался, и там, где толпа прорывала кордон, возникала плотность, превышающая доступную воображению норму. Такие места были видны издали, поскольку над ними поднимался столб белого пара. Толпа продолжала давить на эти "пробки", сначала стихийно, а позже в ритме, покрикивая "эй ух!". Сквозь первую пробку я проплыл довольно удачно: следующую, но далеко не последнюю, мне одолеть не удалось: я попал в крайний ряд по соседству с грузовиками. Это было опасно. Толпа давила не в направлении стоявших впереди, а к

железным буферам грузовиков. Мое кожаное пальто уже трещало по швам, лоскутья его остались на железных деталях автомобилей. Я уже не передвигался вперед, а перекатывался, цепляясь за машины. Оставалась единственная надежда: когда меня докатит к капоту, попытаться взобраться на него и перепрыгнуть на другую сторону улицы. Это означало отказ от намерения увидеть Сталина в гробу, но вселяло надежду, что сам я не окажусь в нем. Я выбрал второе, и успешно осуществил план спасения.

Толпа, в которой я провел несколько часов и которая продвигалась к гробу Сталина, не думала о нем. Это не были люди, подавленные скорбью, которая в какой-то степени дисциплинирует и ограничивает проявление типичных для толпы реакций. Там, где было посвободней, люди шутили и разговаривали как идущие на футбольный матч. Кто-то воровал, кто-то лез под юбку, некоторые пили водку прямо из горла. Это была толпа, сплоченная волей не пропустить зрелища.

Когда я вышел на улицу, в моем воображении мелькали сцены из советских кинофильмов, как убитые горем люди молча, неспешно идут к гробу усопшего Ленина. Возможно, так было только в кино, а на деле похороны Ленина выглядели, как увиденные мною. Но мне кажется, что в чем-то ленинские похороны отличались от сталинских. То, что я видел, было больше похоже на собравшихся в связи с публичной казнью или коронацией русских царей. Это была толпа на похоронах царя.

Когда я добрался до общежития на Стромынке, было два часа ночи, четверо из шести моих соседей по комнате сладко спали, на столе стояли две пустые водочные бутылки. Один проснулся и, увидев мое разорванное в клочья пальто, сказал:

— Дурак. Ложись спать, а утром возьми свой паспорт, поезжай на метро в центр, а там делай вид, что не знаешь ни слова по-русски, кроме слова "начальник". Милиционеры отведут тебя к начальнику, а тот отведет тебя к Сталину.

Благодаря его совету мне все-таки удалось увидеть Сталина.

В эти дни в Москве и среди студентов ощущалась не только грусть: смерть Сталина была шоком, который сопровождался страхом: что будет? Я догадывался, хотя откровенно об этом не говорилось, что они предчувствуют возможность существенных перемен. В последующие месяцы эти предчувствия стали

более конкретными, а к концу года — после ареста и казни Берия — появились симптомы, свидетельствующие, что атмосфера действительно меняется. Исчез страх перед будущим, и начали проясняться смутные причины прежних страхов.

Стало очевидным, что люди, которых я сам хорошо знал, знали о сталинском терроре намного больше, чем я думал. В 1954-1955 гг. об этом терроре говорили все более и более откровенно. Менялся и тон печати: появились статьи о необходимости "коллективного руководства", о важности критики, с осуждением методов советской бюрократии. Прекратились кампании против "космополитизма", исчезла атмосфера подозрительности. В довершение всего Хрущев посетил Белград и сразу по прибытии на аэродром назвал недавнего "агента империализма" и "кровавую собаку" Тито "дорогим товарищем"! Из кругов партийного аппарата все чаще доходили новости, свидетельствующие, что "перемены" происходят и наверху.

Доклад Хрущева о Сталине ошеломил меня главным образом потому, что в нем были приведены конкретные данные о преступлениях советских органов госбезопасности, о пытках и полученных под пытками признаниях, которые позже использовались в политических процессах. Этого я прежде вовсе не знал, а это касалось и Чехословакии, поскольку недавний процесс Сланского и других предстал перед нами, убежденными сталинистами, в совершенно ином свете. Во всем остальном политическая линия XX съезда КПСС полностью соответствовала тенденции, которую я чувствовал во время пребывания в Москве, так что для меня этот доклад не был громом с ясного неба.

Для верующих коммунистов Чехословакии положение оказалось иным. Когда через неделю после смерти Сталина умер Готвальд, доказав и своей смертью полное послушание Москве, во главе КПЧ оказались Запотоцкий и Новотный. Состав политбюро вообще не изменился — в него входили люди, за несколько месяцев до смерти Сталина отправившие на тот свет одиннадцать своих коллег. А через два года после в Праге был открыт огромный памятник Сталину. Его уже не было в живых, уже был наказан Берия, а в Чехословакии продолжались политические процессы. В 1954 г. был осужден вместе с "группой словацких буржуазных националистов" Густав Гусак, в том же году был приведен в исполнение последний смертный приговор за "антигосударственную" деятельность.

Летом 1955 г. Антонин Новотный потребовал завершения коллективизации сельского хозяйства, и на полную мощность заработала машина полицейского и судебного террора против крестьян, не желавших вступать в сельскохозяйственные кооперативы. Сталинский тезис "обострения классовой борьбы" в ходе успешного строительства социализма оставался официальной идеологией в тогдашней Чехословакии. После смерти Сталина КПЧ видела свою задачу в последовательном продолжении и завершении дела "вождя мирового пролетариата".

Я вернулся в Прагу летом 1955 г. и сразу же окунулся в совершенно иной мир, ничем не напоминавший ни тот, который я оставил пять лет назад, ни тот, из которого я возвращался. Исчезла среда счастливых молодых сектантов, идейно сознательных коммунистов. Парткомы, где мы когда-то проводили свою жизнь, дискутируя и агитируя, превратились в крупные учреждения с высоко оплачиваемыми сотрудниками, где все подчинялось бюрократической иерархии и откуда исходили разные директивы и предписания. Я не был знаком с новыми партийными работниками, и они не знали меня, а те, кого я знал, уже не принадлежали к политической верхушке — некоторые из них стали жертвами прошедших чисток. Атмосфера страха царила и среди молодых коммунистов: они говорили, что думали, только в узком кругу личных друзей. Коммунисты сами подвергали свои мысли цензуре. Надо всем довлел формальный ритуал политической лояльности, но под этим покровом ощущались конфликты и противоречия, которые в 1948 г. открыто обсуждались коммунистами.

Как это ни парадоксально, но возвращение домой произвело на меня такое же впечатление, как приезд в Москву пять лет назад: то, что тогда вызывало у нас недоумение, за эти годы было с успехом импортировано в Чехословакию, тогда как в Москве некоторые из этих же явлений стали постепенно исчезать. Чехословацкие сознательные коммунисты старались убедить самих себя, что происшедшие в стране изменения являются революционными и прогрессивными, поскольку приближают Чехословакию к советскому идеалу, а в Москве в это время — пусть шепотом, но уже говорили, что именно эти черты советской действительности — результат "деформации времен культа личности". Мне трудно было найти общий язык со знакомыми и

друзьями, поскольку мой советский опыт отличался от накопленного за те же годы ими.

Эту болотную атмосферу взорвал доклад Хрущева о Сталине. КПЧ пережила шок, а затем пошли дебаты и дискуссии. Это, собственно, была первая после февраля 1948 г. дискуссия среди коммунистов, и она-то продемонстрировала, насколько изменилась за это время КПЧ: она перестала быть добровольным объединением единомышленников ради достижения целей, указанных в ее программе. Это была организация людей, объединенных в партию по признаку их связи с властью. В партии были не только сторонники этой власти, но и люди, которые благодаря ей получали определенную выгоду. Их позиция определялась не столько их убеждениями, сколько именно этой связью с властью.

В ходе дискуссии по материалам XX съезда КПСС в КПЧ выделились три основные группы. Прежде всего группа карьеристов, настолько причастных к критикуемым явлениям и разделявших ответственность за них, что сохранить свое положение они могли, только хотя бы на время эту критику задушив. К этой группе примыкали сталинисты, которые лично в политическом терроре участия не принимали, но были против критики сталинизма, потому что были ему глубоко преданы и не могли отойти от него. Они видели в критике Сталина одно из очередных "отклонений" и попытку "классового врага" ослабить партию.

Этой группе противостояла другая — тоже верные сталинисты, но увидевшие в докладе Хрущева выражение уже давно нараставших сомнений по поводу партийной политики и собственных позиций. Как правило, эти люди не были причастны к явлениям, подвергшимся критике в докладе Хрущева, некоторые были даже жертвами репрессий.

Третью группу составляли члены КПЧ, не принимавшие участия в дискуссии в ожидании ее результатов. Они вступили в партию из карьерных соображений, но все же были не настолько карьеристами, чтобы лезть из кожи вон и тем самым взять на себя личную ответственность. Они и прежде держались в стороне, выполняя лишь то, что было необходимо для демонстрации лояльности и обеспечения их среднего служебного положения. Эти люди в душе были согласны с хрущевской критикой, но не

поддерживали ее открыто, так как избегали любого риска. При голосовании составлявшие эту группу обычно поднимали руку "за линию XX съезда КПСС".

Именно поэтому в партийных организациях большинство, как правило, получал хрущевский курс. Однако, соотношение сил различалось по организациям. В высших партийных органах и в партийном аппарате перевес имела первая — проталинская — группа. Такие настроения разделяли коммунисты, занимавшие высокие посты в аппарате власти. Среди интеллигенции и средних партийных кадров преобладали люди критически настроенные.

В ходе партийной дискуссии весной 1956 г. сомнения в необходимости тотальной диктатуры партии не высказывались. Факт единоначалия КПЧ в государстве был аксиомой, обязательным условием "строительства социализма и коммунизма". Никто также не ставил под сомнение тезис, что классовая борьба требует политической диктатуры. Под сомнение, однако, брались некоторые практические методы, главным образом, применявшиеся против самих коммунистов.

За эти границы дискуссия выходила лишь в исключительных случаях, обычно среди интеллигенции. В таких случаях говорили о фальшивом отражении действительности идеологией сталинизма. Это открыло путь к обсуждению краеугольных проблем системы тоталитарной диктатуры, хотя преимущественно в абстрактной, теоретической плоскости. Но даже эти наиболее радикальные коммунистические круги требовали не ликвидации диктатуры, а всего лишь свободы марксистской критики ее теории и практики.

Самым важным политическим требованием того времени было требование созыва чрезвычайного съезда партии. В этом правящая партийная верхушка усмотрела серьезную опасность. Съезд созван не был. Но все-таки была проведена общегосударственная конференция КПЧ, которая, в отличие от съезда, не имела права выбрать новый ЦК партии. Конференция, разумеется, выступила за новую линию Москвы, заявила, что некоторые идейные и политические тезисы сталинизма непригодны также для Чехословакии, но на ней не произошло никаких серьезных перемен ни в руководстве КПЧ, ни в других органах политической власти.

Руководству КПЧ удалось воспрепятствовать проведению хрущевской линии в Чехословакии. Но никакими мерами нельзя было восстановить поколебленную хрущевской критикой веру чехословацких коммунистов в сталинизм. Главный удар этой вере, по-моему, Хрущев нанес тем, что свалил всю вину и ответственность на Сталина, выдвинув тем самым на передний план проблему личной ответственности коммунистов за их действия и идеи.

Обычно коммунисты-реформисты до сих пор обвиняют Хрущева, в основном, за то, что его критика была критикой личности Сталина, а надо было, мол, подвергнуть критике сталинщину. В этом они видят недостаток хрущевского подхода и пытаются преодолеть его требованием критики самой системы. В действительности дело намного сложнее: критика системы, конечно, более радикальна и более существенна, но она апеллирует к рациональному мышлению. Проблемы нравственные, проблемы ответственности создающих систему людей при этом отодвигаются на задний план так же, как в идеологии сталинизма. Более же примитивная критика Хрущева выдвигает на первое место именно вопрос вины и ответственности индивидуума. Другое дело, как отвечать на него. Но уже сама постановка такого вопроса исключительно важна.

Мы, убежденные коммунисты, не очень задумывались над проблемой личной ответственности. Последней оценкой правильности любого поступка или позиции в системе моей веры было не мое собственное мнение, а соответствие "интересам рабочего класса", а тем самым интересам революции, социализма, коммунизма и т.п. На практике объективное значение поступка определяла партия, то есть партийные органы и партийное руководство. На вершине пирамиды стоял Сталин, так что его точка зрения была высшей инстанцией в моей личной иерархии оценок, определяющих мои взгляды, мое поведение.

Сталин, Готвальд, политбюро, партия были для меня если не тем же, что Бог для верующих христиан, то тем же, чем для католиков являются папа, кардиналы, церковь. Бог верующего коммуниста — это Объективный закон истории, который ведет к осуществлению "интересов рабочего класса", к прогрессу человечества, как они его себе представляют. Но, как и верующий католик, коммунист предполагает, что его папа и кардиналы

тоже ставят Бога превыше всего, что и их взгляды и поступки — результат духовного общения с Богом. Будучи верным сталинистом, я все-таки допускал, что и мой папа-Сталин может ошибаться, что он может даже согрешить, и что тем более могут согрешить кардиналы. Но я не мог допустить, что он не ставит над собой Бога — Объективный закон истории, что свои идеи и действия он не сопоставляет по совести с "интересами рабочего класса".

Хрущев же, критикуя Сталина, совершенно однозначно заявлял: папа действовал произвольно и вел себя как безбожник. Он убивал не потому, что этого требовал Объективный закон истории, а лишь для сохранения собственной власти. Поэтому он уничтожал и верных сыновей церкви. Мы, кардиналы, знали или, по крайней мере, догадывались обо всем, но ничего сделать не могли, так как он избавился бы и от нас. Самого жестокого кардинала, который помогал папе и развращал его, мы уже казнили. Сейчас мы сообща все обсудили и пришли к выводу, что больше в папе не нуждаемся. Мы коллективно будем решать, чего требует Объективный закон истории; более того, мы будем советоваться с вами, верующими. Так что продолжайте верить и нам, и Объективному закону истории — и только тогда мы добьемся осуществления "интересов рабочего класса", на этот раз без "деформаций". Объективный же закон истории, без сомнения, действует, и "в принципе" Церковь им всегда руководствовалась.

Если продолжить эту аналогию (хотя она, как всякая аналогия, несовершенна), то хрущевская критика "культы личности" создала ситуацию, которая могла возникнуть после смерти Александра VI Борджиа, если бы кардиналы вместо выбора нового папы провозгласили свое собрание "коллективным папой", надеясь воспрепятствовать этим расколу церкви и протестантской реформе. Им бы это тоже не удалось, и не только из-за отсутствия критики системы, а потому, что верующие христиане, осознав, что папа и кардиналы — безбожники, стали бы сами искать выход, продолжая верить в Бога и вступая с ним в духовную связь без посредничества папы и кардиналов, в чем, собственно, и заключается сущность протестантской реформы. Иными словами: верующие христиане поставили бы перед собой и по-новому отвечали бы на вопрос о личной ответственности пе-

ред Богом за свою веру и действия, понимая, что рассчитывать на папу, кардиналов и католическую церковь как на гарантию духовного общения с Богом стало невозможно.

Перед этой проблемой поставила коммунистов хрущевская критика Сталина, и для этого не было никакой необходимости в критике системы. При этом, однако, положение убежденных коммунистов резко отличалось от положения верующих христиан: основные каноны христианской веры человек может соблюдать самостоятельно, он может приобщаться к Богу наедине с собой, тогда как основные каноны коммунистической веры требуют участия в перестройке наиндивидуальных, общественных отношений, внешних по отношению к индивидууму. Для верующего христианина главное — его душа и его совесть, он может обойтись без церкви. Верующему же коммунисту необходимо орудие осуществления перемен, поэтому без партии он обойтись не может.

Именно этим объясняется, почему проблема личной ответственности за свои идеи и поступки перед "рабочим классом" или историей в сознании верующего коммуниста органически связана с проблемой реформы "деформированной" партии. Отойти от партии коммунист может, лишь отрехшись от своей веры или смирившись с чисто теоретическим ее исповеданием, как независимые марксисты-интеллектуалы, удовлетворяющиеся формулировкой своих идей в литературной форме. Если же убежденный коммунист не относится ни к первой, ни ко второй категориям, то выход у него только один: найти такой ответ на вопрос о личной ответственности за идеи и поступки, который увязывается со стремлением реформировать партию, чтобы в этой реформированной партии он мог в соответствии с новым пониманием личной ответственности реализовать цели и ценности своей веры.

В 1956 г. я только начинал осознавать этот сложнейший комплекс проблем, не разобравшись в них полностью. Но все-таки была поколеблена прежняя внутренняя беззаботность, которая до тех пор поддерживалась сознанием, что, поступая, как велит партия, я действую в "интересах рабочего класса", и никакой ответственности за возможные ошибки не несу поскольку отвечает перед историей партия. Теперь эта партия возлагала ответственность на Сталина, и он лично был призван на суд

истории. Но чем же в таком случае должен руководствоваться я? И разве возможно самому избежать ответственности?

Особо актуальной стала для меня проблема личной ответственности из-за изменения моего служебного положения. С осени 1955 г. я стал заведующим отделом генеральной прокуратуры, куда меня назначили как молодого подающего надежды коммуниста с советским образованием. Политическими процессами и определением политики в области судопроизводства мой отдел не занимался. Нашей задачей был контроль за соблюдением законности в органах государственного управления. Однако органы государственного управления, в свою очередь, были действенным орудием политических репрессий: они могли поощрять или дискриминировать граждан в зависимости от политических убеждений последних. Органы государственного управления конфисковывали имущество и квартиры, в деревнях проводили принудительную коллективизацию и т.д. и т.п. Работая на этом участке, я имел достаточно поводов серьезно задуматься о личной ответственности за все это. Прокуратура как целое была очень важной частью механизма политического террора, так что проблема нарушений законности, политических процессов и казней в результате судебного произвола в нашем учреждении буквально витала в воздухе.

Кто же из наших ответственен за все это? Этот вопрос коммунисты прокуратуры после ознакомления с хрущевской критикой "культы личности Сталина" обойти не могли. В то время генеральным прокурором был В. Алеш, один из обвинителей на процессе Р. Сланского. Главный обвинитель на этом процессе Й. Урвалек был председателем Верховного суда. Заместителем генерального прокурора по уголовным делам был Э. Швах, обвинитель на процессе против М. Шверма. В Словакии заместителем генерального прокурора в те годы был Л. Гешо, обвинитель на процессе против Г. Гусака. В таких условиях обсуждение проблемы ответственности за "деформации" и нарушение закона означало не академические дебаты, а выступление против высоких государственных чиновников и назначивших их на эти места высокопоставленных государственных деятелей.

На партийных собраниях и во время неофициальных дискуссий о личной ответственности передо мной постепенно открывалась страшная картина: многие из моих коллег знали или хо-

тя бы на основании известных им данных могли понять, что они посылают в тюрьму или даже на смерть невиновных людей или таких, вина которых не была доказана и вызывала сомнения. Но позиция моих коллег была проста: они не чувствовали себя ответственными за это. Они ведь выполняли директивы, спущенные сверху, руководствовались постановлениями партии и указаниями партийных руководителей. Таким образом получалось, что либо за все это отвечает "партия", либо никто — просто "нарушался закон", имели место "деформации". Но на этом строили свою защиту и подсудимые нацисты — они ведь тоже выполняли приказы Фюрера.

Я вспоминаю разговор с В. Алешем после того, как я узнал, что на процессе Р. Сланского обвинители и подсудимые учили свои роли наизусть, а потом на суде декламировали их, как на сцене! Алеш этого не отрицал, наоборот, он этим оправдывался: ответственность лежит на том, кто писал сценарий и был режиссером этого фарса. Я согласился, что он не мог воспрепятствовать процессу, но спросил, почему же он согласился принять активное участие в этой трагикомедии, зная, что все это фарс, что невозможно проверить правдивость показаний обвиняемых и выяснить, виноваты ли они на самом деле. Но наивысший, по чехословацкой конституции, блюститель закона утверждал, что это было возможно лишь теоретически, поскольку практически это означало бы сесть на скамью подсудимых рядом с ними. Страх за свою шкуру — тоже аргумент, хоть и не с точки зрения нравственности. Я снова согласился с ним и спросил, почему же он, понимая все это, не попытался остаться в стороне, не навлекая на себя опасности: скажем, нанести себе легкое ранение, которое освободило бы его от участия в процессе. Он признался, что ему это в голову не пришло. За несколько месяцев моей работы в прокуратуре я видел Алеша в самых разных ситуациях. Он не был бесхарактерным человеком, как Урвалек — полицейский доносчик из органов юстиции Южной Чехии, позже переведенный на высокий пост в политической полиции. Алеш не был злым человеком, чем отличался от Шваха — беспринципного, ослепленного властью карьериста (в прошлом рабочего заводов Бати, посланного в органы юстиции, чтобы заполнить квоту "рабочих кадров"). Алеш не был и примитивным человеком, в отличие от Гешо — человека без контуров, бесхребетного, го-

того служить кому угодно. Алеш был до войны районным судьей с психологией мелкого чиновника, по-своему верящего в идеалы коммунизма, так как эта система действительно открывала рабочим и мелким чиновникам путь к "высокому положению". В личной жизни он был аскетом, не искал личной выгоды, а лишь возможности вырваться из душной атмосферы районного суда и играть роль одного из творцов истории. Я не сомневаюсь, что, работая в районном суде, он выносил приговоры в соответствии с буквой закона. Если бы ему сказали тогда, что судья или прокурор должны выучить свои роли по заранее написанному сценарию, он счел бы такое предложение абсурдным.

Но когда он оказался в таком положении, ему действительно не пришло в голову, как из него выкрутиться. Однако не пришло ему это в голову потому, что он даже не задумывался об этом. Он наверняка боялся. Но боялся внешних обстоятельств, а не своей совести, которая когда-то, может быть, и была у него как юриста чистой и которую позже, превратясь из районного судьи в "творца истории", он потерял. В прошлом, вынося приговор человеку, укравшему курицу, он чувствовал личную ответственность, а ответственность за одиннадцать смертных приговоров "врагам народа, агентам империализма и вредителям" он с легкостью стряхнул с себя на "партию". И чувствовал себя в безопасности, не испытывал страха, так как ему в голову не приходило, что когда-нибудь его могут призвать к ответственности, квалифицируя этот приговор как его личное решение — ведь поступил он так во имя "высокой цели".

Чем же он тогда отличался от нацистов — прокуроров и судей, выносивших приговоры во имя "высоких целей" своей идеологии, в которую они так же искренне верили? Тем, что он верил не в превосходство германской расы, а в "интересы рабочего класса"? Эта аналогия постоянно преследовала меня, когда в 1956 году в генеральной прокуратуре обсуждались вопросы личной вины и ответственности. Несмотря на все мои старания, я не мог полностью от этой мысли избавиться. Это был совершенно новый этап моего мышления. Ведь еще месяц назад я тоже знал о политических процессах и сам рассматривал их с точки зрения "высоких интересов" классовой борьбы, борясь с сомнениями с помощью таких же аргументов. Правда, сейчас

я лучше знал закулисную сторону процессов и понял, что это не были обычные суды. Но ведь три года назад, в Москве, я и утверждал на семинаре, что это "не обычные суды", что на таких процессах принцип презумпции невиновности не действует, что вопрос вины с полной ответственностью решает партия. Изменения в моем мышлении вызвала хрущевская критика Сталина. Эти примитивные, ничего общего с "критикой системы" не имеющие разоблачения, которые через заднюю калитку впустили в политику нравственность, произвели на меня огромное впечатление. Потому что из хрущевской позиции вытекала простая констатация: даже за Сталина партия ответственность на себя не берет — отвечать будет он сам. Кто же тогда возьмет ее за мои действия?

Оставалось одно — вести себя так, чтобы быть готовым нести ответственность за свои поступки. В генеральной прокуратуре, да и позже на других должностях, это было совсем не легким делом. Наряду с официальным законодательством, опубликованном в своде законов, в прокуратуре и в суде действовало "ротопринтное законодательство" — секретные директивы по отдельным случаям. Эти директивы работники прокуратуры получали от генерального прокурора, а работники суда — от министра юстиции или председателя Верховного суда. В инструкциях без обиняков говорилось, что и как делать. Так, например, для моего отдела была обязательна директива, что жалобы граждан по поводу некоторых решений (выселение из квартиры, конфискация имущества, меры против "кулаков" при национализации их земельных участков и т.д.) вообще не рассматриваются, а просто отвергаются прокуратурой как бесосновательные. Тем самым сотни дел решались одинаковой отпиской: прокуратура сообщила гражданину, что не обнаружила "никаких оснований" для изменения первоначального решения. Подпись и дата. Чья подпись? Обычно это делалось так. На бланке значилось "заведующий отделом" (моя подпись), но подписывался кто-нибудь из моих подчиненных. То есть и в таком случае ответ давался как бы от моего имени, по занимаемой мною должности заведующего отделом. В сомнительных случаях чиновник отсылал дело ко мне с припиской, что в связи со "сложностью" или "значением" дела просит меня лично принять решение. Если бы я стремился только к обеспечению своего алиби, то мог бы отправить такое дело еще выше, но так я по-

ступал в совершенно исключительных случаях, поскольку это не снимало моей проблемы о личной ответственности.

В обстановке, создавшейся после XX съезда КПСС, многие люди, по отношению к которым закон был нарушен, стали требовать восстановления справедливости. Это стало массовым явлением. Поступать в соответствии с "ротапринтным законодательством" было не только равнодушием к людям, но и взятием на себя ответственности за продолжение прежней, подвергшейся партийной критике политики. Аннулировать секретные директивы генеральный прокурор не хотел без соответствующего указания партийных органов, так как разработал он эти директивы на основании партийных указаний. Речь шла о всевозможных кампаниях в "обостряющейся классовой борьбе", и было секретом Полишинеля, что в ходе таких кампаний официальный закон нарушался. Оставалась единственная возможность: доказать, что отдельные кампании ставят политические проблемы, которые в свете постановлений XX съезда необходимо решить; добиваться аннулирования прежних директив; приступить к рассмотрению гражданских жалоб по закону и по возможности восстановить справедливость.

Наиболее подходящими для начала мне казались так называемые "дела К", по которым в начале 50-х годов в Праге (а позже и в Пльзене, Брно и других областных городах) были массовые выселения из квартир; в "общественных интересах" квартиры эти конфисковывались, а хозяева переселялись в пограничные области, где они жили в разваливающимися домах, прежде принадлежавших немцам, которых после войны выселили в Германию. В рамках "дел К" были конфискованы также дачи и особняки под Прагой. Хозяев квартир и дач называли "классово враждебными элементами", сама кампания была обоснована "общественными и государственными интересами" и потребностями "рабочего класса". Нарушения законности были и в методах проведения конфискаций. По сравнению с другими кампаниями, например, с коллективизацией, жертв "дел К" было меньше. Некоторые случаи решились за это время сами собой: кое-кто из выселенных умер, у других изменилось семейное положение, и они переехали на постоянное жительство в другое место. Подавшие жалобу часто требовали даже не возвращения прежней квартиры, а разумного решения ситуации, то есть что-

бы их перестали считать "классовыми врагами" и не удерживали в пограничных деревнях. Решение этой проблемы представлялось довольно реальным.

Я выяснил, что ни одна из конфискованных в "интересах рабочего класса" квартир не была предоставлена рабочим. Их получили офицеры армии и органов госбезопасности, работники аппарата КПЧ и государственного аппарата. Дачи и особняки были отданы в пользование ЦК КПЧ и министерства внутренних дел. "С классовой точки зрения," первоначальных владельцев никак нельзя было отнести к буржуазии, так как большинство их составляли люди среднего сословия — врачи, адвокаты, чиновники. То есть жертвы выбирались не по "классовому" признаку, а в зависимости от качества квартиры.

Собрав материалы и разработав план решения проблемы, я направился к председателю комиссии партийного контроля Й. Гарусу. Он не был ни за, ни против, но прочитал мне доклад о классовой борьбе и обещал изучить проблему. А результат был вот каким: до осени 1956 года — вообще никакого ответа, а после советской оккупации Венгрии — обвинение в "поддержке классовых врагов". Однако, тогда это обвинение не было обнародовано, его опубликовали лишь после того как в 1970 г. меня исключили из партии, а позже, вторично — после того, как я подписал Хартию 77.

Проблема "К" была не единственной, требовавшей решения. В инструкциях и формулярах, которые мой отдел издавал для областных и районных прокуратур, я старался определить порядок работы таким образом, чтобы обязать работников строго соблюдать нормы закона. Но это было тогда для тогдашних районных боссов революционным актом. В рамках своих полномочий я несколько раз опротестовывал решения министерств, чего прежде прокуратура не делала, хотя теоретически это было возможно. Позже я обнаружил, что партийные органы пытались организовать кампанию против меня. Но, так как после XX съезда партийная бюрократия чувствовала себя не очень уверенно, а я выступал с позиций этого съезда, то это сходило мне с рук до тех пор, пока я не совершил столь ужасный с их точки зрения шаг, что простить его они не могли.

Тогдашний министр внутренних дел Рудольф Барак (в то время он еще был членом политбюро и по положению вторым по-

сле Новотного партийным функционером), поспорив с одним из сотрудников своего министерства, тут же выгнал его с работы. А работал этот сотрудник в весьма непопулярных уже тогда органах цензуры. В приемный день уволенный явился ко мне с жалобой, и я признал действия Барака незаконными. Чтобы не доводить дело до суда (я ведь понимал, что Барак занимает особое положение), я пытался урегулировать дело без скандала, кабинетными методами, и послал Бараку заключение прокуратуры. Это давало ему возможность отступить без шума.

Но через три дня разразилась буря. Барак позвонил генеральному прокурору и заявил, что, вероятно, внизу произошло какое-то недоразумение, так как нижестоящие сотрудники вмешиваются в его министерские полномочия, а потому он требует, чтобы генеральный прокурор лично занялся этим делом. Тот, разумеется, пообещал сделать все, что нужно. Вскоре меня вызвал к себе заместитель генерального прокурора и всячески пытался объяснить мне нелепость моих действий. Он также заверил меня, что все придет в норму, если я возьму свой протест обратно. Вначале мы обсуждали этот вопрос тихо, и его тон был доброжелательным, но, так как я настаивал на своем, дискуссия вылилась в ссору. Интересно, что мои начальники, имевшие право аннулировать мой протест и принять собственное новое решение, так не поступили. И им было ясно, что Барак нарушил закон. Поэтому они предпочитали приказать мне отказаться от протеста. В законе о прокуратуре существует, однако, положение, в соответствии с которым прокурор имеет право не выполнять приказ начальства, если он противоречит закону. Я сослался на это положение и отказался подчиниться.

Такие случаи в деятельности прокуратуры были чрезвычайно редки и всегда имели серьезные последствия. В конце концов, заместитель генерального прокурора Й. Давид аннулировал мой протест. Но и я, и мое начальство знали, что так дальше продолжаться не может. Барак, однако, чувствовал себя удовлетворенным. Правда, через пять лет он попался. Новотный заподозрил его в подготовке путча в партийном руководстве. Барак пытался заручиться поддержкой Москвы, но несмотря на тесную связь с советскими органами госбезопасности, успеха не добился. Хрущев предоставил Новотному свободу действий, и Барака судили за "злоупотребление служебным положением". Обвинителем

был главный военный прокурор Й. Самек, который во время моего конфликта с Баракком был заместителем генерального прокурора. Читая о процессе Барака в чехословацкой печати, я думал, не вспомнил ли Барак на суде, как он воспитывал прокуратуру в духе соблюдения законов? Спросить об этом его самого я смог в 1968 г., когда освобожденный из тюрьмы Барак пришел на прием ко мне, в то время секретарю ЦК КПЧ. В тюрьме он успел многое обдумать. В разговоре со мной его первый совет был: находясь на партийной должности, ни в коем случае не связываться с органами государственной безопасности, в том числе и с советскими.

— Уж казалось бы я умел с ними обращаться, — пожаловался мне Барак, — и посмотри, как они со мной поступили!

Наш конфликт 1956 г. он запомнил совершенно. Да и вряд ли Барак вообще задумывался над своим отношением к законности.

Мои проблемы в генеральной прокуратуре помогли мне решить те, с кем я постоянно вступал в конфликт: руководство генеральной прокуратурой и аппарат ЦК КПЧ охотно согласились на мой уход. На общем партийном собрании К. Иннеман, в то время заведующий отделом ЦК КПЧ, предложил исключить меня и еще нескольких непослушных коллег из партии, но в конце концов дело кончилось миром и компромиссом. Мне выдали характеристику, в которой говорилось, что по неопытности я не понял классовой проблемы Чехословакии и "механически переносил опыт Советского Союза" в чехословацкие условия. Мне было разрешено уйти из прокуратуры в Институт государства и права Чехословацкой Академии наук на исследовательскую работу.

К работе в Академии я приступил 15 октября 1956 г. А через три недели советская армия разгромила венгерскую "контрреволюцию". Но еще до этого, во время польского Октября, когда в Польше пришел к власти Гомулка, выступавший против сталинщины, обострилось положение и в Чехословакии. После венгерских событий мобилизовали свои силы и начали контратаку те, кто боялся малейшей критики сталинизма, поскольку сами они проводили такую же политику. Начались партийные проработки тех коммунистов, которые недавно активно выступали с критикой и требовали перемен. В генеральной прокуратуре

была ликвидирована оппозиция, сформировавшаяся было в партийной организации. Одного прокурора наказали за выступление на партийном собрании, "порочащее дружественное государство", то есть Советский Союз. Некоторые сотрудники прокуратуры и партийного аппарата вспомнили и обо мне и требовали уволить меня из Академии наук. Но на руках у меня была характеристика тех же партийных органов, выданная всего месяц назад. Кроме того, в Академии наук работало несколько сотрудников, известных еще более еретическими высказываниями, к тому же публичными, в печати. Так что, в конце концов, мне удалось проплыть между Сциллой и Харибдой, и я проработал в Академии двенадцать лет — до Пражской весны 1968 г.

* * *

Перестрелка на улицах Будапешта и советская интервенция были на руку тем политическим силам Чехословакии, которые хотели воспрепятствовать критике, сохранить статус кво, а тем самым и свое положение. Но критические голоса внутри КПЧ умолкли не только под влиянием репрессий. В воспоминаниях и эссе бывших коммунистов почти не указывается на существенное обстоятельство, которое к концу 1956 г. приглушило критическую тенденцию: мы, коммунисты, тогда просто испугались.

Разумеется, я не могу с точностью утверждать, что все, кто позже влился в течение коммунистов-реформистов, боялись в одинаковой степени, но, с моей стороны, было бы ложью утверждать, что в то время меня волновали лишь общие политические и идеологические проблемы так называемых венгерских событий. Наряду с этими общими проблемами передо мной выступала совершенно конкретная картина: толпа, линчующая и вешающая коммунистов на фонарных столбах.

Я говорил тогда об этом с коммунистами разных поколений и помню их признания, что и перед их глазами стояла та же картина. Это было серьезным фактором, и он помог Новотному умиротворить критиков, вдохновленных докладом Хрущева.

Из всех оценок венгерских событий того времени наиболее повлияли на меня слова Карделя, которые в Праге передавали из уст в уста. Я даже начал изучать сербохорватский язык, настолько был впечатлен тем, что кто-то формулирует идеи, близ-

кие мне, но которые я не умею, или, вернее, не осмеливаюсь обдумать до конца и сформулировать. В анализе Карделя, кроме хрущевской критики "культы личности", имелись существенные элементы критики системы, причем критика эта опиралась на коммунистическую идеологию. Но, разделяя идеи Карделя, я все же не верил, что, если бы на улицы Праги вышли вооруженные толпы, то их лозунгом было бы: "Вся власть рабочему самоуправлению!". Более вероятным мне казался тогда другой вариант: если бы собрались вместе и обзавелись оружием все истцы, которые на протяжении многих лет получали от прокуратуры, суда и партийных органов бумажки со словами: "Для пересмотра решения нет никаких оснований", то они заняли бы здания этих учреждений, и из окон полетели бы не папки с делами.

Проблема личной ответственности трансформировалась в ощущение коллективной ответственности или личной причастности к общей вине за прошлое, без тщательного определения степени вины индивидуума — этим толпа никогда не занимается, не хочет заниматься, и не может, даже если бы и хотела. И это ощущение соучастия, а, следовательно, и страх были в нас, коммунистах, очень сильны, действовали как ледяной душ после эйфории, продолжавшейся несколько месяцев, и я вынужден признать, что страх этот снова сближал меня с теми, кого я презирал. Но от правды не уйти. Один из друзей моей комсомольской молодости Карел Кунл, которого в 1956 г. исключили из партии за критику сталинщины, говорил мне тогда:

— А что я смогу сказать, если будут вешать коммунистов? Что я уже не в партии? Да им наплевать — ведь я был партийным еще месяц назад. А мой сосед по дому — бесстыжий сталинист, и я не хочу висеть с ним на одном дереве. Если будут вешать, я скажу: хорошо, господа, но только повесьте меня подальше от этого!

И сейчас, много лет спустя, я понимаю, насколько точно отражали его слова значение происшедшей в 1956 г. внутрипартийной дифференциации прежде единых коммунистов для людей, которые никогда сталинистами не были: то, что для нас было откровением, для них оказалось трагедией.

Но на улицах Праги и других городов Чехословакии было тихо, партийное руководство снова обрело уверенность в своей

мощи и успокоилось. Началось сравнительно благополучное, внешне спокойное десятилетие, но именно это внешнее спокойствие способствовало тому, что коммунисты-реформисты в период Пражской весны выступили как значительная организованная сила с довольно серьезно продуманной концепцией необходимых перемен. В 1968 г. эти люди уже не должны были бояться и не боялись разъяренной толпы, угрожающей коммунистам судом Линча. Следует, однако, отметить, что противники демократической реформы Пражской весны постоянно пытались возродить испытанный нами в 1956 г. страх ради своих целей. Осенью 1968 г. этот страх пытались возродить и советские оккупанты и их чехословацкие лакеи. Они великолепно понимали, какую роль сыграл этот страх при подавлении критических тенденций внутри КПЧ в 1956 г.

После всего пережитого в последние месяцы 1956 г. я понял, что больше не способен активно участвовать в партийной и политической работе. Костяк моей веры потрескался во многих местах, и я сам не знал, какие из его элементов выдержат испытание на прочность. В прошлом моя политическая активность была выражением идейной убежденности, и было совершенно закономерным, что, утратив убежденность, я потерял способность к активности. Кроме того, я был в положении члена партии, который едва избежал партийного наказания, так что единственным выходом было стать незаметным. В Академии наук я оказался в совершенно новой, непривычной для меня среде. Я был на самой низкой ступени служебной лестницы — поступил в аспирантуру и начал заниматься научной работой, т.е. совершенно новым для меня делом.

Эти на первый взгляд неблагоприятные обстоятельства на деле оказались наилучшим выходом из положения: я продолжил учебу. Вернее, я впервые в жизни приступил к систематическому изучению литературы по собственному выбору, которая, к тому же, соответствовала моему призванию — политике и идеологии. В моем распоряжении было три года, в течение которых предстояло сдать несколько экзаменов и написать кандидатскую диссертацию по общей теории государства и права.

Я очень быстро обнаружил, насколько недостаточны были мои знания, приобретенные в Московском университете. Только сейчас, в возрасте 26 лет, я впервые прочитал работы пред-

шественников Маркса, классиков политических наук Платона, Аристотеля и Макиавелли, социальные утопии Мора, Кампанеллы и др., произведения идеологов буржуазных революций и их предшественников — Гоббса, Локка, Монтескье, Руссо. Я впервые познакомился с немарксистскими концепциями, со взглядами Вебера и Моски, с теоретическими концепциями права представителей нормативной школы, с юридической социологией, да и вообще с социологической литературой. Неожиданно я увидел марксизм в новом свете, другим, чем он казался мне после изучения обязательной в Московском университете литературы. Советский набор был широким — от "Капитала" и других основных работ Маркса, Энгельса и Ленина до сочинений Сталина, но произведения их были тщательно отобраны: не было среди них работ молодого Маркса, ничего нам не говорили в СССР о Грамши, о Розе Люксембург, о социал-демократах — Каутском, Гильфердинге и Бернштейне, да и о некоторых большевиках — например, о взглядах Троцкого или Бухарина мы узнавали лишь по критическим высказываниям Ленина.

Таким образом, лишь в конце 50-х годов я узнал то, с чем студентов должен был ознакомить юридический факультет университета марксистского направления. Мои занятия были важны для меня не только потому, что повышали мою квалификацию специалиста в области права. Платона, Макиавелли, молодого Маркса и Грамши я читал не как обязательную литературу, а погружался в чтение их работ с глубоким интересом, надеясь найти в них ответы на вопросы, которые остались для меня главными — на политические вопросы современности. Древние философы и авторы нашего времени, марксисты и немарксисты помогали мне выработать собственное мировоззрение. Исповедуемая мной прежде сталинская идеология оказалась никуда не годной. На ее руинах начинало выработываться убеждение, что марксизм — это рациональная, внутренне противоречивая теория, которую вовсе не следует отождествлять с идеологией коммунистического движения и коммунистической практикой.

Параллельно с трансформацией моего мировоззрения восстанавливались способность и стремление к активной политической деятельности. В прошлом, в послевоенные годы, я вошел в политику случайно — сама эпоха подключила меня к этому виду деятельности. Тогда я даже не считал свои действия полити-

кой — я просто принимал участие в революционном историческом процессе, в создании нового мира. Но когда я снова вернулся в политику в 1958 г., это уже было результатом обдуманного решения. Я знал, что подключаюсь к политической деятельности, которая руководствуется совершенно иными законами, в которой царят совершенно иные условия и отношения, что игнорировать эти условия я не могу, а если хочу чего-либо добиться, то должен с законами политики считаться. Я знал, что политическая деятельность чревата нравственными, человеческими конфликтами, и что так было в политике изначально.

Какую же позицию я занимал тогда, в момент принятия решения? Я остановлюсь на этом вопросе подробнее, так как это позволит лучше понять мою политическую позицию и мои поступки в последующие годы, в том числе и во время Пражской весны.

* * *

После 1956 г. вдумчивые коммунисты, до недавнего времени придерживавшиеся сталинской ориентации, сделали поворот, который открыл им дорогу к так называемому реформистскому коммунизму.

Обратившись к изучению марксистской литературы, они убедились, что некоторые идеи Маркса и даже Ленина принципиально противоречат тому, что преподносили им в качестве марксизма-ленинизма официальные партийные пропагандисты. Коммунисты-реформисты акцентировали моменты гуманизма в теории Маркса, его приверженность свободе и эмансипации человека и стали рассматривать классовую борьбу лишь как средство достижения этих целей. Логическим следствием их размышлений оказалось противопоставление идей Маркса (а иногда и Ленина) официальной идеологии. Основная проблема, по мнению коммунистов-реформистов, заключалась в том, что господствующая идеология отказалась от подлинных идей Маркса, а потому перестала быть научным, объективным познанием, превратилась в ложное сознание. Противопоставление науки и идеологии во взаимосвязи обеих с объективной правдой было отправным пунктом нашей критики на этом этапе развития реформистского коммунизма.

В то время я разделял такую же позицию, но постепенно моя точка зрения изменилась. Описанный выше метод подходил лишь для академической, теоретической критики интеллектуалов, он остался в библиотеках, о нем говорили с университетских кафедр и писали в специализированных журналах, но такая переоценка марксизма не могла изменить идеологическое сознание партии, не могла вытеснить из голов сотен тысяч верующих коммунистов сталинистские концепции. Гуманистическая интерпретация работ Маркса — очень сложная, абстрактная теоретическая концепция. Для большинства коммунистов, занимавшихся практической политикой, гуманистическая трактовка марксизма была маловразумительной и оставалась весьма далекой от их конкретных, повседневных проблем. Эти люди видели в теории "руководство к действию". Теоретики марксистского гуманизма подвергли убедительной критике существовавшее при Сталине "руководство к действию", но не могли снабдить коммунистов другим, достаточно понятным и конкретным.

В отличие от коммунистов-реформистов, разрабатывавших различные области общественных наук, но партийной политикой не занимавшихся, я тогда (в конце 50-х годов) придерживался взгляда, что противоречие между марксистской теорией (как стремлением к объективному познанию) и коммунистической идеологией (как руководством к действию в политической практике) невозможно решить простым отказом от идеологии как фальшивого, искажающего истину, а потому никому не нужного сознания. Я был убежден, что новая политика может быть успешной, только если прежнее политическое сознание заменить новым, но тоже идеологическим сознанием. Эта новая идеология, считал я тогда, не может быть тождественна научной теории, она тоже будет от теории отличаться: она будет проще, и так же во имя политической цели будет искажать слишком сложную действительность. Но это искажение не должно противоречить истине настолько, чтобы мешать теоретическому определению правды и стимулировать те силы, которые своей практической деятельностью препятствуют познанию истины.

Изучение домарксистских и, главное, политических теорий революции убедило меня, что противоречие между теорией и идеологией существовало испокон веков и что никогда это противоречие не решалось отказом от идеологии вообще, так как с

политической точки зрения это просто невозможно. Теории Локка, Монтескье и Руссо были плодом рационального мышления, это были концепции, соответствующие научным познаниям об обществе в те времена. Идеология Робеспьера, третьего сословия и парижской толпы во время французской революции лишь некоторыми своими положениями соответствовала этим концепциям, а чаще трансформировала эти концепции до неузнаваемости. Робеспьеровский религиозный культ разума и практический культ гильотины играли в революционной идеологии более важную роль, чем идеи Руссо о демократическом формировании "всеобщей воли".

Для потомства учение Руссо не исчезло, но развитие политического мышления определяла не его первоначальная концепция.

Генералы армии Наполеона вообще не читали Руссо, но именно они осуществили общественные перемены, которые стимулировала теоретическая концепция Руссо. А те, кто хотел идти вперед — не только в политическом мышлении, но и в политической практике, — должны были отталкиваться от фактических результатов революции, а не отряхивать пыль с ее первоначальной программы.

Почему же именно таким путем делается история? Совсем не потому, что революционно настроенный народ и его политические руководители сознательно деформируют идею, а потому, что они эту идею воплощают в жизнь. Тем самым идеи начинают жить своей жизнью. Об этом говорил и Маркс: идея становится материальной силой, когда она овладевает массами. Тогда массы и их политические лидеры используют идею как средство достижения своей цели, они подчиняют ее этой цели. И важно не то, познана ли объективная правда об обществе, а то, что некоторые идеи способны объединить и организовать политически действующих людей. Только организационная, объединяющая функция идеи предопределяет, какие идеи и в какой иерархической и логической последовательности станут компонентами влияющей на массы политической идеологии, а какие из первоначального комплекса идей отойдут на задний план или вообще исчезнут из идеологической конструкции. Это могут быть великолепные идеи, совершенно необходимые для объективного познания действительности, но совершенно не подходящие для

целей политики и организаторской деятельности. Так, например, рациональный научный скепсис заранее непригоден для целей мобилизации и организации; для этого более подходит фанатическая вера, которая опирается не на познание, а на эмоции. Поэтому, когда теория трансформируется в идеологию, скептицизм уходит на задний план, иногда вообще исчезает, и его замещает вера. Теория модифицируется в соответствии с экономическими, общественными и политическими потребностями людей. Это и есть цена, которой идеи расплачиваются за то, что становятся материальной силой, воплощенной в массовых общественных движениях.

Уже в конце 50-х годов я пришел в результате изучения взаимосвязи между теорией Маркса и идеологией коммунистических партий к выводу, что и эта связь подчиняется общим законам, а потому проблему развития коммунистической политики нельзя решить возвращением к "подлинному" Марксу (не говоря уже о том, что само содержание этого понятия очень туманно, поскольку в трудах Маркса имеются крайне противоречивые утверждения по важнейшим вопросам экономики, общества и политики в "переходный от капитализма к коммунизму период"). Я был совершенно убежден, что коммунисты-практики будут и в дальнейшем руководствоваться идеологией, которая соответствует их политическим интересам, а не научно-теоретическим тезисам, какими бы "объективными" они ни считались. А потому наряду с теорией следует разработать новую, рациональную идеологию, которая даст ответы на ряд актуальных общественных и политических проблем, ответы, совместимые как с политическими интересами коммунистов, так и с потребностями общества.

Похоже, многие коммунисты-реформисты понимали, что решение проблемы — не в отказе с позиций "подлинного марксизма" от идеологии, на которой базируется деятельность партии, а в изменении и реформировании ее на практике. На это, начиная с конца 50-х годов, ориентировалась значительная часть активистов КПЧ на разных участках политической работы. Стимулом такой ориентации большинства коммунистов были вовсе не теоретические и идеологические исследования, а их повседневный практический опыт, оцененный рационально, эмпирически и прагматически. В производстве, в государственном управлении, в области социальных услуг и т.п. этот опыт свидетель-

ствовал, что действительность совершенно не соответствует нарисованной идеологией картине, а это, в свою очередь, вызывало потребность внести в идеологию соответствующие коррективы.

Рассуждавших таким образом коммунистов-реформистов, как ни странно, широко поддерживали беспартийные, то есть большинство граждан Чехословакии. С другой стороны, и коммунисты-реформисты стали относиться к интересам и потребностям беспартийных как к фактору, который необходимо учитывать. Они постепенно приходили к пониманию необходимости такой системы правления, при которой и другие слои населения могли бы заявить о своих интересах. Но все-таки решающим критерием правильности той или иной политической меры для коммунистов-реформистов оставалась пусть и реформированная, но их идеологическая система ценностей и соответствующая этой системе логика. Интересы людей вне коммунистической партии, не завоевавших в коммунистической системе свое место, коммунисты-реформисты рассматривали как нежелательное "давление на партию", как "несоциалистические тенденции", противоречащие интересам общества. Право определять, каковы интересы общества, признавалось тогдашними концепциями коммунистов-реформистов не за обществом, а опять-таки только за коммунистической партией, руководствующейся коммунистической же идеологией.

Таким образом, реформистский коммунизм в Чехословакии 60-х годов представлял собой направление, существенно ограничивавшее политическую демократию. Но, с точки зрения тоталитарной политической диктатуры, этот реформистский коммунизм был главной политической силой, разрушавшей эту систему и прокладывавшей путь политической демократии. Реформистский коммунизм не был еще практическим решением, но это был путь к нему.

Основная проблема, стоявшая перед коммунистами-реформистами, заключалась в том, как должны быть ликвидированы ошибки их партии и их идеологии и как верно "определять интересы всего общества". Мысль, что общество могло бы само найти такое решение, не опираясь при этом на партию и партийную идеологию, была для них совершенно неприемлемой, поскольку они продолжали верить, что их идеология, их партия все же представляют "подлинные, исторические и объективные"

интересы рабочего класса и всего общества лучше любой другой идеологии или партии.

С позиции человека, никогда не разделявшего коммунистическую идею, кажется, что и коммунисты-реформисты не вышли из очерченного ими же порочного круга. Однако для верующих коммунистов реформа коммунизма — это единственный путь, вступив на который они могут из этого круга выйти: реформистский коммунизм не стирает границ этого круга, но создает ситуации, в которых коммунисты начинают осознавать его наличие и порочность.

Начав заниматься в конце 50-х годов активной политической деятельностью, то есть примкнув к коммунистам-реформистам, я не осознавал все ограничивающие факторы этого направления, но в своей деятельности я их ощущал.

Мое убеждение в правильности реформистского коммунизма основывалось не на общих размышлениях о роли идеологии. Как и сотни тысяч других, пытавшихся критически пересмотреть прошлое, я пытался выяснить, что дало обществу, трудящимся, рабочему классу правление коммунистов, руководствовавшихся "политическими интересами" трудящихся.

Я пришел к выводу, что результаты этого развития нельзя свести только к отрицательным. Напротив, основные перемены носили положительный характер, а потому они обуславливают не только необходимость, но и возможность реформ.

В конце 50-х и в 60-е годы экономические и общественные условия Чехословакии уже стабилизировались. Некоторые идеалы нашей коммунистической веры были реализованы, и общество приняло их. В стране уже не было капиталистов, исчезло прежнее классовое и общественное расслоение, базировавшееся на частной собственности. Была ликвидирована и нищета как социальное явление: исчезли люди в лохмотьях, нищие, бедняцкие предместья, которые я видел в детстве, а потом в Москве, а молодое поколение — уже только в кино. Исчез страх, что болезнь или старость — это материальная катастрофа. Средний уровень жизни не означал благосостояния, но был приемлемым и, что главное, хоть и медленно, но все же повышался. Жилищный кризис — самое больное место — вроде появилась надежда решить, после того как была отвергнута сталинская ориентация на преимущественное развитие тяжелой промышленности. Но де-

ло было не только в материальном аспекте жизни людей. Материальная уверенность большинства стала той базой, на которой строилась довольно спокойная обеспеченная жизнь, если, разумеется, она не выходила за рамки личных интересов индивидумов и семей. Кто жил в стороне от политики, кого не волновали проблемы эффективности экономики, развития культуры и свободы мышления, мог жить спокойно, не боясь завтрашнего дня и не опасаясь за будущее детей. Темпы труда и жизни в Чехословакии ниже, чем в промышленно развитых капиталистических странах, нет постоянного напряжения, необходимости повседневно утверждать свою значимость. Правда, чехословацкие будни имели и свои теневые стороны: недостаточное количество услуг и изделий, облегчающих ведение домашнего хозяйства, недостаток товаров широкого потребления, в результате чего огромное количество времени тратилось на доставание необходимого и т.п. Но в отношениях между людьми, между руководителями и подчиненными, между людьми разного пола, возраста и разной национальности было больше равенства, демократичности, чем при капитализме. В отличие от Советского Союза, в Чехословакии действительно господствовал неполитический демократизм, демократизм в повседневной жизни, хотя политическая система и система управления хозяйством были копией советской диктатуры бюрократии.

К концу 50-х годов изменилось мышление людей. Если сразу после февраля 1948 г. критика существующего положения базировалась на сравнении с тем, как жила страна до коммунистического переворота, то сейчас уже никто не делал таких сравнений. Да и в области политики деятельность компартии не соизмерялась с деятельностью некоммунистических партий до февраля 1948 г. Критика продолжалась, но отправным пунктом ее было стремление к переменам на основе утвердившихся экономических, общественных и политических отношений, а не возврат назад, к тому, что было при капитализме. То же самое можно сказать и о деревне, где всего несколько лет назад завершилась коллективизация. Даже там возвращение к единоличному хозяйству не было стремлением большинства, во всяком случае не большинства молодого поколения.

Действительность, таким образом, не противоречила, как мне тогда казалось, общей картине, нарисованной идеологическими

мазками: была построена "база социализма", и нужно было, не оглядываясь назад, продолжать "строительство развитого социалистического общества". Политически это означало не "обострение классовой борьбы в социалистическом обществе", а "углубление социалистической демократии".

Сейчас, после событий 1968 г., я понимаю, насколько упрощенной была моя тогдашняя оценка. Я видел общество с позиции привилегированных, а о жизни парий имел лишь поверхностные и искаженные представления. То, что казалось мне тогда всеобщим согласием, на самом деле было пассивностью людей, переживших сталинский террор. Когда этот террор после 1956 г. ослабел, люди с облегчением вздохнули и направили усилия на упорядочение частной жизни. Казавшееся спокойной идиллией, было единственно возможным выходом. В условиях, когда любое проявление инициативы в решении общественных и политических проблем представлялось большинству совершенно безнадежным, был весьма слабым и нажим оппозиции. Подавленные интересы, потребности и взгляды людей оставались под поверхностью.

Удовлетворенное спокойствие "среднего гражданина", который собственно давно уже перестал быть гражданином, уйдя в замкнутый личный мир, вовсе не способствовало успешному проведению реформ, напротив, укрепляло тоталитарную диктатуру. "Средний гражданин" с его уже модифицированными диктатурой потребностями и интересами — это продукт, к созданию которого диктатура больше всего стремится. "Средний гражданин" настолько убежден в том, что ничего изменить нельзя, что полностью приспосабливается, тем самым поддерживая диктатуру и вливая в нее жизненные силы.

Диктатура остро нуждается в таком "гражданине", ибо на нее он-то и трудится. Поэтому диктатура обеспечивает "среднего гражданина" "средним" питанием, развлекает государственным телевидением, заботится о его здоровье.

Но несмотря на все эти отрицательные стороны стабилизации новых общественных условий, все же действовало и несколько положительных факторов, о которых я уже говорил: преобладающее большинство населения имело уверенность в завтрашнем дне, удовлетворяло свои основные материальные потребности, и поэтому не стремилось к реставрации капитали-

стической экономики, так как при капитализме социальной уверенности у них не было. Это подтвердилось событиями 1968 г.: резкая критика общественных и политических аспектов тогдашней действительности в условиях свободного выражения идей не породила программы реставрации капитализма и такие настроения не стали заметным политическим фактором. В течение 1968 г. не был расформирован ни один сельскохозяйственный кооператив (колхоз), а к мелкому частному промышленному производству вернулись совсем немногие.

Ахиллесова пята реформистского коммунизма была не в отрицании возможности реставрации частнособственнических отношений. В этом коммунисты-реформисты опирались на позицию абсолютного большинства общества. Уязвимым местом коммунистов-реформистов оказалась идеализация подлинного положения этого абсолютного большинства.

Но это я осознал позже, а в конце 50-х и в 60-е годы успех политики реформистского коммунизма казался мне несомненным. Основную задачу я видел в том, чтобы идеология реформистов стала официальной идеологией КПЧ и чтобы власти действовали в соответствии с ней. Для этого нужно было работать внутри КПЧ, найти сторонников новой идеологии в самом центре власти.

Это было делом нелегким, но не невозможным. С конца 50-х годов реформистскую идеологию приняли тысячи партийных работников. Именно поэтому в 1968 г. политика КПЧ стала политикой реформы коммунизма. В 60-е годы эти настроения распространились и в партийных массах. Но для посторонних наблюдателей этот процесс долго оставался незаметным.

При любой политической диктатуре решающее слово остается за кабинетной политикой, а в условиях кабинетной политики снаружи не видны различия между теми, кто ее осуществляет. И в Чехословакии до 1968 г. люди не могли делать различий между властью имущими, скрытно действовавшими в партийном и государственном аппарате. Кто знал до Пражской весны, чем отличается А. Дубчек от Й. Ленарта или О. Черник от А. Индры? И кто вообще интересовался этим?

На протяжении нескольких предшествовавших Пражской весне лет были заметны различия лишь между теми коммунистами, которые занимались вопросами культуры, выступали как

публицисты. Они тоже относились к привилегированному слою, но не были анонимны, они выступали открыто. Несмотря на цензуру и самоцензуру, в области культуры и публицистики по отдельным высказываниям можно было определить политическую позицию автора. И люди симпатизировали тем, кто выступал со все более открытой критикой, рискуя тем самым своей карьерой и иной раз подвергаясь серьезным преследованиям со стороны властей.

Авторы критических статей, появившихся в общественно-литературных журналах, выступавшие на съездах писателей и те, которых преследовали за убеждения, совершенно заслуженно и естественно завоевывали популярность в самых широких слоях населения. Авторы же различных критических идей и проектов, действовавшие за стенами правительственных зданий, для большинства были неизвестны, об их победах или проигрышах общественность понятия не имела.

Однако, это были фланги одного фронта: те, кто выступал открыто, не могли бы этого делать, не будь у них анонимных и неизвестных единомышленников; в большинстве случаев существовала и обратная связь. В создавшейся обстановке постепенно укрепилась и прежде проявлявшаяся в политике тенденция — оценивать значение того или иного действия по открытым высказываниям. Так было при Новотном, но такое положение сохранилось и даже усилилось в первые месяцы Пражской весны. Политические заявления играли бóльшую роль, чем практические меры, принятые в рамках политической структуры, хотя лишь благодаря им стали возможны открытые политические заявления.

Анализы Пражской весны, опубликованные на Западе после 1968 г. коммунистами-реформистами, обычно отражают опыт, впечатления и взгляды тех, кто до и во время Пражской весны выступал на открытом фланге, — журналистов и писателей, специалистов в области общественных наук и т.п. Другой фланг фронта по-прежнему остается скрытым. Жаль. И не только потому, что из-за этого остаются неизвестными интереснейшие и важнейшие моменты, но и потому, что знание того, как развивались события в среде власть имущих, важно для прогнозирования будущего. Нельзя ответить на вопрос, может ли повториться Пражская весна, не выяснив, может ли в среде власть имущих сло-

житься такая же ситуация, как в последние годы правления А. Новотного.

В 60-е годы я выступал как коммунист-реформист и публично, и за стенами ЦК, что позволило мне заглянуть в скрытый мир стоявших у власти в те годы. И не только заглянуть: я сам был составной частью этого мира. Я связал с ним мою судьбу в 1968 г., и это повлияло на мою дальнейшую жизнь в гораздо большей степени, чем моя публицистическая деятельность.

* * *

После того, как орган КПЧ "Руде право" напечатал в 1959 г. мою первую статью по идеологическим вопросам, меня пригласил к себе директор Института государства и права Чехословацкой Академии наук академик В. Кнапп. Он коснулся этой статьи, а я сказал, что было бы хорошо, если бы мои взгляды дошли до более широкого круга читателей.

— Вернее, до более узкого круга, не правда ли? — сказал Кнапп и рассмеялся.

Он был прав. Такого рода статьи предназначались не для миллионов подписчиков "Руде право". Массовый читатель не обращал на них никакого внимания, его интересовала, в основном, спортивная страница. Но их читали те, для кого политика и идеология были профессией: работники политических аппаратов, функционеры и активисты КПЧ. Для них напечатанные в "Руде право" взгляды и формулировки были политической директивой. С тем, что пишет "Руде право", можно не только соглашаться, это можно говорить вслух и даже пропагандировать.

Более того, "Руде право" было чтивом хотя и весьма узкого, но очень влиятельного и могущественного круга; это было чтиво самих членов политбюро, секретарей ЦК КПЧ и их близких сотрудников. Они не читали всего, они даже не читали внимательно, но подчиненные им сотрудники аппарата предполагали, что раз эти круги не возражают против того, что было опубликовано в "Руде право", то можно считать, что это было напечатано с их благословения.

Не через парадный вход, а через страницы "Руде право" я вступил тогда в святыню политической власти Чехословакии, в партийный аппарат. Никакой официальной политической долж-

ности я тогда не занимал, но определенное влияние у меня уже было. Недостаточно информированные люди допускают крупнейшую ошибку, оценивая политическое влияние того или иного человека в зависимости от того, какую формальную должность он занимает. Для них чехословацкий министр более значительная фигура, чем заведующий отделом в аппарате ЦК — а это неверно. Практически заведующий отделом ЦК от министра не зависит, тогда как министр во многом зависит от него, поскольку заведующий отделом ближе к подлинному центру власти, к политбюро. Кроме того, он решает, кто из подчиненных министра будет повышен или уволен, он, собственно говоря, решает судьбу самого министра.

Человеку не посвященному в эти таинства некоторые происходящие на верхах явления совершенно непонятны. Если бы такой человек увидел, как генерал во время инспекции воинского подразделения обойдет вниманием полковников и майоров, чтобы пожать руку незаметному капитану и дружески перебраться с ним несколькими словами, то решил бы, что генерал либо чужак, либо ненормальный. В действительности же капитан этот — сотрудник ответственного за вооруженные силы отдела ЦК КПЧ, который отбывает службу в качестве резервиста. И генерал, и полковники, и майоры знают, что этот человек хоть и ниже их по чину, но от него зависят их чины, должности, зарплата, карьера и ее провалы.

Думать, однако, что раз в системе власти наибольшим могуществом обладает партийный аппарат, то, исходя из этого, можно легко ориентироваться в коридорах власти имущих, было бы тоже ошибочно. Перед сотрудником аппарата КПЧ, который занимается вопросами здравоохранения, дрожат, разумеется, от страха главные врачи больниц и даже сам министр здравоохранения, но тот же ответственный за медицину работник партаппарата должен быть очень осторожен с офицером госбезопасности, живущим с ним по соседству. А офицер госбезопасности, как и его начальники, в свою очередь, должен вытягиваться в струнку перед сотрудниками отдела ЦК КПЧ, курирующего их органы, секретарями ЦК КПЧ и их помощниками, а в некоторых случаях и перед другими работниками партаппарата. Они лебезят перед ними даже больше, чем перед министром внутрен-

них дел, поскольку и он всего лишь министр, пусть и особого ведомства.

В самом партийном аппарате формальная иерархия также не всегда соответствует подлинной. В 60-е годы, при Новотном, важным критерием степени влияния была принадлежность к узкому кружку партнеров Новотного по картам. Секретарь обкома или министр, которые резались с Новотным в преферанс, обладали иногда бóльшим влиянием и властью, чем те секретари ЦК КПЧ, которые в карты не играли. Но и игравшие, и не игравшие, в том числе и сам Новотный, с особым почтением относились к некоторым сотрудникам аппарата ЦК КПЧ. Я столкнулся с этим лично и когда удивился, почему секретарь, обычно занимавший авторитарную позицию, колеблется принять решение, противоречащее взглядам рядового сотрудника аппарата, то получил следующий ответ: когда ты говоришь с некоторыми сотрудниками, это все равно, что ты говоришь с Москвой.

Для практической работы в аппарате знать, кто именно эти сотрудники, было важнее, чем получить образование в Высшей партийной школе. Те, кому это было известно, могли избежать многих неприятностей. Те, кто это знали, не удивились тому, что незадолго до 21 августа 1968 г. некоторые работники аппарата вдруг поехали в отпуск в СССР или в ГДР. Не вызывает у них удивления и тот факт, что работник ЦК КПЧ, который курировал Академию наук, вдруг стал министром внутренних дел, а сотрудник международного отдела ЦК может оказаться самым подходящим кандидатом на должность начальника отдела по делам культуры. Несведующий же топчется в неуверенности и не перестает поражаться.

Чтобы обладать влиянием, не нужно занимать высокую должность. Я не играл в карты с Новотным, и я не сотрудничал с КГБ, но все же относился к группе людей, которые были фундаментом правящей элиты. Разглядеть этот фундамент было нелегко, но значение его для структуры власти было большим: без него не могли бы устоять и столпы власти. От этого фундамента зависят и отдельные руководители, и органы — они питаются его соками, которых им самим часто недостает.

Утвердит или не утвердит партийный орган — съезд партии, Центральный комитет или политбюро — то или иное предложение, ту или иную формулировку, зависит не только от данного

органа. Его члены обсуждают проекты, которые разрабатывает и составляет аппарат: не секретари и не начальники отделов, а вспомогательный аппарат этих функционеров. Правда, проекты эти корректируются, кое-что в них при обсуждении меняется, но в принципе они содержат то, что включили в них нижестоящие, публике (даже партийной) неизвестные работники аппарата. От них большей частью зависит, как сформулированы те или иные идеи в постановлениях Центрального комитета, партийных съездов, в решениях правительства, в законах и даже в конституции, поскольку и формулировки законов, в том числе и конституции, утверждает политбюро на основе проектов, разработанных аппаратом, его комиссиями и "рабочими группами".

Борьба за подлинное влияние при принятии решений становится тем самым и борьбой за нижестоящие, на первый взгляд не очень важные должности в аппарате. Поэтому секретари ЦК тоже стараются, чтобы в секретариатах и различных отделах аппарата были их люди — либо преданные им лично, либо друзья тех, кто им лично предан. Наиболее важно было иметь "своих" людей в секретариате главного — первого секретаря. В 60-е годы им был Новотный. Степень влияния отдельных секретарей, начальников отделов и других высоких функционеров зависела, тем самым, от того, сколько сторонников этих людей работали на низших ступенях партийного аппарата. А в этих кругах действуют неформальные, для непосвященных неразличимые группы и клики, объединенные общностью ориентации.

Такое положение люди, принадлежащие к отдельным группировкам, могут использовать в интересах личного продвижения по партийной лестнице. Но в обстановке, когда внутри самой системы власти речь идет о проблемах надличностных, когда сталкиваются различные точки зрения и политические концепции, эти бюрократические джунгли могут стать ареной борьбы за антибюрократическую демократизацию. Именно такая обстановка сложилась в 60-е годы в Чехословакии. Некоторые группы и клики внутри аппарата власти постепенно становились орудием коммунистов-реформистов, другие использовались консервативными силами, которые пытались воспрепятствовать реформам.

Открытые публицистические выступления в газете "Руде право" по вопросам политической теории и идеологии были началом моей практической деятельности в рамках партийного ап-

парата. До 1968 г. я не был его сотрудником, а работал в Академии наук. Но большая часть моей деятельности уже тогда, в 60-е годы, протекала в сфере партийного аппарата.

По мере того, как мои работы все чаще публиковались в партийной печати, меня все больше привлекали к деятельности всевозможных "рабочих групп", которые разрабатывали подготовительные материалы для партийного аппарата и партийных органов. В основном это были материалы по вопросам партийной идеологии, государства, права, общественных организаций и политической системы вообще. В 60-е годы такие рабочие группы все чаще использовались партией. Влияние их трудно измерить точно, но все же они вели к укреплению позиций как партийной интеллигенции, не занятой в аппарате, так и самой идеи реформ. Официально эти группы организовывались для того, чтобы научно разработать новую политическую директиву и способы ее реализации. Практически это свидетельствовало о неспособности аппарата провести необходимые анализы и сделать общие выводы.

Постепенно почти для всех важных заседаний партийных органов подготовительные материалы стали готовить "рабочие группы", состоящие из людей вне аппарата: работников государственных органов, хозяйственников, преподавателей высших учебных заведений, сотрудников научно-исследовательских институтов. Они-то и проводили анализ и разрабатывали проекты необходимых мероприятий. Различные звенья партийного аппарата обрабатывали составленные такими группами подготовительные материалы так, чтобы они были приемлемы для партийного руководства. Тем самым противоречивую роль стал играть и сам аппарат: с одной стороны, он сосредотачивал в своих руках данные, критически вскрывавшие подлинные проблемы, с другой стороны, он просеивал эти данные, вносил корректуры в рекомендуемые решения, лишая их порой самого существа. Принимаемые на основе этих кастрированных материалов партийные постановления весьма отличались от первоначально подготовленных "рабочими группами", но все-таки в компромиссных формулировках иногда сохранялся их подход к проблемам.

Подобным же образом готовились в 60-е годы доклады и выступления высоких партийных и государственных деятелей. Счи-

талось, что в последней стадии секретари ЦК КПЧ и члены правительства сами редактировали тексты своих выступлений, но почти всегда, за редкими исключениями, они зачитывали тексты, составленные их помощниками в различных "рабочих группах".

Участие в работе таких групп давало мне возможность включить некоторые мои соображения, пусть и в завуалированном виде, в тексты постановлений партийных органов и выступлений партийных и государственных руководителей. В таких случаях я мог позже сослаться на эти высказывания и интерпретировать их так, чтобы создать возможность для проведения критических анализов и внедрения реформистских идей. Таким образом, моя открытая публицистическая деятельность взаимодействовала с закрытой, в "рабочих группах": то, что я писал в статьях, отражалось в политических постановлениях и выступлениях, и наоборот.

Так поступал не только я. Подобным образом в 60-е годы действовали десятки коммунистов-реформистов, сотрудники всевозможных исследовательских институтов и вузов. Именно так многим экономистам и социологам удалось реализовать некоторые свои концепции на практике. Но каждый, кто добивался определенного влияния внутри бюрократического механизма власти, должен был за это расплачиваться, поскольку отношения между ним и властью были далеко не односторонними — власть оказывала влияние на его концепцию реформы, и он должен был служить целям власть имущих.

Я помню несколько конкретных случаев, когда приходилось делать такой выбор, взвешивать все "за" и "против". Дело было не только в том, что я не всегда мог откровенно формулировать все, что думал, при составлении проектов постановления политбюро или выступления секретаря ЦК КПЧ или председателя правительства. Это были, в конце концов, технические проблемы. Намного серьезнее были случаи, когда для сохранения занимаемой мной позиции я должен был "защищать линию партии", вовсе не будучи убежденным в ее правильности.

Так, в 1961 г. Новотный заявил, что вопрос о политических процессах 50-х годов уже "решен окончательно". Я вовсе не был убежден в этом. И все же и на собраниях, и в печати я утверждал, что Сланский никогда реабилитирован не будет, поскольку сам соучаствовал в преступлениях тех лет, подобно Ежову, Ягоде и

Берия, которых в Советском Союзе тоже не реабилитировали. В 1962 г. в качестве лектора ЦК КПЧ я защищал на партийных собраниях официальную версию об аресте Рудольфа Барака: обвинение против него заключалось в том, что он злоупотребил должностью министра внутренних дел для личного обогащения, что он растратил валюту и т.д. Новотный даже организовал выставку, экспонаты которой должны были служить доказательством вины Барака: заграничные костюмы и рубашки, иностранная валюта, дорогие картины и другие произведения искусства. Мне было очень стыдно. Я знал, что причина — политического характера, что Новотный подозревал Барака (и, вероятно, у него были для этого основания) в намерении организовать дворцовый переворот. И все же я защищал "партийную линию".

Не будучи убежденным в собственной правоте, я несколько раз полемизировал с "ревизионистами", в частности, с некоторыми сторонниками югославской концепции, которую я сам рассматривал как исходный пункт возможных перемен политической системы Чехословакии. Это был период, когда "критика ревизионизма" была первоочередной идеологической задачей КПЧ, и в такой момент отклониться от "партийной линии" означало бы потерять все, чего мне удалось добиться за несколько лет — потерять возможность реформировать партийную политику постепенно, действуя внутри политической власти, внутри аппарата.

Соображениями политического расчета было совсем не трудно оправдывать такое поведение. Я хорошо понимал, что ценой таких отступлений я получаю возможность и в дальнейшем участвовать в формировании концепции партийной политики и сохраняю за собой позицию в партийной машине, что позволит мне оказывать на нее влияние и в будущем. И это мне казалось самым важным. Не следует забывать, что темой моей диссертации были работы Макиавелли, так что я знал, что уже четыре века назад в политике все было так же, и Макиавелли это понимал. Он пришел к выводу, что политик не может исходить из принципов морали, которыми руководствуется индивидуум в частной жизни, что в политике нравственными и правильными являются лишь такие действия, которые служат поставленным целям и обеспечивают успех.

Моя совесть, однако, и чувство личной ответственности тако-

му поведению противились. Возникшее противоречие я решил тем, что сам для себя определил границу, которую я не согласился бы переступить во имя политического расчета.

Во-первых, я не стал бы действовать незаконно; во-вторых, я отказался бы участвовать в таких мероприятиях, политический вред которых перевешивал бы полезность сохранения моей позиции в партии. Мне думается, что в моей деятельности в аппарате власти я этих границ не преступал. Но дважды я был не далек от этого. Так, например, в 1966 г., когда идеологический курс КПЧ обострился (закрыли некоторые журналы, начали преследовать работников культуры и т.п.) я пришел к выводу, что, продолжая "защищать линию партии", я перейду границу, и это не будет уравновешено политической пользой.

Я перестал публиковать работы идеологического характера, отказался от некоторых должностей и сосредоточил свое внимание на теоретических исследованиях. В результате мне удалось организовать интердисциплинарную исследовательскую группу, которая занималась проблематикой политической системы. Работой этой группы я руководил вплоть до весны 1968 г.

Второй раз я испытал опасение перейти мною же установленную черту после советской оккупации 1968 г. В ноябре того года я принял решение отказаться от всех занимаемых мной политических должностей. Но об этом я еще буду говорить подробнее.

Разумеется, условия, в которых действовали коммунисты-реформисты в аппарате власти, обуславливали их мышление. Поэтому, стремясь объективно изучить обстановку и определить, что же необходимо сделать для развития страны и общества, выявить, к чему само общество стремится, они с самого начала вынуждены были принимать во внимание и другой аспект, а именно: что в данный момент приемлемо для партии, для ее аппарата, с чем он может согласиться, а с чем — нет. Самоцензура имела место не только в открытых выступлениях, но и в мышлении. Вопросы, заведомо не приемлемые для властей, даже не рассматривались, над ними не задумывались, их отбрасывали, поскольку в обозримое время их невозможно было перевести на язык официальной идеологии и уж тем более провести в жизнь. Этим группа коммунистов-реформистов в аппарате резко отличалась от другой группы, которая выступала открыто

вне структуры власти, а потому имела возможность ставить более общие вопросы общественного и политического развития и искать на них ответы. Коммунисты-реформисты, принимавшие активное участие в культурной жизни, — писатели, журналисты, работники искусства и те из сотрудников высших учебных заведений, которые не были причастны к деятельности партийных органов и партийного аппарата, — не принимали во внимание как лимитирующий фактор отсутствие возможности реализовать свои идеи. Они, разумеется, не отказывались от надежды осуществить свои идеи на практике, но считали, что успеха в этом направлении они могут добиться лишь оказывая давление на органы политической власти извне: формируя общественное мнение, позиции различных групп населения (преимущественно интеллигенции), общественных организаций, не слишком жестко связанных с властью (творческие союзы, научные учреждения, органы просвещения и т.п.).

Общая политическая ориентировка этой группы коммунистов-реформистов была более демократичной и более радикальной, чем ориентировка группы внутри аппарата власти. В этом можно убедиться, сравнив, например, "Литерарни новины" ("Литературная газета") с партийной печатью. Между этой радикальной группой и властью происходили даже столкновения, в которых коммунисты-реформисты из аппарата играли незавидную роль канатоходцев, балансирующих между двумя полюсами.

Каковы же были в 60-е годы результаты моей деятельности, направленной на реформу коммунизма?

С 1964 г. моя позиция в аппарате ЦК КПЧ определялась моей должностью секретаря юридической комиссии ЦК КПЧ и одновременно официального советника и консультанта партийных и государственных органов по общим вопросам политической системы, демократии и права.*

* Юридическая комиссия была одной из нескольких комиссий ЦК КПЧ, учрежденных партийным руководством в 60-е годы в качестве консультативных органов. Кроме юридической, имелись комиссии по экономическим вопросам, по вопросам идеологии, сельскому хозяйству и проблемам молодежи. Во главе комиссий стояли секретари ЦК КПЧ. Председателем юридической комиссии был В. Коуцкий. Членами комиссий были работники партийного аппарата, министры и руководители государ-

В той или иной степени я принимал участие в разработке всех важнейших партийных и государственных решений по рассматриваемым юридической комиссией вопросам, так что в процессе подготовки я имел возможность привнести в них свои взгляды.

Решающего влияния на формулировку и трактовку законов до 1968 г. юридической комиссии оказать не удавалось, но все же, благодаря работе комиссии, вопросам права и законности стали уделять больше внимания. Уже тогда в комиссии обсуждались и критически анализировались проблемы, выдвинувшиеся на передний план в 1968 г. Кроме того, были несколько демократизированы формулировки некоторых юридических норм.

Участие в юридической комиссии ЦК КПЧ придало моим высказываниям более официальный характер. Я консультировал высшие органы власти и партийных деятелей, принимал участие в десятках различных "рабочих групп", которые подготавливали материалы для решений и постановлений, и был одним из официальных толкователей идеологии и политики по вопросам государства, демократии, права и политической системы вообще. Я читал лекции на многочисленных собраниях и курсах. В 1964-1966 гг. мне иной раз приходилось читать более 20 лекций в месяц — для партактивов, для функционеров обкомов и райкомов, для работников государственного аппарата, в том числе военных и сотрудников госбезопасности. Я написал десятки брошюр и руководств для внутреннего пользования партийного и государственного аппарата. Тысячи партийных и государственных функционеров прослушали мои курсы. Большинство слушателей положительно воспринимало мои концепции.

Идеологическая концепция, которую я пропагандировал в 60-е годы в партийных и государственных кругах, благодаря чему она приобрела как бы характер официальной линии, в коротком изложении такова:

ственных органов. Комиссии ЦК КПЧ рассматривали почти все проекты, подлежавшие обсуждению в политбюро. Такие комиссии были как бы промежуточным звеном между партийным аппаратом и политбюро, поскольку первоначальный проект составлял аппарат, комиссии рассматривали представленные им проекты и через представителей сообщали свою точку зрения в политбюро.

На основе опыта СССР можно утверждать, что в результате победы социалистических отношений в обществе происходят изменения. Классовая борьба перестает быть первоочередной проблемой — уже некого подавлять как класс. Государство диктатуры пролетариата становится всенародным. В связи с этим на передний план выходит необходимость верно определять потребности и интересы всего общества, заботиться о том, чтобы специфические потребности и интересы какой-то его части не удовлетворялись за счет потребностей остальных людей.

Прежде можно было легко определить, что служит интересам социализма: ограничение и ликвидация частной собственности и связанных с ней производственных отношений. Для этого не требовалось особых знаний, достаточно было обладать "классовым чутьем". Каждый мог распознать, какая фабрика еще не национализирована, кто из крестьян еще не вошел в колхоз. Но как распознать, требуют ли интересы общества увеличения производства химической промышленности только на 5 или, скажем, на 15%? Что в интересах рабочего класса: выращивать больше кукурузы или перейти на горох? Что более соответствует развитию социалистического общества — вальс или джаз?

Бессмысленно ставить такие вопросы, а руководствоваться таким подходом к жизни — просто вредно. Что представляет собой при социализме "интерес всего общества" можно определить, только соблюдая два обязательных условия: во-первых, решение любой проблемы должно опираться на профессиональные знания, а, во-вторых, общественность сама должна иметь право заявить о своих интересах. Именно эти два принципа должны быть внедрены в нашу политическую систему.

И в экономике, и в культуре мы должны предоставить специалистам возможность высказать свое мнение. Без образования, без профессиональной подготовки невозможно определить, каковы "интересы рабочего класса" в каждом конкретном деле. Необходимо также, чтобы все действующие в нашей политической системе организации могли высказать свою точку зрения относительно политики государства. Профсоюзы, молодежные и общественные организации должны откровенно заявлять, чего они хотят. Если интересы всего общества определены верно, при их реализации будут удовлетворены и частные интересы. Это относится и к местным организациям, а потому должна воз-

расти роль народных комитетов и других органов местного самоуправления.

Для правильного определения интересов общества необходимо предоставить индивидуумам право защищать свои интересы и взгляды. В этом отношении важную роль должно сыграть право. Право же не следует понимать как комплекс произвольных указаний. Право должно гарантировать, что представители частных интересов (группы и индивидуумы) могут их открыто сформулировать. Аннулировать такую возможность означает поспраие права. Во многих случаях высказывания будут ошибочными, но и ошибающиеся должны иметь возможность высказаться. Разумеется, не следует разрешать выступлений, направленных против общественных интересов, но это должно быть оговорено законом. Только оговоренные законом запреты могут ограничивать права людей.

Коммунистическая партия является ведущей силой общества. Но руководящая роль партии не дана раз и навсегда ее прошлыми заслугами в классовой борьбе. Руководящую роль в новых условиях партия должна снова и снова завоевывать. Если партия допускает ошибки, если она не защищает интересы целого, она ослабляет тем самым свою ведущую позицию. Партия должна создать условия, в которых могут быть заявлены интересы, не являющиеся с точки зрения партии интересами всего общества. Но следует разъяснять, почему они противоречат общественным интересам. Подготавливать партийные решения должны широко образованные коммунисты. Директивными методами долго руководить нельзя. Кроме того, партия не должна подменять государственные и общественные организации. Такие организации должны быть совершенно независимыми. Роль партии — это роль дирижера, а дирижер не может заменить собой оркестр.

Я вовсе не думал, что эти мои тезисы — научные открытия. Их можно критиковать, над ними можно посмеиваться как с точки зрения последовательных демократических теорий, так и с точки зрения теории Маркса. Но я не считал это особенно важным с политической точки зрения тогда, и не считаю это важным сейчас. Существенным, на мой взгляд, было, что в системе тоталитарной диктатуры, правящей в Чехословакии в 60-е годы, те, на кого эта диктатура опиралась, — тысячи функционеров компартии — постепенно начинают относиться к этой диктатуре кри-

тически. Какой бы непоследовательной ни была их критика, это все же была критика. И именно потому, что эта критика была сшита по мерке людей, которые служили этой диктатуре долгие годы, она имела практическое воздействие. Постепенно становилось само собой разумеющимся, что по-прежнему действовать невозможно, что в интересах самого социализма и коммунизма необходимо провести реформу. Эту мысль стали со временем разделять и представители власти.

Сейчас я был бы не способен принести в жертву несколько лет жизни, чтобы разъяснить это аппаратчикам Гусака, да и вряд ли это возможно, поскольку преобладающее большинство их не печется ни о социализме, ни об общественных интересах, ни даже о роли коммунистической партии с точки зрения ее "исторической миссии". Они думают о собственной выгоде и власти — и только. Возможно, со временем и они вынуждены будут провести реформу системы, однако их реформа будет обусловлена стремлением спасти тонущий корабль и собственное положение. Но тогда, в 1968 г., я старался внедрять эти идеи потому, что они были важны для десятков тысяч коммунистов, пытавшихся найти выход не только для себя, но и для общества. Доказательством этому служат 1968 г. и 1970 г., — когда из партии исключили более 500 тысяч коммунистов, не желавших отказаться от своих реформистских взглядов.

Несколько месяцев Пражской весны 1968 г. оказались возможными потому, что к этому времени значительная часть функционеров и членов КПЧ разделяла мои убеждения в необходимости реформы, была подготовлена к постепенной демократизации политической системы. Политический успех Пражской весны был обусловлен именно тем, что стремления "сверху" и "снизу" слились в одно русло.

* * *

Коммунисты-реформисты, действовавшие в рамках структур власти, не могли, разумеется, сделать ничего без ведома партийного руководства во главе с Новотным. Когда о временах Новотного говорят как о темном царстве сталинизма, в которое в январе 1968 г. проник луч света политики Дубчека, действительность, мягко говоря, искажается. И уж совершенный абсурд,

когда зру Новотного рисует в черных красках гусаковское руководство КПЧ, внедрившее методы, которые в последние годы правления Новотного ему даже в голову не приходили, не говоря уже об их практическом применении. И на Западе многие публицисты оценивают положение в странах Восточной Европы весьма упрощенно: современную ситуацию в Венгрии, например, они считают квинтэссенцией либерализма, а характеризуя Чехословакию времен Новотного называют весь период его правления царством тьмы. В действительности же самые либеральные проявления "кадаризации" Венгрии конца 70-х годов аналогичны некоторым чертам режима Новотного в 1964-1967 гг.

Экономическая реформа, которую называли "новой системой управления экономикой" и которая связана прежде всего с Ота Шиком, не была в те годы исподтишка проводимым экспериментом еретиков. Эта реформа была утверждена партийным руководством и проводилась на практике как официальная политика компартии и государства. Трудности заключались в непоследовательном проведении экономической реформы, поскольку руководство опасалось, что она может привести к политическим осложнениям и партии трудно будет контролировать ситуацию.

Только после прихода к власти Гусака руководство КПЧ осудило экономическую реформу как "шиковский ревизионизм", запретив даже обсуждать этот вопрос открыто. И все же, по причинам чисто прагматическим, некоторые элементы этой реформы сохранились в чехословацкой экономике до сих пор.

Коммунистическая интеллигенция с 1956 г. подвергалась периодическим преследованиям. Проводились различные кампании, в результате которых многие лишались возможности печататься или работать в научных институтах или в области искусства. Но такие меры, как правило, носили временный характер; немного спустя подвергшиеся преследованиям снова возвращались к активной деятельности, причем в период даже самых жестоких преследований специалисты, за редким исключением, не лишались возможности заниматься умственным трудом. Выходила "Литературная газета" ("Литерарни новины") — правда, под надзором цензуры; выходили и другие журналы, явно критические по отношению к режиму и сочувствующие реформе си-

стемы. Сотни писателей, работников искусства, историков, социологов, экономистов, юристов и философов, которые после 1970 г. стали истопниками, поденными рабочими, уборщиками и т.п., при Новотном работали в научных институтах, в искусстве и с самых разных аспектов критически анализировали режим.

Но можно ли назвать Антонина Новотного коммунистом-реформистом? По-моему, нет. Он действительно был атавизмом сталинских времен. Роль его, однако, нельзя определить однозначно, она была противоречивой и сложной. Это же можно сказать и о других членах партийного руководства того времени, о сотрудниках партийного и государственного аппарата. После 1968 г. политику реформ стали отождествлять с именами лишь нескольких членов руководства того периода, главным образом с Дубчеком и Черником. Тот же 1968 г. убрал с поверхности имена других, например, секретарей ЦК КПЧ Й. Гендриха и В. Коуцкого. Но я убежден, что именно они способствовали в 60-е годы развитию реформистских идей в КПЧ в гораздо большей степени, чем многие из тех, кого эта реформа вынесла на поверхность, кого наградила высокими должностями или за кем их сохранила. Дубчековская реформа 1968 г., как, впрочем, и каждый политический переворот, вознаграждала не только за заслуги. Большую роль играли личные симпатии и антипатии, за что впоследствии пришлось горько поплатиться.

Антонин Новотный принадлежал к "старой гвардии" коммунистов. Он был членом партии с момента ее основания — с 1921 г. До войны он был партийным функционером областного масштаба, во время войны попал в страшнейший нацистский лагерь Маутхаузен. По свидетельствам его сокамерников, Новотный зарекался, что после войны ничего общего с политикой иметь не будет, станет примерным семьянином, будет заботиться о доме и саде. Этих обязательств он не сдержал, став в мае 1945 г. первым секретарем Пражского обкома партии.

Я помню, каким был Новотный в те годы.

Сотрудники считали его скорее администратором, чем политиком. Во главе областной партийной организации стоял тогда Й. Кроснарж, и даже заместители Новотного, в том числе и Франтишек Кригель, были на голову выше его по политическому кругозору и административным способностям. Многие факты

свидетельствовали о том, что Новотный — человек далеко не проницательного ума.

Выдвижение и начало его работы в секретариате ЦК КПЧ было результатом активности при "разоблачении врагов внутри партии" и при подготовке процесса генерального секретаря ЦК КПЧ Рудольфа Сланского (1951-1952 гг.).

Новотный, вероятно, уже родился без некоторых обычных для нормальных людей черт. Во время моей короткой службы в Генеральной прокуратуре я видел документы, свидетельствовавшие о невероятном: после казни партийных деятелей, осужденных в процессе Сланского и группы, их имущество за гроши было распродано преемникам. Семья Новотных (жена Новотного лично) купила постельное белье и китайский фарфоровый сервиз, принадлежавшие Владо Клементису!

В Европе XX века трудно представить себе, что первый секретарь правящей партии и глава государства может спать на простынях человека, которого он помог возвести на эшафот. И все же так было, причем не по недоразумению. Семья Новотных прекрасно знала, откуда вещи, которыми они пользуются. В 1956 г. Лида Клементис сказала мне, что этот китайский фарфор очень нравился Божене Новотной, когда она с мужем бывала у Клементиса, тогда министра иностранных дел, в гостях. А потом, после казни Клементиса, она его купила.

Я пишу об этом 20 лет спустя не ради того, чтобы вынести этот грязный сор из избы, — не для того, чтобы опозорить Новотного. Мне просто думается, что этот факт более наглядно, чем различные политические анализы, свидетельствует о том, ощущал ли Новотный моральную ответственность за политические процессы 50-х годов и каким был в действительности человек, который, сам будучи первым секретарем партии, выносил приговоры осужденным на последующих процессах, в том числе и один смертный приговор.

Тогда же, в 1954 г., племянница Новотного, учившаяся в Москве, рассказывала в узком кругу, что Новотный во время встречи с ее отцом сжимал голову руками, плакал и жаловался:

— Я не готов для этой должности, я не могу выполнять эту функцию, у меня для этого нет способностей.

Я верю, что он так и думал. Он боялся нанести вред социализму, рабочему классу, занимая пост, для которого у него нет со-

ответствующих данных. Покупка же простынь Клементиса с интересами рабочего класса, по мнению Новотного, ничего общего не имела, так что из-за этого он и не переживал.

Новотный был бюрократом, скатившимся к преступлениям, но в прошлом он был все же рабочим деятелем. Он представлял собой своеобразный сплав: человека, убежденного, что коммунистическая доктрина служит рабочему классу, и в то же время политика, склонного к интригам, и на практике эта вторая черта все больше преобладала.

Достигнув вершин власти, Новотный велел построить возле замка Орлик, на озере неподалеку от Влтавы, "дом отдыха" для высоких чиновников. На этом участке, окруженном забором, под охраной полиции, стоят современные особняки, оборудованные по-западному. Там отдыхают члены политбюро, советский посол и другие шишки. Отдельно от этих особняков возвышается дом, который тогда в аппарате называли "Орлиное гнездо" — в нем отдыхал сам Новотный. Этот дом, однако, во все не был копией виллы западного капиталиста — это была имитация деревенского дома, сельской избы. Перед избой стояла огромная пивоваренная бочка, внутри бочки — стол и стулья. По воскресеньям за этим столом Новотный и его приближенные (не по должностям, а по личным отношениям) проводили время в соответствии с их вкусом — играли в карты. Это тоже было проявлением снобизма, но не представителя элиты, а бывшего рабочего.

В последние годы своего правления Новотный не только не сомневался в том, что он способен быть первым секретарем, но и верил, что выполняет свои обязанности великолепно. Как-то в частной беседе он сформулировал свое политическое кредо так:

Не обязательно, чтобы люди были с тобой согласны, но они должны тебя любить и, что самое главное, уважать. В партии же главное — не допустить оппозиции слева! Справа не так важно, но ни в коем случае нельзя допустить формирование группы слева!

Эта идея довольно примитивна, но в системе власти "реального социализма" она не так уж глупа. Это выражение практического опыта партийной бюрократии стран советского блока. Партийная бюрократия хорошо понимает, что она может править

недемократически, совершенно не учитывая мнение населения, но все же существует определенная граница, перейдя которую можно потерять послушание населения — либо из-за того, что не удастся обеспечить его самые элементарные потребности, либо потому, что власть покажется слабой, не способной защитить самое себя. Идеологическое кредо этой бюрократии — не допустить оппозицию именно слева, то есть постоянно быть в глазах людей единственным проводником левой политики. Это, собственно, приспособленная к новым временам старая идея Макиавелли: государства сохраняются посредством сохранения идеи своего возникновения.

Новотный, без сомнения, был политик-прагматик. Он вовсе не стремился выступать в роли создателя какой-то теории или идеологии. И все же партийная идеология в какой-то степени была критерием правильности практической политики. Другое дело, что в его сознании составляло комплекс "закономерностей и положений" этой идеологии и теории — им, наверняка, был набор вульгарных догм из брошюр. Но все-таки важно, что эта примитивная, в принципе авторитарная личность все же не считала последней инстанцией самое себя, а признавала наличие высших критериев, вытекающих из определенных идей и принципов, а не из самого факта власти.

Новотный принадлежал к тому типу старых коммунистических деятелей, для которых партийная идеология была личностным переживанием: их жизнь, формирование их личности, все, что они больше всего ценили в своей жизни, все это было следствием признания партийной идеологии (как бы упрощенно она ни формулировалась!) высшей ценностью. Я знаю многих, для кого именно по этой причине партия — это все. Такие и после исключения их из партии заявляют: таким, каков я есть, меня сделала партия — и они говорят правду.

Для такого типа людей идеология может стать наивысшим критерием, но становится она им лишь в виде официальной идеологии партии, когда проникнет в партийные директивы и указания. Во имя партийной идеологии люди такого типа могут пойти и на преступление, даже не считая его проступком, поскольку кроме системы ценностей, одобренных данной идеологией, никаких других ценностей они не признают. Когда меняется официальная идеология, они готовы также действовать в соответствии

с ней, и искренне поражаются, когда им напоминают их прошлые поступки. Так, например, Ладислав Копршива, старый коммунистический деятель (по-моему, такого же типа, что и Новотный), будучи министром внутренних дел, активно готовил инсценированные процессы начала 50-х годов. В 1963 г., выступая перед партийной комиссией, он заявил:

Да, аресты эти были незаконными, но никто не обращал на это внимания, поскольку указание о соблюдении законов было дано лишь в последующие годы.

Но если человек такого типа стоит на вершине иерархической лестницы и сам решает, какой должна быть официальная партийная идеология, то вряд ли он будет склонен допустить в идеологию нечто, осуждающее его собственное прошлое. И все же при чрезвычайных обстоятельствах может произойти и такое. На Новотного повлияли несколько таких чрезвычайных обстоятельств.

В Советском Союзе при Хрущеве, то есть в инстанции для Новотного и КПЧ вышестоящей, партийную идеологию наполнило новое, антисталинское содержание. Под этим давлением Новотный-бюрократ изменил прежнюю ориентацию. Кроме того, если в конце 50-х годов позиция Новотного в партийном руководстве не была достаточно сильной, чтобы позволить ему свалить вину за политический террор на других и спокойно остаться на занимаемой должности, то в начале 60-х годов изменилось и это обстоятельство. Двух видных членов прежнего готвальдовского руководства — А. Запотоцкого и В. Копецкого — уже не было в живых. Рудольфа Барака, пытавшегося воспользоваться в своих интересах участием Новотного в политических процессах, Новотный с благословения Хрущева посадил в тюрьму. Вместо них в политбюро ЦК КПЧ вошли его люди — Й. Гендрих, Д. Кольдер и М. Худик, в секретариате у Новотного был приверженец В. Коуцкий, оказывал ему поддержку и министр внутренних дел Л. Штроугал. Таким образом, в руководстве КПЧ положение изменилось в ущерб тем, кто был лично ответствен за политические процессы 50-х годов: именно поэтому Новотный мог позволить себе подвергнуть критике дела тех лет и реабилитировать большинство жертв политических процессов, рассчитывая при этом, что его личной позиции это не только не

нанесет ущерб, а напротив, лишь усилит ее. В 1963 г. эти планы были реализованы. Новотный свалил вину на трех членов руководства, занимавших высокие посты и во времена Готвальда — на В. Широкого, К. Бацилека и Б. Келлера. Вместо них в политбюро вошли А. Дубчек, Й. Ленарт и М. Вацулик.

Только после этого, в 1963 г., соотношение сил в КПЧ стало похожим на соотношение сил в КПСС, достигнутое Хрущевым после устранения "антипартийной группы" Молотова, Маленкова, Булганина и Кагановича, то есть большинства бывшего сталинского политбюро.

Как это ни парадоксально, власть Новотного достигла пика в связи с ликвидацией готвальдовско-сталинской группы в руководстве КПЧ. Только после этого Новотный перестал опасаться, что, проводя хрущевскую линию, он ослабит тем самым собственную позицию, только после этого избавился от ночных кошмаров, преследовавших его на протяжении целых семи лет (с 1956 г.), — кошмаров ответственности за политические процессы, которая ставила под угрозу его положение. Теперь же в партийном руководстве были не те, кто привели его на трон, а те, кого поднял до вершин власти он сам.

Этот незаметно сформировавшийся новый состав руководства КПЧ предпринял важнейший политический шаг: в ответ на экономический кризис, разразившийся в стране после провала третьей пятилетки уже в конце ее первого года (1963 г.), руководство не только не вернулось к старым дискредитированным методам управления, но, напротив, — решило пойти по пути экономических реформ и внедрить "новую систему управления народным хозяйством". Суть этой новой линии заключалась в постепенной ликвидации бюрократической централизации и высвобождении самостоятельной экономической активности государственных предприятий, в учете влияния рынка и в стремлении к более высокой экономической эффективности. Тем самым была нарушена система тоталитарной диктатуры в экономической области, в результате чего открывались довольно реальные возможности постепенной реформы системы и в других областях общественной жизни. Кадровые изменения в партийных верхах тоже были в пользу тех, кто поддерживал экономические реформы: в политбюро вошел О. Черник, а секретарем ЦК по вопросам сельского хозяйства стал Л. Штроугал.

Таким образом, уже за несколько лет до 1968 г. новотновское руководство КПЧ состояло из людей, которые в преобладающем большинстве склонялись к тому, что дальнейшее развитие Чехословакии требует реформ и перемен. То же следует отнести и ко многим сотрудникам партийного аппарата, которые в те годы этому руководству служили. Сама идея необходимости реформ, убежденность в необходимости перемен старой системы управления обществом определяли атмосферу, господствовавшую в те годы в аппаратах власти. Каковы были представления о характере перемен у отдельных членов руководства и работников аппарата — это вопрос другой. Преобладали, разумеется, попытки ограничить реформы лишь такими мерами, которые бы не поставили под угрозу их власть — руководства, аппарата и большинства конкретных людей, которые по этим вопросам принимали решения. В этом и заключалось главное препятствие, это-то и привело к положению, когда реформы больше обсуждались (желательно за закрытыми дверями), чем проводились. Целью таких обсуждений чаще всего было собрать аргументы, свидетельствующие, что то или иное мероприятие реформистов провести невозможно (либо в данный момент, либо в предложенном виде). Но несмотря на все это, ни партийное руководство, ни партийный аппарат не сомневались, что через некоторое время и, возможно, в несколько ином виде реформы, включая политическую систему, нужно будет провести.

Я думаю, что в этом был убежден и сам Новотный. Когда он убедился, что ему удалось не только сохранить, но и укрепить свою позицию на хрущевской идеологической и политической базе, он искренне начал эту идеологию исповедовать. Исходя из этого Новотный установил критерий, которым он измерял успехи своих начинаний. Однако переход Новотного в хрущевскую веру произошел слишком поздно, поскольку в конце 1964 г. оказался сброшенным сам Хрущев.

Как известно, Новотный и его политбюро решились тогда на нечто невиданное — они выступили против методов, которыми Брежнев провел свой антихрущевский путч. Этот протест до сих пор часто оценивают как комический эпизод. Я же считаю, что этот "бунт" вассала, которым по отношению к Москве Новотный был всегда, доказывает, что принятие им в конце 1963 г. хрущевской линии было для него столь значительным шагом, что он решился выступить, когда казалось, что новый политиче-

ский курс Москвы поставит под угрозу его собственные начинания.

Таким образом, с 1964 г. создалось совершенно парадоксальное положение: при Новотном, которого все считали управляемой марионеткой Москвы, в чехословацком обществе, в КПЧ и в правительственных органах происходили открытые критические, антисталинские, реформистские выступления, в то время как в Москве брежневская клика подавляла десталинизацию и даже восстаналивала некоторые элементы сталинской системы. В результате внешне незаметные противоречия между Новотным и московским руководством стали углубляться.

Новотный рассматривал неприязнь к нему Брежнева как угрозу своему положению. Есть основания полагать, что в 1967 г. он пытался заручиться поддержкой других влиятельных в Москве лиц: Новотный сблизился с группой маршалов, поддерживавших командующего войсками стран Варшавского договора Якубовского. Эта группа была ближе к Шелесту, чем к Брежневу. В 1967 г. позиция самого Брежнева тоже не отличалась устойчивостью, так что некоторые вассалы из стран Восточной Европы ставили на другие группировки в советской иерархии. В этот момент стремление сохранить власть начало перевешивать приверженность Новотного хрущевским идеям. Новотный снова старается "закрутить гайки" внутри страны. Он предпринял для этого ряд мер против писателей и других интеллектуалов, разделявших идеи коммунистов-реформистов, против своих критиков в самом Центральном Комитете, используя при этом даже полицейский террор, и т.д.

В этот период в армии и органах госбезопасности возросло влияние групп, ориентированных на московских "ястребов". В Чехословакии эти силы возглавлял Мирослав Мамула, начальник отдела ЦК по вопросам обороны и госбезопасности. Брежнев наблюдал за событиями в Чехословакии с растущей неприязнью, и когда в декабре 1967 г. Новотный пригласил его в Прагу, надеясь на его поддержку против оппозиции в ЦК КПЧ, Брежнев произнес ставшие позже известными слова: „Это ваше дело”, — которые, собственно, дали зеленый свет антиновотновской оппозиции. Трудно предполагать, что Брежнев поддержал чехословацкую оппозицию ради того, чтобы вскоре могла настать Пражская весна, которую он же и задушил танками. Остается

единственное объяснение: Брежнев хотел смены Новотного, поскольку Новотный перестал быть послушным и удобным орудием политики самого Брежнева.*

Новотный был человеком необразованным. Так, иностранные слова в его докладах всегда печатали в фонетической транскрипции. Этот недостаток, однако, компенсировали знания, накопленные им на занимаемых должностях. У Новотного развился типичный для малообразованных людей комплекс — он мстил каждому, кто обращал внимание на его безграмотность. Но этот его комплекс имел и положительную сторону: Новотный с уважением относился к образованию, будучи убежден, что для коммунизма знания и науки необходимы. Он был груб с интеллигентами и преследовал их, пользуясь своим служебным положением, и все-таки чувствовал к ним почтение. Он любил общаться с ведущими представителями интеллигенции, организовывать встречи с писателями и художниками. И не случайно они проходили в замке Ланы, где до второй мировой войны встречался с интеллигенцией Томаш Масарик.

Новотный много раз выступал против интеллигенции, поддерживавшей коммунистов-реформистов, в особенности против отдельных ее представителей, отказавшихся подчиниться его директивам. Но он пытался склонить их на свою сторону, на сторону партии, а не подавлял их и не исключал из политической жизни страны вообще. Новотный стремился к тому, чтобы интеллигенция была как бы украшением его власти и в то же время "орудием строительства коммунизма". В зависимости от его оценки, удастся ли ему это или же интеллигенты сведут его усилия на нет — колебалась политика Новотного по отношению

* Партийные руководители ездят обычно в сопровождении своих помощников. Из разговоров приближенных Брежнева с помощниками Новотного мне стало известно, что еще до отъезда в Прагу Брежнев спросил у сотрудника аппарата КПСС, ответственного за Чехословакию, кто в Чехословакии человек номер 2? Специалист по Чехословакии ответил тогда, что вопрос этот еще не выяснен. — Хорошо, — ответил на это Брежнев. Он, вероятно, пришел тогда к заключению, что не так уж важно, придет ли на смену Новотному Гендрих, Ленарт, Дубчек или кто-то другой. Эту точку зрения Брежнев не изменил после посещения Праги и личных разговоров с чехословацкими руководителями. Этим и объясняются его слова: "Это ваше дело".

к интеллигенции — от похвал, предоставления привилегий и подкупа к запугиванию и репрессиям.

На практике новотновскую политику по отношению к интеллигенции проводили, конкретизировали и модифицировали два секретаря ЦК КПЧ — Йиржи Гендрих и Владимир Коуцкий. В отличие от Новотного, Гендрих и Коуцкий имели неоконченное высшее образование. Оба были умны. По-моему, из всех членов партийного руководства при Новотном Коуцкий был самым разумным. Когда-то он изучал логику и математику, он был способен абстрактно мыслить, владел несколькими языками и вообще был довольно хорошо информирован о мире и культуре. Оба начинали политическую карьеру как журналисты, Гендрих еще до войны, Коуцкий во время войны в подпольном тогда "Руде право". В 1945 г. обоим было около 30 лет, и в сталинские 50-е годы они еще не принадлежали к высшему партийному руководству. Влияние на политику партии они начали оказывать после 1956 г., и свое политическое будущее связывали с политической и идеологической линией Хрущева.

Гендрих и Коуцкий принадлежали к людям, которые в 60-е годы формировали новотновскую политику — со всеми ее противоречиями, но именно их влияние определило, что она выкристаллизовалась как политика хрущевского направления. Разумеется, они были "людьми Новотного": Новотный назначил их на соответствующие должности, он ввел их в высшую партийную бюрократию. Определенные перспективы были открыты для них и после падения Новотного. Более того, уход Новотного мог принести им пользу, но только при условии, если и после Новотного сохранится преемственность политики КПЧ.

Идеология реформистского коммунизма развивалась в КПЧ в 60-е годы не только с их ведома, но и при их поддержке. Не защити Гендрих Р. Рихту, тот никогда не смог бы развить в своей исследовательской группе перспективу научно-технической революции и повлиять в этом направлении на официальную идеологию партии. Без поддержки Гендриха и Коуцкого я не мог бы распространять свою концепцию реформы политической системы, и вообще не была бы возможна работа политологической группы, которая подготовила в 1967 г. общую концепцию этой реформы.

Идеи, направлявшие деятельность этих групп, аналогичны вошедшим весной 1968 г. в программу КПЧ, так что нужно при-

знать, что эта программа не могла бы возникнуть, если бы Гендрих и Коуцкий еще в годы правления Новотного не позволили сформировать соответствующие коллективы внутри КПЧ и объединить их на этой идеологической платформе.

Почему же тогда Пражская весна смела со сцены Гендриха и Коуцкого, оставив на постах, например, Кольдера и Штроугала, которые во времена Новотного тоже были секретарями ЦК, или Ленарта, который при Новотном был председателем правительства? Почему Пражская весна возвела Дубчека и Черника, которые были при Новотном членами политбюро, на пьедестал национальных героев? Ответ, я думаю, весьма прост. Внутривластный переворот, завершившийся падением Новотного, на первом своем этапе проходил так, как это обычно бывает в системе тоталитарной диктатуры и кулуарной политики: за закрытыми дверями секретариатов как борьба партийной бюрократии за власть. Как все подобного рода перевороты, он должен принести в жертву тех, против кого была настроена общественность, чтобы спасти тех, которых общественность просто мало знала. Гендрих и Коуцкий на протяжении многих лет работали в области официальной партийной идеологии: непопулярные меры против печатных органов, против писателей и работников культуры вообще, всем известные случаи подавления критики были связаны с их именами. Было очевидно, что новое руководство не получит поддержку оппозиционно настроенной партийной интеллигенции, в том числе журналистов, если не устранил этих скомпрометировавших себя политиков. Кроме того, падение Гендриха и Коуцкого отвлекало внимание от изучения политического профиля некоторых других деятелей и их карьеры — подъем В. Биляка, А. Индры и М. Якеша не вызвали сопротивления тех, кто считал своей победой падение Гендриха и Коуцкого.

За четыре года работы в юридической комиссии ЦК КПЧ я узнал Коуцкого довольно хорошо. Помню, что в некоторых случаях было совершенно очевидно, что он действует наперекор своим взглядам и совести. Этот человек, будучи в полном восторге от творчества Вацлава Хавела (я помню, как он хвалил одну из его пьес), публично громил целый ряд литературных произведений и фильмов ради укрепления официальной идеологии. Более того, перед вернисажами некоторых художников он

сам снимал "идеологически невыдержанные" картины. Но стены его квартиры были украшены полотнами не социалистических реалистов, а самых современных художников.

В партийном руководстве Чехословакии Коуцкий был единственным человеком, уже в середине 60-х годов возлагавшим надежды на развитие коммунистической партии Италии, поскольку, опираясь на течения, которые сейчас принято называть еврокоммунизмом, сможет добиться успеха и реформистское направление в Чехословакии. Идею взаимной поддержки коммунистических партий европейских государств, — правящих и не находящихся у власти, — он увязывал с расширением возможностей реформы КПЧ. На публике же Коуцкий оставался знаменосцем промосковского "пролетарского интернационализма".

Характер и совесть Коуцкий сознательно принес в жертву политическому расчету. В течение многих лет он, будучи только секретарем ЦК, стремился стать членом политбюро. Чтобы подняться на эту последнюю ступень партийной лестницы, Коуцкий был мавром Новотного, он выполнял "грязную работу" в культуре, науке, среди интеллигенции. Политика в такой степени была для него кулуарной политикой аппарата власти, что он перестал различать черту, перейдя которую уже нельзя исправить совершенное ради карьеры. Это та черта, перейдя которую, человек уже готов на все, а потому общественности становится безразлично, что он думает на самом деле.

Действовавших в политике в соответствии с собственной совестью Коуцкий рассматривал как экстравертов, себя же считал интровертом. В действительности это было не так, он продолжал оставаться замкнутым в себе, но стимулы, определявшие его действия, всегда были внешними, то есть характерными для экстраверта.

В апреле 1968 г., еще до заседания Центрального Комитета партии, на котором его отозвали с должности секретаря, Коуцкий говорил со мной о том, следует ли ему добровольно оставить пост. Было ясно, что он совершенно не понимает положения: почему именно сейчас, когда речь идет о реформе, которую он поддерживал и готовил, он должен уйти? Почему именно сейчас, когда международный аспект политики КПЧ приобретает особо важное значение, должен уйти он, человек опытный и имевший связи именно на этом участке партийной работы? О

значении международного контекста новой дубчеховской политики Коуцкий говорил весьма проникновенно, он видел подводные камни яснее, чем кто-либо другой, включая самого Дубчека. Он совершенно искренне недоумевал, почему он не может быть секретарем по международным вопросам только потому, что к нему отрицательно относятся коммунисты в исследовательских институтах, писатели, работники искусства и журналисты, потому что он не популярен среди некоторых словаков, поскольку в прошлом проводил политику Новотного и в отношении Словакии.

Я советовал ему отказаться от должности, но испытывал при этом противоречивые чувства. Я знал, что Коуцкий вовсе не убежденный сталинист и что он действительно мог бы сделать для реформы много хорошего. Но я также знал, что удержаться на должности он не может. Коуцкий подал в отставку и был отодвинут на задний план — его назначили послом в Москву. В 1968 г. это означало уход из политической жизни, поскольку связь между Прагой и Москвой осуществлялась не через посольство. Кроме того, Коуцкий не пользовался доверием ни той, ни другой стороны.

Но и после 1968 г. Коуцкий ничего не понял. В январе 1969 г. он был первым, кто предложил аннулировать постановление политбюро ЦК КПЧ от 21 августа 1968 г., в котором военная интервенция СССР осуждалась как акт, противоречащий международному праву. Я совершенно убежден, что он не считал интервенцию законной, но полагал, что, сделав такое заявление, он обеспечит свое возвращение на политическую арену. Он и тогда не осознал, что попраиением совести не заручится поддержкой тех, кто тоже попрал ее или был вообще без совести, но уже получил власть — для них он мог бы оказаться лишь еще одним конкурентом в борьбе за ступеньки на служебной лестнице.

Гендрих, как и Коуцкий, тоже стал жертвой своих политических расчетов. Гендрих был художником политических компромиссов, но только в кулуарах власть имущих, а не в открытой политике. В партийном аппарате о нем говорили как о человеке, который в состоянии "превратить ежика в шарик", который умеет сгладить любые противоречия. На публике, в том числе и партийной, Гендрих выступал как главная опора и представитель новотновской линии в КПЧ. Острие колючки, на ко-

торой он сам повис после января 1968 г., Гендрих не смог при-
тупить. Но свое положение он осознал лучше, чем Коуцкий, по-
своему с ним смирился и вышел на пенсию. Гендрих не пред-
принимал попыток изменить свое положение и после советской
оккупации Чехословакии.

Сейчас, при Гусаке, его иногда встречают старые знакомые,
коммунисты-реформисты, а ныне мойщики окон, поденные ра-
бочие, инвалиды-пенсионеры. Гендрих останавливается, погово-
рит, не забывая закончить беседу каким-нибудь язвительным
замечанием, вроде такого:

— Так что, все еще ругаете 60-е годы?..

После публикации Хартии 77 один из подписавших документ
тоже встретил Гендриха в самый разгар кампании против харти-
стов. Оценка Гендрихом событий была очень проста:

— Вам все еще мало? Дон Кихоты, Дон Кихоты!

Действительность разнообразней и парадоксальней, чем она
представляется задним числом по упрощенным схемам: рефор-
мистская ориентация в КПЧ 60-х годов не была единым, моно-
литным течением, представители, сторонники и защитники кото-
рого действовали сплоченным фронтом против Новотного и его
соратников. Реформисты были хозяевами положения лишь на
половину.

В Пражскую весну я был среди власть имущих. Я не только
близко и изнутри узнал эту среду, но и старался ее преобразо-
вать. Этот мир тоже был составной частью Пражской весны. Но
в действительности он выглядел менее возвышенно, чем это
могло казаться по газетам и телевидению.

ПРАЖСКАЯ ВЕСНА СРЕДИ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ

Журналисты, которые в 1968 г. торопились с оценкой событий, стараясь успеть к завтрашнему номеру газеты, разделили коммунистов на прогрессивных, центристов и консерваторов.

Меня обычно считали центристом, и я не очень-то возражал, понимая, что их к этому побуждало: я защищал право государственной власти ограничивать свободу печати в тех случаях, когда такое вмешательство было в интересах государственной политики, с тем, однако, что такое ограничение должно быть оговорено законом и осуществлено судом. Весной 1968 г. я выступал против формирования новых политических партий. Я выступал за то, чтобы как можно быстрее был созван партийный съезд и проведены выборы партийных органов, хотя многим казалось, что созыв съезда следует отложить на более позднее время, т.к. он может преждевременно приостановить бурное развитие демократического движения в стране.

Позже, когда советские танки прошли по политической арене Чехословакии и когда многие непоколебимые скалы оказались всего лишь засохшей кочкой, я горько смеялся, наблюдая поведение некоторых еще недавно всеми признанных "прогрессивных" — Ольдржиха Черника, Честмира Цисаржа, Густава Гусака, Радована Рихты или Йиржи Шотолы, не говоря уже о многих "прогрессивных" словаках.

И все же свои воспоминания о 1968 г. я начинаю именно с этой проблемы и, как видите, до сих пор мне горько говорить об этом. Эта горечь обусловлена не только личными мотивами: меня огорчало в прошлом, как огорчает и сейчас, что мало людей понимают политику как искусство возможного, тем более в той обстановке, когда можно было изменить многое, но в то же время никак нельзя было за ночь расчистить накопленное в Авгиевых конюшнях на протяжении долгих лет, и за ночь построить "земной рай". Меня огорчало и огорчает, что столько ин-

теллигентных, честных и самоотверженных людей стараются реализовать в такой обстановке неосуществимое, лишая себя при этом возможности улучшить то, что реально возможно. А после похмелья люди перебирают осколки надежд, горько сожалея, что все могло бы быть иначе, если бы...

И все же с самого начала я откровенно заявляю: теперь, много лет спустя, я вовсе не убежден, что моя тогдашняя позиция привела бы к верному решению всех проблем. Сегодня я вовсе не уверен, что если бы события развивались в соответствии с моими представлениями о реально возможном, удалось бы реализовать все цели, которые я ставил перед собой. Возможно, и этих целей не удалось бы достичь, то есть, возможно, что и в случае моего успеха Чехословакия была бы менее демократическим государством, чем мне казалось возможным тогда. Могло выясниться, что реформистский коммунизм — не самое оптимальное решение. И все же чехи и словаки, вероятно, жили бы в условиях, в которых оптимального решения — пусть в далекой перспективе — им было бы легче искать, чем сейчас. А жизнь этих людей — нормальная, повседневная жизнь, без решения вопросов мирового значения, больше соответствовала бы условиям жизни Европы XX века, чем в гусаковской Чехословакии.

Возможно, я ошибаюсь и в этом. Возможно, что реформы даже в том объеме, какой казался мне тогда реальным, были бы достаточным поводом для "братской помощи" со стороны Москвы. В таком случае положение оказалось бы еще худшим, чем сейчас, поскольку у народа даже не было бы воспоминаний о времени, когда неосуществимое казалось возможным. Но стало бы совершенно очевидно, что Москва подавляет силой не только попытку установления плюралистической демократии, при которой коммунисты подчинялись бы общим законам демократических выборов, но и реформы, после которых коммунисты по-прежнему оставались бы у власти, однако, без навязанного Кремлем режима тоталитарной диктатуры.

Но хватит пророчеств. Вернемся к реальности. Я хотел бы рассказать о 1968 г., как я рассказал о предшествовавших ему годах, — с моей личной позиции. В этой главе, как и в первой, я опишу лишь сегмент общественно-политической жизни страны, останавливаясь только на том, что мне лично кажется наиболее существенным.

Для меня падение А. Новотного было неожиданностью. Я предполагал, что перемены в руководстве наступят, но не думал, что это произойдет до съезда партии, назначенного на 1970 г. Было ясно, что изменения произойдут не на самом съезде, поскольку съезды находящихся у власти коммунистических партий только утверждают уже происшедшие перевороты. Кроме того, новый правитель использует съезд для выборов нового Центрального комитета по своему образу и подобию. С самого начала 1967 г. я планировал работу исследовательской группы Академии наук. Исходя из этого я надеялся выработать к съезду 1970 г. концепции, которыми могло бы воспользоваться новое руководство для демократизации политической системы Чехословакии.

В январе 1968 г. у нашей группы был уже почти годичный опыт исследовательской работы; мы уже имели какое-то представление о проблемах, которые в будущем должны быть решены и теоретически и политически. Нам уже тогда было ясно, что реформа политической системы должна разрушить режим тоталитарной диктатуры, любая другая реформа будет просто несущественной. Я уже тогда знал, какие практические шаги могли бы привести к кардинальной реформе. Единственно возможным, по моему мнению, был такой переход от системы тоталитарной диктатуры к плюралистической демократии, при котором правящая коммунистическая партия не потеряла бы гегемонию до того, как начнут действовать механизмы демократической системы. Осуществить это на практике, однако, было не так просто.

Я знаю, что некоторые такое решение заранее считают невозможным, рассматривая эту проблему как проблему квадратуры круга. Я такую точку зрения не разделял. Я и сейчас не считаю эту проблему неразрешимой.

Если можно было реформировать систему фашистской диктатуры Франко в демократическую и обойтись при этом без народного восстания, то такая возможность существует и при реформе диктаторских систем сталинского типа. Но для этого необходим, как в Испании, целый комплекс благоприятных внутривнутриполитических и международных условий. В 1967 г. в

Чехословакии внутренние условия для подобного эксперимента существовали.

Экономическая реформа, которая в то время осуществлялась в стране, создавала предпосылки для перемен в политической системе. Эти предпосылки касались четырех аспектов: во-первых, экономическая реформа ликвидировала потребность в огромном государственном аппарате, который директивно руководил бы каждым шагом специалистов народного хозяйства. Этот аппарат, за исключением органов, занимавшихся перспективным планированием, можно было постепенно преобразовать в административный аппарат предприятий и главков и отделить его от политических органов общегосударственного масштаба. С этим была тесно связана перспектива отделения правящей партии от директивного руководства экономикой, что, в свою очередь, привело бы к сокращению раздутого партийного аппарата, так как вмешательство в экономику составляло около двух третей партийной деятельности.

В результате таких перемен коммунистическая партия как общественный организм начала бы больше заниматься собственно политической, программной деятельностью. Экономическая реформа, в результате которой социалистические предприятия становились самостоятельными субъектами экономической активности, обязанными уважать законы рынка и заботиться об эффективности производства, требовала, в свою очередь, соответствующих специалистов, квалифицированных кадров и повышения их ответственности. При этом критерии качества специалистов приобретали большее значение, чем критерий их "политической благонадежности", а уже это подрывало фундамент тоталитарной диктатуры. Ведь если бы тоталитарная диктатура потеряла возможность предоставлять привилегии "политически благонадежным", то пошатнулся бы один из столпов, на которых она держится. И, наконец, экономическая реформа требовала определения роли профсоюзов и коллективов работников самостоятельных предприятий в руководстве этими предприятиями, поскольку эти коллективы терпели урон от неэффективного руководства из-за уменьшения их доли прибыли. Коллектив работников должен был получить право участвовать в управлении предприятием.

В экономических реформах предусматривалось развитие рабочего самоуправления в самом широком смысле слова, то есть создание органов самоуправления не только на предприятиях, но и в вышестоящих организациях народного хозяйства.

Что касается общественной структуры, то в эти годы в Чехословакии уже не было ни одного класса или социального слоя, который в силу своего социального положения противостоял бы другому классу или социальной группе, а потому нуждался бы в тоталитарной диктатуре для защиты своих интересов. Даже о бюрократическом аппарате в целом этого уже нельзя было сказать.

Демократическая система сохранила бы бюрократию и, более того, — отказ от критерия "политической благонадежности" лишь улучшил бы положение многих ее представителей. Тоталитарная диктатура предоставляла привилегии лишь политическому аппарату, этот аппарат был силен именно своей властью, а не количеством или своей значимостью для функционирования общества. Благоприятные предпосылки для демократизации создавало в те годы относительное социальное равенство. Большую часть населения составляли поколения, сформировавшиеся в послевоенной Чехословакии. Поколение с опытом жизни до 1948 г. в 60-е годы уже вышло на пенсию. Поэтому конфликты между тогдашними победителями и побежденными были маловероятны и не представляли потенциальной угрозы в случае ликвидации политической диктатуры КПЧ. Но так же маловероятно было участие всех социальных слоев в осуществлении власти. Поэтому от демократизации политической структуры терял лишь узкий слой правящей партийной бюрократии.

Действовали и другие факторы, благоприятные для проведения демократических реформ: тоталитарная диктатура была чужой, извне (из СССР) импортированной системой; отечественная же историческая традиция тяготела к плюралистическому демократическому обществу.

С точки зрения политологии и государственно-правовой науки, тоже были возможности демократических реформ. Действовавшие институциональные и правовые нормы давали возможность осуществить целый ряд мер по созданию правового государства: юридические нормы и конституция были сформу-

лированы столь широко, что могли трактоваться как в пользу тоталитарной диктатуры, так и в пользу правовой демократии. Это вообще присуще правовым и конституционным нормам тоталитарных режимов советского типа, поскольку, в отличие от фашистских диктатур, коммунистические диктатуры выдают себя за демократические системы, формально провозглашая в своих законах целый ряд общих принципов демократического государственного устройства. Собственно, вся система разделения власти и осуществления контроля над ней могла бы на практике развиваться в рамках, определенных конституцией для избираемых представительных, исполнительных и судебных органов. Ведь в соответствии с буквой закона суды — независимы, а все исполнительные органы, включая правительство, подчинены избранному представительным органам парламентского типа. Соблюдая эти формальные постановления на практике и проведя реформу закона о выборах, можно было существенно нарушить систему тоталитарной диктатуры, даже не поднимая вопроса об установлении многопартийной системы.

Такого рода реформы, дополненные созданием системы органов самоуправления социалистических предприятий и в экономической сфере вообще, повышением активности профсоюзов и других общественных организаций, представлялись мне реальным и в то же время действенным решением. Я предполагал, что после того как реформированная политическая система просуществует некоторое время, жизнь сама покажет, как надо действовать дальше. Соображения юридического и политологического характера подтверждали возможность расширения этим путем гражданских и политических прав индивидуумов. Для этого также было достаточно соблюдать на деле уже сформулированные правовые нормы. Необходимо было только изменить практическое толкование законов, которое в конфликтах институтов с гражданами признавало права только за институтами. Нужно было модифицировать некоторые положения закона о свободе слова и передвижения (например, аннулировать некоторые статьи уголовного кодекса, ограничивающие свободу слова и информации, и ввести закон, предоставляющий право на паспорт для поездок за границу и т.п.).

Серьезные политические проблемы возникали при теоретических исследованиях вопросов свободы печати и свободы

собраний. Фундаментальное значение этих свобод в процессе перехода от тоталитарной диктатуры к демократической системе не вызывало сомнения. Проблема, однако, заключалась в том, как осуществить эти свободы на практике в промежуточный период, когда еще не предполагалось обсуждать переход от однопартийной системы к многопартийной. При обсуждении этого аспекта политической реформы возникли две основные проблемы, которые так и не были полностью решены в то время, а именно: проблема однопартийной системы и международных последствий, то есть реакции остальных стран советской сферы влияния на реформу в Чехословакии.

Участники разработки реформ сознавали наличие этих проблем. Они даже обсуждали их, но дебаты велись, в основном, в кулуарах и не протоколировались. В 1967 г. выдвинуть такие проблемы официально как тему исследовательского института, означало бы поставить под угрозу существование всего коллектива вообще.

Какова была моя точка зрения в то время?

Я был коммунистом-реформистом, а не демократом некоммунистического толка. Я этого не скрывал тогда и не вижу необходимости скрывать это сейчас. У меня не было ни политических, ни идеологических оснований стремиться к тому, чтобы КПЧ была отстранена от власти. В то же время, исходя из моей концепции социализма и коммунизма, я считал правильным уничтожить систему тоталитарной диктатуры, при которой единственной политической силой в стране оказывается компартия Чехословакии, и эта партия фактически становится диктатором. Я же стремился к тому, чтобы коммунистическая партия осуществляла свою власть в рамках плюралистической демократии, а не в диктаторской системе.

Я понимал также, что, решая этот вопрос, нельзя обойти проблему появления других политических партий, которые, в соответствии с правилами демократии, то есть на всеобщих выборах, соревновались бы с компартией за участие в управлении страной. Теоретически эта проблема не казалась мне неразрешимой. В рукописи по итогам дискуссий в рабочей группе в 1967 г. я писал:

”По моему мнению, нет такого научного аргумента, который исключал бы для социалистического обществен-

ного строя политическую модель, основанную на системе двух политических партий. Напротив, теоретически такое решение кажется даже оптимальным: оно может гарантировать, что не будет возврата к обществу с единственным субъектом политического руководства, оно включит в политический механизм инструмент, при помощи которого можно будет решить основное противоречие — между гипотетической коммунистической целью и эмпирической реальностью социализма (коммунистическую партию как творца и носителя коммунистической гипотезы корректировала бы партия, деятельность которой основывалась бы на эмпиризме социалистического 'статус кво'). Система таких партий 'уравновешивала' бы политический механизм и, в отличие от многопартийной системы, воспрепятствовала бы возникновению коалиции, которая могла бы нарушить баланс, обеспечив монопольную позицию другого субъекта — коалиции. Кроме того, система двух партий препятствовала бы выходу платформы, на которой принимаются политические решения, за рамки государства (его представительных органов). ...

Считая такое решение возможным для социалистической системы, я все же не могу абстрагироваться от конкретных исторических условий нынешних социалистических государств, в том числе и ЧССР, и считать его реальным в ближайшем будущем". *

Замечу, что эти аргументы вовсе не были связаны с тем, что я сам представлял правящую партию. Отвергнуть их без соответствующего обоснования не мог бы даже политолог или политик, не разделяющий коммунистических убеждений.

Я полагал, что вопрос о другой политической партии, которая конкурировала бы на выборах с компартией Чехословакии, нельзя ставить, пока не осуществились демократические перемены в политической системе (те перемены, о которых я говорил выше) — это означало бы поставить под угрозу их реализацию или даже воспрепятствовать им, поскольку обладающая мо-

* Работа, которую я цитирую, не была опубликована в ЧССР. См. З. Млинарж, Чехословацкая попытка реформы. 1968 г. (Zd. Mlynář, Československý pokus o reformu. 1968, Index, Kdln 1975, pp. 68-69).

нополной властью компартия, десятки тысяч ее активистов сосредоточатся не на проведении реформы, а на защите собственных позиций: опасаясь поражения на выборах, партия бросит все силы на защиту своей диктатуры.

Я считал также, что главное — внедрить новые формы, в которых общество могло бы оказывать влияние на принятие политических решений; формы, которых политическая партия обеспечить не может. В странах развитой многопартийной демократии политические партии не играют существенной роли в области действенного общественного контроля — как в вопросах политических, так и связанных с решением проблем, требующих профессиональной подготовки. И в таких государствах речь, собственно говоря, идет о том, как будет действовать политическая партия во время своего правления, какие мероприятия она осуществит, как будут функционировать в повседневной экономической и политической жизни выборные государственные органы и различные формы самоуправления, как будут обеспечены в данном государстве основные права граждан — свобода слова, печати и др.

Я считал самым важным, чтобы и в социалистическом государстве укоренились такие нормы общежития, которые обеспечивали бы осуществление главных принципов — главных после ликвидации частной собственности, а именно: чтобы профсоюзы и другие организации, защищающие интересы той или иной группы населения, стали реальной силой наряду с органами самоуправления на предприятиях и в других областях общественной жизни, чтобы они влияли на принятие государственных и политических решений. Я считал, что выборные органы социалистического государства должны отличаться от буржуазно-демократического парламента также тем, что депутаты в социалистическом государстве будут представлять не только политические партии, но и другие организации — главным образом органы самоуправления; более того, в парламенте могла бы быть даже особая палата только из депутатов органов самоуправления.

Такие перемены в рамках политической реформы представлялись мне не только более важными, но и более реальными, чем организация демократических выборов, после которых к власти пришла бы другая политическая партия, чтобы только потом приступить к демократизации системы. Я уже говорил выше, что

можно было склонить партию к разрабатываемой моим коллективом реформе, поскольку многие чехословацкие коммунисты ясно отдавали себе отчет, что диктаторская система правления КПЧ переживает глубокий кризис. Всегда действующий в политике инстинкт самосохранения мог в те годы направить чехословацких коммунистов именно по этому пути, который в конечном счете привел бы к трансформации не только системы, но и самой компартии — что означало бы конец диктатуры. А когда механизм иной, демократической власти, уже стабилизировался бы и стал функционировать, можно было бы поставить на повестку дня вопрос о переходе к многопартийной системе. Только таким мог быть путь к плюралистической демократической системе, но не через демократические выборы, которые развязали бы борьбу за власть и могли бы привести к власти отличную от коммунистической, но такую же диктаторскую машину.

Тогда мне казалось, что для проведения демократических реформ понадобится минимум десять лет. Если кому-то это кажется слишком долгим сроком, напомним, что в год, когда пишется эта книга, десять лет отделяет нас от Пражской весны. (На чешском языке книга была издана в 1978 г. — Л.С.) Повторяю, я вовсе не утверждаю, что мои представления можно было реализовать, что они не натолкнулись бы на сопротивление Москвы. Я занимаюсь этой проблемой так подробно потому, что хочу разъяснить читателям мою позицию в период Пражской весны относительно характера политической реформы. Тогда я опасался, что, во-первых, проблему плюрализма преждевременно поставит печать (что отчасти и произошло), а, во-вторых, что она встанет в связи со стремлением некоторых политических группировок (например, представителей социал-демократов и некоторых групп, действовавших в рамках КАН *) выступить в роли новых политических партий.

Я готов был понять, почему о многопартийной системе говорили те, кто вообще не верил в возможность реформ под руководством коммунистов и хотел независимо от КПЧ подключиться к политике. Но я не мог понять, почему за многопартийность выступали некоторые коммунисты-реформисты, разделявшие концепцию политической реформы как таковой. Я не понимал

* КАН — клуб активных беспартийных, который возник в период Пражской весны.

также, как могут эти люди — моего поколения и с таким же политическим опытом — надеяться, что Биляк и "консерваторы" или даже Дубчек и "прогрессивное" крыло партийного руководства согласятся начать со свободных демократических выборов, на которых КПЧ будет соревноваться с новой, не запятнанной прошлыми грехами коммунистов партией. Я не мог понять, как эти люди, искушенные в политике и в партийной работе, могли быть столь наивными и романтичными как в понимании политики вообще, так и в понимании своей собственной партии. Ни тогда, ни сейчас я не ставил им этого в заслугу.

Что же касается другой основной политической проблемы — международных взаимосвязей и последствий политической реформы в Чехословакии, то мы в нашей исследовательской группе уже в 1967 г. понимали, что для проведения любой реформы необходимо благословение Кремля. Но тогда это еще не было вопросом непосредственно практическим, а потому ограничивать исследования и теоретические дискуссии учетом кремлевской реакции не имело смысла. Закрытые дебаты, по нашему мнению, к вмешательству Москвы привести не могли, а что произойдет на практике, когда реформа начнет реализовываться, мы вообще предсказать не могли, поскольку все зависело бы от конкретных условий, в том числе от личности, которая в данный момент будет господствовать в Советском Союзе.

Я с самого начала нашей научной работы понимал значение возможной реакции Москвы, и потому весной 1967 г. поехал в Советский Союз. Я хотел выяснить, чего можно ожидать от советских идеологов. Во время этого визита я прочитал лекцию в московском Институте государства и права Академии наук СССР, изложив основные тезисы реформы политической системы, над которыми мы в то время работали. В официальных и неофициальных беседах с учеными и работниками партийного и государственного аппарата я обсуждал ряд конкретных вопросов, которые ставила перед нами концепция политической реформы.

Большинство людей, с которыми я встречался официально, реагировали сдержанно: они находили мои идеи "интересными", но не уточняли — в положительном или отрицательном смысле. Представители самых высоких кругов, занимающиеся вопросами идеологии, были против концепции в целом. Так, например,

директор московского института академик Чхиквадзе (которого, кстати, позже уволили за растрату и "аморальное поведение") в дискуссии после моей лекции задал провокационный вопрос, чем моя концепция отличается от обычного буржуазного плюрализма. "Тем, — ответил я, — что в моей концепции речь идет о плюралистическом социалистическом обществе, и этот плюрализм предусматривает политические организации трудящихся, а не буржуазии; что касается некоторых конкретных проблем, в частности, организации общества и механизма его функционирования, то особых различий нет, и я бы только приветствовал, если бы уважаемый академик определил конкретно, в чем такие различия должны заключаться". Товарищ академик на это, конечно, не ответил ничего: у него захватило дух, что такие страшные слова как "буржуазный плюрализм" сами по себе не являются достаточным аргументом. Отрицательно была встречена и концепция об отделении аппарата управления экономикой от государственного и политического аппаратов. Это уже можно было рассматривать как критику чехословацкой экономической реформы, необходимость проведения которой в то время официально признавалась компартией Чехословакии.

В неофициальных беседах высказывались совершенно иные мнения. Мои советские собеседники (многих из них я знал со времени моей учебы в Москве) полагали, что в Советском Союзе о наших концепциях даже говорить невозможно — во всяком случае, в ближайшее время. Поэтому они считали чрезвычайно важным, чтобы реформы в Чехословакии увенчались успехом. Тогда, возможно, и в Советском Союзе удастся провести эти необходимые реформы, пойти по пути демократизации. Брежнев находился тогда у власти всего два с половиной года, и в Москве, главным образом, в партийном аппарате, преобладало в то время мнение, что он представляет "временное правительство", поскольку ни одна из соперничающих в партии группировок еще достаточно не укрепились, чтобы полностью захватить власть. Многие надеялись, что победят сторонники рациональной линии, опирающиеся на специалистов, и это поведет к демократизации. Часто такие надежды связывались с личностью Шелепина. Никто не сожалел о Хрущеве, политику которого молодые сотрудники партаппарата считали непродуманной, лишенной концепции и при этом необоснованно экспериментирующей,

когда реорганизации проводились непоследовательно и в самых разных областях общественной жизни. Лишь изредка высказывалось мнение, что в СССР демократизация невозможна. Одним из сторонников такой позиции был мой бывший сокурсник. Он обосновывал свою точку зрения очень просто:

— То, чего хочешь ты, у нас исключено, иначе они просто пережуют нам глотку.

”Нам” означало советскую бюрократию, ”они” означало советский народ.

Я вернулся в Прагу с убеждением, что дело, в общем-то, не так уж плохо, что в будущем демократизация возможна и в Советском Союзе. Но при этом было ясно, что мы должны продолжать свою работу, не надеясь на поддержку теоретическо-идеологических органов СССР, что в этих кругах на нашу реформу будут реагировать резко отрицательно. Большинство сочувствующих нашим реформам пока не занимали ведущих должностей. Я надеялся, однако, что к 1970 г. положение в Советском Союзе изменится в нашу пользу. Как выяснилось позже, это было самой грубой из моих ошибок в оценке политической ситуации.

Руководствуясь этими соображениями о возможностях реализации чехословацкой политической реформы, я вошел в январе 1968 г. в ”рабочую группу”, задачей которой была подготовка политического документа, вошедшего в историю как ”Программа действий КПЧ”. 5 апреля 1968 г. этот документ был утвержден Центральным комитетом Коммунистической партии Чехословакии в качестве официальной программы Пражской весны. *

* Программа действий КПЧ 1968 г. была подготовлена ”рабочими группами”, которые состояли из сотрудников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Политбюро ЦК КПЧ учредило для подготовки программы ”политическую комиссию” из членов политбюро, секретарей ЦК и других ответственных партийных работников под председательством Д. Кольдера, но в работе над текстом программы никто из них участия не принимал. Кольдер встретился с работающими над программой специалистами дважды; во время одной из этих встреч он предложил, чтобы текст программы был коротким, приблизительно страниц на десять. Кольдер заметил при этом, что он уже договорился с писателем Яном Прохазкой, что тот составит текст по подготовительным материалам. У Брежнева были все основания спросить осенью 1968 г. у Шимона в Москве, кто, собственно, написал Программу действий КПЧ. Ши-

В тексте программы отражены многие мои взгляды. Я не стремился "протаскивать" свои формулировки в партийном руководстве, а старался формулировать их так, чтобы они были четкими и осуществимыми на практике. В одном, однако, концепция программы действий КПЧ принципиально отличалась от моей концепции — в трактовке роли политических партий и Национального фронта.

Программа действий КПЧ рассматривалась как политическая платформа на короткий период, на первый этап политической реформы. Как я уже говорил, я не считал целесообразным в этой первой фазе выдвигать вопрос о других политических партиях, которые могли бы конкурировать с КПЧ в борьбе за власть путем свободных демократических выборов. Я вообще не считал нужным говорить о политических партиях, поскольку на данном этапе реформы найти решение было невозможно. Ограничить в программе деятельность партий, как было сделано после 1948 г., значило программно защищать один из столпов тоталитарной системы, да к тому еще привлечь к этой проблеме внимание и снизу и сверху. Отбросить же эту систему тоже было невозможно с политической точки зрения, потому что такая мера привела бы к борьбе за власть.

мон ответил, что для этого была создана комиссия во главе с товарищем Кольдером, но Брежнев возразил: "Я спрашиваю не об этом, я хочу знать, кто на самом деле создал эту программу".

Вот имена авторов окончательного текста Программы действий КПЧ: первую часть — "Путь Чехословакии к социализму" написали Я. Фойтик, К. Каплан и Р. Рихта. Часть II — "За развитие социалистической демократии, за новую систему политического управления обществом" — Эд. Млинарж; часть III — "Народное хозяйство и уровень жизни" — Б. Шимон и А. Червинка при участии нескольких экономистов (О. Шик, К. Коуба и др.); авторы части IV — "Развитие науки, образования и культуры" — Р. Рихта и С. Провазник вместе с несколькими сотрудниками системы просвещения, Академии наук и Союза писателей; часть V — "Международное положение и внешняя политика КПЧ" написал П. Ауэрсперг.

Перечисленные авторы составили главную "рабочую группу", которой организационно руководил Ауэрсперг и которая работала в его кабинете — в редакции журнала "Проблемы мира и социализма". Подготовительным материалом для работы этой группы были десятки научных исследований; авторы часто консультировались с членами других рабочих групп и изменяли формулировки в соответствии с полученными замечаниями.

Не имело смысла и укреплять политическую роль Национального фронта, задачей которого было именно ограничение деятельности некоммунистических политических партий. Возрождение Национального фронта породило бы целый комплекс вопросов, которые нельзя было решить, не имея четкой позиции относительно политических партий. По моему мнению, политическая роль профсоюзов и других общественных организаций, которые входили в Национальный фронт, должна была по мере проведения реформ становиться все более самостоятельной, чему мешали ограничения, присущие механизму Национального фронта. Уже в начале 1968 г. я считал этот механизм мертвым и не видел никакой необходимости в его воскрешении.

Но имелось на этот счет и другое мнение, которое разделяла "рабочая группа" политологов под руководством Р. Рохана. В 1967 г. эта группа, возглавляемая Й. Гендрихом, исследовала проблему Национального фронта. При подготовке Программы действий КПЧ Гендрих передал мне эти материалы. Там, в частности, утверждалось, что можно оживить Национальный фронт и превратить его в орудие, при помощи которого КПЧ будет влиять на всю систему общественных организаций. Проблемы политических партий эта группа вообще не затрагивала; предполагалось сохранить их как формальные организации, как бы для украшения режима.

В феврале 1968 г. я послал Гендриху докладную записку по этому вопросу (вплоть до марта он оставался членом политбюро и секретарем ЦК КПЧ). *

Я писал, что включение такой концепции Национального фронта в программу действий КПЧ не соответствует духу реформы. К тому же преждевременная постановка вопроса о некоммунистических политических партиях вызовет уже на первом этапе сложнейшие политические проблемы.

Я рекомендовал коснуться проблемы Национального фронта лишь в общих чертах, повторив положения конституции, что "Национальный фронт чехов и словаков, объединяющий общественные организации, является политическим выражением союза трудящихся города и деревни под руководством КПЧ", и оста-

* Копию этого документа у меня конфисковали во время обыска в декабре 1975 г., так что сейчас его у меня нет. — Зд. М.

вить этот полуживой организм в покое, в стороне от реформы. Гендрих (как и другие функционеры, с которыми я эту проблему обсуждал) не возражал, так что в проекте программы действий КПЧ еще в марте 1968 г. о Национальном фронте и политических партиях почти ничего не говорилось.

К этому вопросу снова вернулись на мартовском заседании политической комиссии, которой руководил Д. Кольдер. Начались дебаты и споры. Некоторые члены комиссии возражали мне, что как с практической, так и с политической точки зрения просто невозможно обходить вопрос некоммунистических политических партий, поскольку это лишь привлечет внимание к проблеме и вызовет давление на КПЧ с требованием занять четкую позицию в вопросе политических партий. Мои оппоненты считали необходимым более подробно сформулировать положения о Национальном фронте и входящих в него политических партиях. Особенно энергично защищал эту точку зрения нынешний председатель чехословацкого правительства Любомир Штроугал; его поддерживал Йозеф Смирковский. На заседании комиссии открыто обсуждалось, как могут разворачиваться события в дальнейшем, можно ли серьезно рассчитывать на свободные выборы, в которых принимали бы участие другие политические партии, или нет. Все участники этого заседания полагали, что такая перспектива нереальна. Таким образом, уже на этом заседании члены комиссии единогласно пришли к выводу, что роль Национального фронта в политической реформе в том, чтобы исключить возможность возникновения новых не входящих в Национальный фронт политических партий и тем воспрепятствовать межпартийной борьбе за власть.

Вначале я пытался, оперируя общими теоретическими доводами, доказать, что такое решение затруднит переход к следующему этапу политической реформы. Однако, по ходу дебатов я признал, что, с практической точки зрения, мои собеседники правы, утверждая, что обходить этот вопрос не следует: в марте активность общества, в том числе и чехословацкой печати, возросла настолько, что на деле и вопрос о роли некоммунистических политических партий уже был поставлен на обсуждение.

Я переделал соответствующее место программы действий КПЧ о Национальном фронте и политических партиях, и этот текст был позже одобрен и опубликован.

Работая над Программой действий, я отдавал себе отчет, что начинается решающий этап реформы коммунизма, когда теоретические и идеологические тезисы будут проверяться практической политикой, станут составной частью общественной жизни, причем не в кастрированной форме часто неоднозначных формулировок, которые принимались в кулуарах при безразличии тех, кто не имел отношения к власти. Реформа будет проверена практикой, в условиях краха тоталитарной диктатуры и политической активизации общества, различные группы которого получают возможность не только открыто высказывать свою точку зрения, но и распространять и защищать ее. В политической игре появился новый элемент — борьба за участие в управлении страной и сопровождающие эту борьбу страсти и демагогия.

Я был потрясен тем, что в мире правящих почти никто не имел представления о концепции реформы, о ее целях и смысле: большинство было обеспокоено лишь собственным положением в иерархии. Я увидел, что вопросы, от которых действительно зависела судьба и перспективы общества, уходили на задний план, уступая место проблемам, связанным с интригами и карьерой. Я увидел, как держат нос по ветру власть имущие, чтобы не оказаться в стороне от событий.

Я не был ни новичком, ни романтиком в политике. Но я не был и прожженным циником. Но среди власть имущих это вовсе не было преимуществом. И наивным романтикам, и циникам живется легче, чем тем, кто уже знает, что в политической борьбе идеалы не играют решающей роли, но при этом стремятся к победе своих идеалов. В аппарате власти я был далеко не одинок, но все-таки мы составляли меньшинство, а в большинстве были романтики и циники.

* * *

Освобождение Антонина Новотного от должности первого секретаря ЦК КПЧ до сих пор рассматривается как результат короткого, но бурного периода с октября до декабря 1967 г. В октябре произошла стычка на заседании ЦК КПЧ между Новотным и другими членами ЦК, среди которых выделялся Александр Дубчек. Спорили по разным вопросам, в первую очередь о методах партийной работы и о действиях самого Новотного.

Полемика продолжилась в политбюро и завершилась предложением Новотному подать в отставку, сохранив лишь пост президента Чехословакии. Голосование окончилось вничью — 5 : 5. С одной стороны были Новотный, Ленарт, Худик, Лаштовичка и Шимунек, с другой — Дубчек, Гендрих, Черник, Кольдер и Доланский. Пытаясь спасти свое положение, Новотный обратился к Брежневу, но тот не оказал ему поддержки, заявив, что это "внутреннее дело" КПЧ. В конце декабря вопрос об отделении должности первого секретаря ЦК КПЧ от поста президента страны был поставлен на обсуждение ЦК, и в январе Новотный был лишен партийной должности.

Новотный пытался помешать этому решению Центрального Комитета, готовя определенные круги военных и работников госбезопасности раздавить оппозицию, начать аресты и ввести чрезвычайное положение. Этого не произошло. Один из замещанных в дело генералов бежал за границу (его уличили в растрате), второй покончил жизнь самоубийством, и Новотного сняли.

На декабрьском и январском заседаниях ЦК КПЧ обнаружилась довольно значительная оппозиция Новотному. Наряду с известными прежде его противниками к ней примкнули люди, которых никто не считал оппозиционно настроенными демократами, например Василь Биляк и Алойиз Индра. Историки Пражской весны этот факт просто констатируют, не ставя перед собой никаких вопросов.

Я думаю, кое-что все-таки следовало бы разъяснить. До того, как первым секретарем ЦК КПЧ стал Дубчек, Москва обычно утверждала кандидатуры не только секретарей ЦК КПЧ, но и кандидатов на ряд других должностей, в том числе секретарей обкомов. И вдруг ни с того, ни с сего Брежнев согласился, чтобы какая-то "антиновотновская оппозиция" сформировала новый состав руководства КПЧ, а Брежнев сидит в Кремле и ждет, что будет завтра в чехословацких газетах? Новотный мобилизует своих сторонников, "верные кадры" армии и полиции, а Червоненко об этом понятия не имеет? Ведь всем известно, что "верные кадры" прежде всего верны Москве. Почему же выступление в защиту Новотного не увенчалось успехом?

Я сомневаюсь, чтобы Москва все предоставила случаю и "суверенной" КПЧ. Я скорее склоняюсь к иной версии: после то-

го как Брежнев побывал в Праге, в Москве было принято решение позволить на следующем пленарном заседании ЦК КПЧ снять Новотного. Игру "в солдатики" запретил, скорее всего, главный режиссер, хотя, возможно, что и сам Новотный не решился послать против партии вооруженные силы.

Что же касается преемников, то в Кремле наверняка исходили из того, что в политбюро останутся пятеро, выступившие против Новотного. А так как Доланский был слишком стар, то место Новотного должен был занять кто-то из четырех. Будет ли это Дубчек, Гендрих, Черник или Кольдер — было не столь важно. Решение на этот раз действительно предоставили "суверенной" КПЧ (тем более, что назначение Кольдера было мало вероятным, так что речь шла только о трех кандидатах).

Но у московского режиссера могли быть и свои соображения. Он должен был также учитывать возможность, что из пяти сторонников Новотного некоторые потеряют свои места и вместо них в политбюро войдут люди из оппозиции. На этот случай следовало обеспечить, чтобы и в оппозиции были надежные "интернационалисты". Именно этим я объясняю неожиданно радикальную перемену позиции некоторых товарищей, прежде верных Новотному. Доказательств, кроме логических соображений, у меня нет никаких.

Но как иначе объяснить, что министр транспорта Алойиз Индра вдруг стал активно участвовать в политической полемике, вызывая удивление всех окружающих? И как случилось, что этот ярый защитник новых методов, как только возник конфликт между Брежневым и Дубчеком, стал самым консервативным из всех руководителей КПЧ, а после вторжения советских танков в Прагу именно от его имени был арестован Дубчек?

И еще один борец за "возрождение социализма" — Василь Биляк. Правда, его выступления против Новотного можно объяснить тем, что нападки на Дубчека были атаками против словацких представителей в руководстве КПЧ, и Биляк защищал словаков. Но ведь уже тогда было известно, что Биляк представляет также интересы державы, которая лежит восточнее Восточной Словакии. Быть может, однако, именно это и обусловило его поведение. В то время Биляк был личным другом Дубчека, и можно было бы предположить, что он защищал самого Дубчека и потому критиковал Новотного. Но чем объяснить после-

дующее поведение Биляка? Ведь он, как и Индра, с момента столкновения Дубчека с Брежневым открыто защищал в руководстве КПЧ интересы Брежнева. Более того, 22 августа 1968 г. Биляк оказался вместе с Индрой в советском посольстве и готовился стать первым секретарем КПЧ, тогда как Индре была предназначена роль председателя "революционного рабоче-крестьянского правительства".

Еще двое, связавших свою карьеру с январским пленумом ЦК КПЧ, сидели вместе с ними в советском посольстве и составляли новое правительство: председатель центральной комиссии партийного контроля Милош Якеш и Ольдржих Павловский, один из министров черниковского правительства. А как Павловский стал министром? Его кандидатуру выдвинул Индра на заседании ЦК КПЧ в апреле 1968 г. Кем был Милош Якеш до свержения Новотного? Одним из членов комиссии партийного контроля, председателем которой он стал при Дубчеке. Кроме того, Якеш был заместителем министра внутренних дел Йозефа Кудрны, которого вышвырнули из его министерского кресла в "процессе возрождения". К тому же Якеш, как и Павловский, был собутыльником Алойиза Индры в его бытность функционером в городе Готвальдове.

Правда, кандидатуру Якеша на пост председателя комиссии, как и кандидатуру Биляка в члены политбюро, выдвинул Дубчек. В ответ на замечания, что связь Якеша с полицией (и не только пражской) не лучшая рекомендация для его новой должности, Дубчек возражал, что он хороший товарищ. Они вместе учились в высшей партийной школе в Москве и все было в полном порядке. Если всем этим руководил какой-то режиссер, то это был опытный режиссер, выбравший артистов, приемлемых для Дубчека, его товарищей. У Дубчека вообще было много приятелей среди тех, кого в течение многих лет направлял советский режиссер.

Не знаю, о чем Брежнев говорил с Дубчеком в последние дни января, когда Дубчек уже был первым секретарем ЦК КПЧ. Это был первый визит Дубчека в Москву до начала серьезных персональных перемен в чехословацком партийном и государственном руководстве. В таких случаях в Кремле очень конкретно обсуждают "вопросы, интересующие обе стороны". Я не сомневаюсь, что дубчековскую привязанность к Биляку, Якешу и Индре в Кремле сердечно поддержали.

Некоторым событиям, в том числе снятию Новотного, в Праге весьма удивлялись, но в Москве это неожиданностью не было. Однако московский режиссер сам попал в ловушку истории и пришло время ему диву даваться. Главный грех Дубчека заключался в том, что он постоянно преподносил Москве сюрпризы: он назначал секретарей и министров, не согласуя кандидатуры с Москвой. Позже Брежнев обвинил его в этом открыто, но об этом ниже. Для Брежнева именно персональные перемены в Праге были первым признаком "контрреволюции".

Но даже абстрагируясь от "консервативного" крыла дубчевского руководства, не следует забывать, что политика реформ началась не так уж торжественно. Правда, заседание пленума ЦК КПЧ в декабре 1968 г. зафиксировано на 1500 страницах протокола, но идеи реформ, выступления концептуального характера на этом пленуме уместились бы на 50 страницах. Единственным, кто говорил об общественных, политических и экономических проблемах, а также о целях возможной реформы, был Ота Шик. В нескольких других докладах можно найти откровенные и для того времени смелые критические замечания, но цельной концепции желательной политики после отставки Новотного в них нельзя найти. Даже ставшие впоследствии "прогрессивными" на этом заседании не производили впечатления политиков, стремящихся уничтожить тоталитарную диктатуру и установить плюралистическую демократию.

Когда Новотный, наконец, согласился подать в отставку, заседание пленума закончилось принятием коммюнике, в котором нет даже намека, что в будущем следует что-либо изменить. Это коммюнике, разумеется, не соответствует тому, что на самом деле происходило на заседании пленума ЦК. И все-таки оно свидетельствует, что в тот момент члены ЦК не сознавали, к чему приведет свержение Новотного.

Как это ни парадоксально, но более всех сознавал это Новотный. В своем выступлении он подчеркнул, что его отставка будет чревата серьезными политическими и общественными переменами, он предостерегал от этих перемен, видя в них угрозу "интересам рабочего класса". Уже будучи снятым, Новотный в кругу близких говорил:

— Не бойтесь. Все будет в порядке. Дубчек слабый человек, он на этот пост не годится, а у секретарей ЦК всегда полные штаны. Наше время еще придет.

Не сбылась лишь последняя часть его пророчества, в целом же оно не было столь нелепым, как казалось тогда многим романтикам и "прогрессивным" политикам.

Еще до того, как Дубчека выбрали первым секретарем, и, естественно, после назначения он часто говорил о необходимости демократических методов руководства. Но это было скорее его личное предпочтение, а не целостная, рациональная политическая программа. Он говорил об отношениях между чехами и словаками в прошлом веке, в период национального возрождения, о Божене Немцовой, о Людовите Штуре, но даже не коснулся вопроса о федерализации государства. Он говорил, как, будучи первым секретарем компартии Словакии, он не приказывал, а убеждал товарищей в правильности своей позиции. Он вспоминал, как Новотный исключал из партии неугодных ему людей. Так, например, когда историк Госиоровский написал, что в интересах Словакии федеративное упорядочение государства, Новотный исключил его из партии. Дубчек же, будучи совершенно убежденным, что Госиоровский плохой коммунист и нечестный человек (в этом, я думаю, он был прав), не возражал против исключения Госиоровского из партии, но партийная организация, членом которой был Госиоровский, этого не понимала. Дубчек терпеливо, месяц за месяцем убеждал коллег Госиоровского, пока они с ним не согласились. Обо всем этом Дубчек говорил на пленарном заседании ЦК КПЧ, обещая, что так он будет руководить всей партией. Его искренность не вызывала сомнений, но одновременно показывала уровень, на котором Дубчек представлял себе проблемы, ожидавшие его решения на его новой должности.

Напомню, что Дубчек вообще не хотел занять пост первого секретаря, и главным его аргументом было, что эта должность ему не по плечу. Но он оказался единственным приемлемым для большинства членов ЦК КПЧ кандидатом, и это решило исход выборов. Его уговорили, обещая "помогать". Сразу после назначения Дубчека на самый высокий пост в стране он возвратился в столицу Словакии Братиславу, чтобы не пропустить хоккейный матч. Дела могут подождать. Он должен все спокойно обдумать, а потом уже демократическим образом решить. Народ был доволен, что самый влиятельный в государстве человек сидит вместе с простыми людьми на стадионе.

Я вспоминаю это не потому, что хочу представить Дубчека

в виде наивного простачка. Такой взгляд на Дубчека все еще довольно распространен, но действительности он не соответствует. Почему? — Об этом я скажу ниже. Сейчас же я хочу отметить лишь, что и Дубчек в первые дни и недели своего пребывания на посту первого секретаря ЦК КПЧ не подозревал, какой реакции в обществе и аппарате дало толчок его назначение.

Такие опытные партийные политиканы как секретари ЦК Гендрих и Коуцкий тоже были спокойны. Как-то в феврале 1968 г. Коуцкий мне сказал:

— Видишь, на январском пленуме Новотный предсказывал, что, если его снимут, это плохо кончится, — но ведь ничего не происходит.

Я пытался возражать, говорил об отчетливых признаках далеко идущих перемен в обществе и в партии: их можно было наблюдать не только в дискуссиях, которые проводились на страницах печати, но и в усилившейся изоляции секретариата. Коуцкий этому не хотел верить, говорил, что я преувеличиваю. Но не прошло и двух месяцев, как в отставку вынужден был подать сам Коуцкий.

В середине февраля я как-то поздно вечером встретил в здании ЦК КПЧ Гендриха. Он просто сиял от удовольствия, и сразу же объяснил мне причину:

— Я только что говорил с Эдом Гольдштюкером и разрешил ему открыть "Литературную газету" ("Литерарни новины").

Речь шла о еженедельнике Союза писателей Чехословакии, который Новотный закрыл осенью 1967 г. "Литературная газета" (позже "Литерарни листы", а еще позже, уже после оккупации 1968 г. просто "Листы") была символом свободной журналистской критики в период Новотного, а потому возобновление ее издания означало как бы ликвидацию цензуры. Я пытался убедить Гендриха, что такой шаг до опубликования программы действий КПЧ будет означать, что чехословацкая печать станет более радикальной и ее невозможно будет удержать в рамках определенных политических линий КПЧ.

— Этого не произойдет, — утверждал Гендрих. — Я обо всем с Гольдштюкером договорился, они не будут выступать против нас.

Не прошло и месяца, как Гендриха сняли, и одной из причин была критика его деятельности в печати, после чего было сочте-

но, что его дальнейшее пребывание в аппарате компрометирует дубчековское руководство.

За исключением Гендриха, которого сняли с идеологической работы, все, входившие в прежнее руководство партией, — то есть в политбюро и секретариат ЦК, — остались на своих местах вплоть до начала апреля 1968 г. Правда, политбюро было расширено за счет нескольких новых членов, но и они, за исключением Й. Шпачека, не принесли новых политических веяний. Таким образом, из восьми месяцев от январского пленума до советской оккупации в августе первые три прошли почти впустую. За эти три месяца не было сформулировано ни одной новой концепции. Напротив, руководство Чехословацкой компартией колебалось и выжидало, откладывая не только проведение реформ, но и разработку и опубликование их программы.

Я предпочел бы оказаться неправым, но боюсь, что я верно оцениваю причины происшедшего: на протяжении целых трех месяцев партийное руководство решало вопросы, связанные с распределением кресел в верхушке партийного и государственного аппарата, и именно поэтому невозможно было приступить к осуществлению продуманной политики реформ. Общественность же не могла ждать окончания борьбы за кресла министров и секретарей ЦК.

Накопившиеся, но не решенные за многие годы проблемы, стали обсуждать открыто. Концепции демократической реформы стали разрабатываться вне рамок руководства КПЧ — в печати, по радио и телевидению, на различных встречах и собраниях.

Пока не были распределены должности на верхах, все было подчинено борьбе за власть. Те, кто опасались за свои места, поскольку посадил их туда Новотный и они совершили при нем множество недостойных поступков, надеялись сохранить свои позиции и всячески старались представить себя демократами. Гендрих по этим соображениям даже ликвидировал цензуру. А те, кто стремился получить высокий пост, подчеркивал свой демократизм, считая его средством для достижения этой цели. В обоих случаях интересы карьеры определяли демократическую ориентацию политических деятелей. Я вовсе не утверждаю, что ориентация высокопоставленных функционеров КПЧ на демократическую реформу была вызвана только карьерными соображениями. Подобные утверждения опровергаются тем, что я го-

ворил выше о развитии реформистского течения в компартии Чехословакии. Но я хочу подчеркнуть, что в первые месяцы после падения Новотного демократичность, "прогрессивность" функционеров приобрела конъюнктурный характер. На время это как бы сгладило различия в выступлениях и поступках подлинных сторонников демократических реформ и тех, кто прежде всего заботился о собственной карьере.

В мире правящих царила неуверенность. Не менее половины членов политбюро и Центрального Комитета опасалось потерять свои должности. В правительстве и парламенте положение было таким же. Все это отражалось на среднем звене кадров партийного и государственного руководства — на уровне областей и районов. Не были уверены в своем будущем и работники аппаратов. Они нервничали, не зная, как поступать: их повседневная деятельность заключалась в разработке директив и указаний, в принятии административных решений и проверке их выполнения. После свержения Новотного и им стало ясно, что такие методы руководства бесперспективны, а потому они предпочитали бездействовать.

Неуверенность "верхов" создавала благоприятные условия для активизации критики "снизу". В то же время пошатнувшаяся верхушка не решалась прежними методами подавить критику и оппозицию, поскольку даже в обстановке всеобщей неуверенности было очевидно, что снятие Новотного с должности первого секретаря КПЧ было победой критических и оппозиционных течений в партии. Однако для осуществления политической реформы такое положение было весьма неблагоприятным. Чем дольше продолжалось такое состояние, тем в большей степени действовали факторы, препятствовавшие ее проведению. Программа и политическая концепция реформы еще не были четко сформулированы, а давление снизу усиливалось. Это давление, в свою очередь, увеличивало страх руководства, которое не только не решалось содействовать реформе, а, напротив, стало ей внутренне сопротивляться.

Именно поэтому, начиная с февраля 1968 г., я считал главным условием успешного проведения реформы скорейшее прекращение безвременья.

Выступая на открытых и закрытых собраниях, я прилагал все усилия к тому, чтобы программа действий КПЧ была бы

опубликована как можно быстрее как программный документ реформы и чтобы как можно быстрее была осуществлена смена кадров на всех уровнях.

Я до сих пор считаю, что уже в то время для этого существовали необходимые предпосылки.

Текст программы действий КПЧ почти в том виде, в каком он был опубликован в апреле, был готов уже в конце февраля. Я предлагал утвердить его и опубликовать в первые дни марта, поскольку в марте должны были пройти очередные районные конференции КПЧ, на которых избирались райкомы. После этого должны были состояться областные партийные конференции. Я полагал, что на этих конференциях члены райкомов и обкомов должны выбираться уже в соответствии с новой политической линией, но для этого коммунистам нужно было ознакомиться с ней. Кроме того, делегаты этих конференций могли бы выбрать делегатов на внеочередной съезд партии. А для этого необходимо было, чтобы ЦК КПЧ принял решение о созыве такого съезда.

Если бы решение о созыве внеочередного съезда КПЧ было принято в начале марта, его можно было бы назначить уже на май, и на этом съезде был бы выбран новый ЦК партии. А выборы в национальные комитеты и в парламент, которые еще при Новотном были назначены соответственно на май и июль, можно было объединить и провести в июне. Так еще до лета можно было бы избрать новых людей в выборные государственные органы власти.

Такое решение представлялось мне оптимальным. Оно давало возможность увязать первую волну критики и недовольства с демократическими переменами кадрового состава партийных и государственных органов. Такое решение позволяло также не только не ограничивать, а напротив, поддерживать острую и принципиальную критику как отдельных политиков, так и политической системы в целом, продемонстрировав при этом практическое воздействие общественной критики, то есть исключение из партийных и государственных органов тех, на кого прежде всего опиралась система тоталитарной диктатуры. Проведенные в такой обстановке выборы гарантировали бы авторитет новому руководству партии и государства и способствовали бы проведению реформы. Кроме того, избранные на демократически

проведенных выборах партийные и государственные деятели могли бы действительно выступить против радикальных сил, которые ратовали за уничтожение отдельных элементов политической системы, а не за ее постепенную реформу в целом.

Такой порядок воспрепятствовал бы также выдвижению уже на первом этапе реформ в качестве главного политического требования разрешения оппозиционных политических партий. Выборы прошли бы настолько быстро, что такое требование просто невозможно было бы осуществить. А до следующих выборов проблема оппозиционных партий была бы уже изучена подробно и комплексно.

Кроме того, быстрая замена кадров партийных и государственных органов не позволила бы Москве вмешаться в эти дела. Замена московских ставленников осуществилась бы в соответствии с Уставом партии и законами чехословацкого государства еще до того, как Москва успела бы сделать это. Ведь в мае, даже с учетом того, что тоталитарную систему Чехословакии действительно подорвало давление снизу (это нашло свое отражение прежде всего в чехословацкой печати и вызвало крайний гнев Москвы), возникшая в стране обстановка не давала достаточного повода для советского военного вмешательства. А после съезда партии у Москвы не было бы возможности составить из представителей партийного руководства "революционное рабоче-крестьянское правительство" или найти "группу чехословацких политических деятелей", занимающих партийные и государственные посты, которые обратились бы к Советскому Союзу с просьбой "послать войска союзных государств для защиты социализма в Чехословакии".

Не я один считал такой ход политического развития оптимальным. Многие партийные организации выступали с требованием как можно скорее созвать чрезвычайный съезд КПЧ, две или три областные партийные организации даже официально представили это требование Центральному комитету партии. Однако попытки эти не увенчались успехом.

Главной причиной неудачи было, по-моему, то, что противостояли им три совершенно различные политические силы.

Во-первых, против немедленных выборов выступали сторонники радикальных и последовательно демократических перемен политической системы. Их совершенно одурманила возможность

свободно, без цензурных ограничений, провозглашать свои идеи и политические рецепты на публичных митингах, в печати, на радио и телевидении. Люди восторженно и с интересом слушали их и, разумеется, аплодировали. Сторонники радикальных демократических перемен — и коммунисты-реформисты и беспартийные — полагали, что чем дольше продлится состояние "междоусобицы", чем меньше уверенности будет у верхушки, тем больше уступок можно будет от нее получить, тем больше будет завоевано демократических реформ. Быструю стабилизацию структуры правящих партийных и государственных органов они рассматривали как угрозу процессу демократизации. В случае немедленных выборов, полагали они, у власти останется слишком много консерваторов и "центристов", которые будут всячески тормозить реформы, и все кончится как в Польше при Гомулке: на смену восторгам и эйфории потихоньку, через черный ход, вернется старая тоталитарная система. Они полагали необходимым последовательно и как можно дольше разрушать снизу эту систему и выращенные ею кадры, чтобы изгнать их из политики вообще.

Против немедленных персональных перемен выступали и те, кто понимал, что новые выборы — это конец их карьеры: сталинисты, консерваторы, ставленники Москвы, карьеристы, дискредитировавшие себя в прошлом. Эти люди возлагали надежды на "междоусобицу", видели в нем свой последний шанс, рассчитывая, что обстановка в стране накалится до такого предела, когда, руководствуясь простым инстинктом самосохранения, правящая структура выступит против реформы, и тогда настанет их час. Весной 1968 г. даже самые отважные из них не надеялись на помощь советской армии. Они рассчитывали только на нажим со стороны Москвы и на то, что в критический момент сам Дубчек вынужден будет на них опереться.

Третьей политической силой, которую также не устраивали быстрые персональные перемены, была Москва. Там тоже неоднозначно относились к чехословацким событиям, но подробнее об этом будет в следующей главе. Однако для всех в Кремле было одинаково важно, чтобы советское влияние в Праге не только не уменьшилось по сравнению с временами Новотного, а напротив, усилилось. Чрезвычайный съезд партии и выборы нового ЦК в обстановке, когда Москва еще не стала "хозяином по-

ложения”, советское руководство поддержать никак не могло. Лучше выждать, обеспечить тыл и созвать съезд в момент, когда заранее будет известно, кого выберут первым, вторым и т.д.

Перед лицом парадоксального союза этих трех сил мой несчастный ”центризм” победить никак не мог. И действительно, с февраля до апреля ход событий не был оптимальным, и именно эти два месяца предопределили многое, что случилось в следующее полугодие.

Не нужно думать, что Александр Дубчек возвышался над происходящим как святой, как наивный демократ, на которого справа и слева нападали искушенные политические волки. В политбюро Дубчек был с 1963 г., и его туда назначили не ангелы небесные; до этого назначения Дубчек 14 лет работал в партийном аппарате. Полагать, что он не имел представления об этом аппарате и не знал, как с ним обращаться, — значит проявить политическую безграмотность. Дубчек знал скрытые силы, действующие в аппарате; ему был хорошо известен и характер отношений между Прагой и Москвой.

То, что я сейчас скажу, возможно, вызовет удивление и даже возражения. Но я считаю, что отношение Дубчека к происходившему с февраля по апрель 1968 г. диктовалось не его убежденностью в необходимости немедленных и радикальных демократических перемен, а было результатом расчета, основанного на оценке соотношения сил в чехословацком руководстве и позиции Москвы. Дубчек ошибся в оценке размаха и возможных политических последствий радикальной критики, и поэтому он не препятствовал ей в феврале и в марте 1968 г. Он хотел использовать эту критику в собственных целях, которые ничего общего не имели с целями выступавших с радикальной критикой личностей и групп.

Вступая на пост первого секретаря партии, Дубчек символически обнялся с Новотным. Но уже в тот момент Дубчек понимал, что его позиция не будет стабилизирована и он не сможет свободно проводить свою политику, пока Новотный будет президентом и членом политбюро. Дубчек хорошо знал, какое значение имеют отдельные группы и неформальные фракции аппарата. Знал он также, что за Новотным стоит укрепившаяся на определенных политических позициях группа. Политические и личные интересы Дубчека требовали устранения этой группы от власти.

Ему не было свойственно осуществлять свои планы административным путем, приказами. Он действительно старался "убеждать товарищей" в целесообразности своих решений, то есть создавать обстановку, в которой его намерения выглядели бы объективно необходимыми. Таким же образом он предполагал избавиться от Новотного и его свиты в аппарате. Этому способствовала волна критики против Новотного как главы государства. Мне думается, что в этом вопросе намерения Дубчека не только не противоречили желаниям Брежнева, а напротив, осуществлялись по договоренности с ним.

При этом сам Дубчек не вел кампании против Новотного. Он заседал с ним в политбюро, подчеркивая, что Новотный все-таки президент Чехословакии, и что политические противоречия следует решать демократическими методами. Но на демонстрации по поводу двадцатой годовщины февральского переворота Дубчек Новотному выступить не позволил. Он воспрепятствовал и выступлению Новотного по телевидению, когда тот хотел выступить против обрушившейся на него критики. Согласитесь, это не были действия политически наивного человека, преданного идее неограниченной демократии, — напротив, меры Дубчека способствовали нагнетанию такой атмосферы, в которой уход Новотного станет неизбежным. К концу марта Дубчеку это удалось.

Дубчек даже не предполагал, какими последствиями чревата обстановка, созданию которой он способствовал, чтобы можно было снять Новотного. Под нажимом открытой критики средств массовой информации вынуждены были подать в отставку еще несколько политических деятелей: министр внутренних дел Й. Кудрна, генеральный прокурор Й. Бартушка, председатель профсоюзов М. Пастыржик и др. И это было на руку Дубчеку, поскольку все они были людьми Новотного. Но Дубчек не понимал главного: что наряду с этими переменами произошло нечто более значительное — сформировался механизм, способный привести к переменам, причем не механизм партийных и государственных органов и даже не демократическая процедура, которой руководствуются власть имущие, а механизм общественного нажима через свободную печать и путем свободного выражения взглядов вне рамок официальной структуры. В определенном смысле этот механизм можно было бы назвать вне-

парламентской оппозицией, если бы парламент как демократический институт уже функционировал.

Когда впоследствии этот механизм окреп и перестал служить непосредственным целям Дубчека, а оказывал давление и там, где Дубчек вовсе не был заинтересован в этом, он поражался и печалился одновременно. Об этом могут свидетельствовать журналисты, которых Дубчек приглашал в мае и июне 1968 г., пытаясь убедить их, что печать не должна ставить ему спицы в колеса, что она должна быть более дисциплинированной. На этих встречах Дубчек был очень искренен, в его глазах стояли слезы. Но его призывы не помогли. Я помню несколько бесед с ним на эту тему.

— Почему они так поступают по отношению ко мне? — жаловался Дубчек. — При Новотном они бы просто боялись. Разве журналисты не понимают, что они мне этим только вредят?

Я неоднократно пытался объяснить ему мою позицию, надеясь на конкретном примере прессы пробудить у него интерес к концептуальным проблемам политического механизма и широких системных взаимосвязей, а не только к личным отношениям и вопросам власти. Но мои попытки не увенчались успехом. Дубчек слушал меня, но при этом думал о другом — о неблагодарности журналистов. Мой подход был слишком абстрактным для человека, мысли которого были поглощены не проблемами системы, а проблемами личного порядка. Но как только прошла боль, причиненная "товарищами журналистами", он стал думать о другом и, неожиданно перебив меня, спросил о чем-то конкретном.

То, что другим представляется в политических действиях Дубчека наивным, я воспринимаю как следствие целого ряда формировавших Дубчека обстоятельств: проведенные в СССР детство и молодость; политический и жизненный опыт, накопленный в аппарате монополюльно правящей партии; политические дразги в Словакии. Все эти обстоятельства оказали влияние на Дубчека — человека сообразительного, но не склонного к абстрактным суждениям, честного, любящего людей, неавторитарного и ощущающего потребность верить в высокие идеалы. Эти качества не только характеризовали Дубчека, но и определили ту особую роль, которую ему суждено было сыграть в Пражской весне 1968 г.

Будет ошибкой считать, что демократические идеалы Дубчека были для него и руководящими принципами в борьбе за власть и что в политическом смысле Дубчек был наивен. Ближе к правде утверждение, что Дубчек даже не знал, что это такое — политическая демократия в жизни общества, а тем самым и в жизни правящей элиты. На собственном опыте он демократии не знал, а его мышление не позволяло ему осуществить на практике абстрактные для него принципы демократии.

Для Дубчека идеи марксизма-ленинизма уже сами по себе были высокими идеалами, он верил им и считал честными людьми тех, кто эту его веру разделял. Если такой подход считать наивным, то Дубчек наивен. Но он знал, что на практике эти "чистые идеи" загрязнены другими, и именно от того, как усвоены эти "другие", зависит успех или поражение коммунистического политика. За годы работы в партийном аппарате Дубчек хорошо понял это. Поэтому назвать его наивным невозможно. Поскольку практический опыт политической деятельности Дубчек накопил, главным образом, в Словакии, то он переоценивал значение личных отношений в политике. К тому же в Словакии давление на правящую элиту снизу всегда было слабее, чем в Чехии. В Словакии и до войны гражданское общество — обязательное условие и база демократии — было менее развито, чем в Чехии.

Вступая на самый высокий пост в стране, Дубчек наверняка считал необходимым провести демократические политические реформы и изменить существовавший прежде образ правления, но во главу угла он ставил такие меры, которые имели значение именно при старой системе власти. Как опытный работник партийного аппарата, он знал, что главное — это отстранить от власти враждебную ему группу и сформировать свою. Он знал также, что ему нужно заручиться поддержкой Москвы. Обе эти цели были для него важнее, чем программные декларации и концепции реформы, важнее партийного съезда и выборов. Ведь по традиции съезд и выборы организуются после того, как первый секретарь уже стабилизирует свое положение в Москве, а не до этого. Приблизительно так же рассуждали в те дни и другие члены политбюро, по крайней мере, большинство их. Из новых членов политбюро вопросы концепции интересовали в то время лишь Йозефа Шпачека.

И тут мы оказываемся свидетелями исторического парадокса: свобода печати и нажим общественного мнения, характер-

ные для Пражской весны, углубляются вне всякого сравнения с демократизацией других областей общественной жизни именно потому, что Дубчек ведет себя так же, как руководители других группировок аппарата КПЧ в прошлые годы.

Чего же добился Дубчек с января по апрель 1968 года? Ему удалось создать в аппарате группу, в руках которой сосредоточились решающие позиции. Это была тройка — Дубчек, Черник и Кольдер. Они хорошо знали друг друга по прежней работе в аппарате. Они доверяли друг другу и сообща удалили из политбюро тех, кто не внушал им доверия. Из руководства Новотного остались только трое: Йозеф Ленарт, Антонин Капек и Мартин Вацулик, но все трое были на положении кандидатов в члены политбюро. Вацулик сохранил свой пост как секретарь пражского обкома, но в мае на эту должность был назначен Б. Шимон, который в прошлом сотрудничал с руководящей тройкой, главным образом, с Кольдером. Пять новых членов партийного руководства тоже были связаны личными узами с ведущей тройкой, в особенности с Дубчеком: это были Василь Биляк (личный друг Дубчека, которого он устроил вместо себя на пост первого секретаря партии в Словакии), Ян Пиллер (много лет проработавший в области экономики, где он сблизился с Черником и Кольдером), Ольдржих Швестка (главный редактор газеты "Руде право", который еще при Новотном помогал Дубчеку), Франтишек Барбирек и Эмиль Риго (они не были крупными политическими фигурами, но Дубчек считал их "своими людьми").

Таким образом, всего трое — Йозеф Шпачек, Йозеф Смирковский и Франтишек Кригель — оказались в верховном партийном органе не благодаря личным связям с Дубчеком. Шпачек попал в политбюро как секретарь партийного комитета Брно. Смирковский, политическая деятельность которого после января 1968 г. принесла ему огромную популярность, был фактически одним из главных кандидатов на пост президента Чехословакии, поэтому он стал председателем Чехословацкого парламента и членом политбюро. Кригель попал в политбюро в результате маневров его сторонников в ЦК. Он не был личным другом Дубчека. Базой Кригеля были партийные организации, а не аппарат. Во время конфликта с Новотным Кригель был на стороне Шика, Водслоня и Прхлика, то есть людей, которые позже не сблизились с новой "тройкой". Напротив, Черник, Кольдер и Дубчек были ре-

шительно против включения в политбюро Оты Шика — автора чехословацкой экономической реформы. Мне думается, что Черник и Кольдер были против Шика по причинам личного, карьерного порядка.

Говоря о новом партийном руководстве, следует отметить, кроме политбюро, и секретариат ЦК КПЧ. В секретариат сверх упомянутых трех членов политбюро — Дубчека, Кольдера и Ленарта — вошли несколько новых функционеров: Алойиз Индра (о его карьере я уже говорил; кроме того, замечу, что в течение нескольких лет он был приближен к Чернику и Кольдеру), Штефан Садовский (личный друг Дубчека), Ольдржих Воленик — секретарь остравского обкома (кстати, Черник и Кольдер были из Остравы), Честмир Цисарж, Вацлав Славик и я.

Путь наверх Честмира Цисаржа был зигзагообразным и необычным. В 50-е годы он работал в аппарате ЦК КПЧ — занимался вопросами идеологии. Он был сталинистом, но образованным (окончил французскую гимназию и незадолго до войны учился в университете во Франции). За похвальную рецензию на собрание сочинений Рудольфа Сланского, написанную незадолго до его ареста, Цисарж скатился на низкие ступени партийного аппарата, но после 1956 года снова стал подниматься вверх и достиг должности главного редактора партийного теоретического журнала "Новая мысль". При Новотном Цисарж издал книгу, в которой послевоенная история КПЧ и Чехословакии была представлена как непрерывная цепь успехов, в достижении которых решающую роль играл Новотный. Честмир Цисарж сопровождал Новотного в одной из поездок за границу, завоевал его расположение и в 1963 г. был назначен секретарем ЦК КПЧ. В благоприятных условиях того времени Цисарж повел себя как относительно либеральный политик. Реформистски настроенная коммунистическая интеллигенция называла период деятельности Цисаржа в ЦК "милостивым летом". Потом он снова попал в опалу, и Новотный назначил его министром просвещения.

Дочь Цисаржа приняла участие в студенческой маевке 1965 г. и в студенческих "антипартийных демонстрациях", за что его сняли с поста министра просвещения и отправили послом Чехословакии в Румынию. Цисарж был очень популярен среди студентов. Это проявилось весной 1968 г., когда они ходили по Праге с лозунгами "Цисаржа в Пражский кремль" ("Цисарж" оз-

начает по-чешски император, "Пражский кремль" — дворец чехословацких президентов, — Л.С.), так что люди постепенно стали видеть в нем возможного кандидата на пост президента. Наверху к его кандидатуре не относились серьезно, но популярность все же сыграла роль при назначении Цисаржа секретарем ЦК.

Подобно другим партийным функционерам тех лет, Цисарж синтезировал коммунистическую веру и карьеризм. После утраты им министерского кресла и назначения послом в Румынию, я случайно встретился с ним перед зданием ЦК КПЧ. Он был бледен, растерян, расстроен.

— Это просто страшно, — сказал он мне. — Я был у Новотного, я душу перед ним раскрыл — а он мне в душу ногой.

— Это тебе урок, — заметил я. — Не раскрывай душу перед тем, кто ею не интересуется.

Цисарж посмотрел на меня, как на человека, цинизм которого перешел дозволенную границу. А в октябре 1968 г., когда уже было очевидно, что ни он, ни я не удержимся на своих местах, я заговорил с ним о будущем.

— Выхода нет, — сказал Цисарж. — Я ведь не могу жить меньше, чем на 10 тысяч в месяц.

На этом мы и покончили.

Вацлав Славик тоже не был обязан назначением в секретариат ЦК хорошим отношениям с правящей тройкой. Его подъем был вызван другими обстоятельствами. Как и Смирковский, Славик был связан с теми членами ЦК КПЧ, которые после падения Новотного поддерживали критиков, требующих реформ. Он был работником партийного аппарата, сначала — в редакции газеты "Руде право", затем в Бухаресте в редакции журнала "За прочный мир, за народную демократию". С конца 50-х годов Славик заведовал идеологическим отделом ЦК КПЧ и какое-то время был секретарем ЦК. После этого он получил пост заместителя главного редактора международного коммунистического журнала "Проблемы мира и социализма", а с 1966 г. стал директором Института политических наук при ЦК КПЧ, который сотрудничал с моей исследовательской группой.

На протяжении многих лет работы в партийном аппарате взгляды Славика менялись, и к концу 60-х годов он, по-моему, стал искренним сторонником реформ. Разумеется, и Славик

стремился к политическому влиянию и ответственной должности, но он не был карьеристом. Он скромный и честный человек, и именно поэтому ему доверяли различные группировки и кланы партийного аппарата. Хорошие отношения с людьми, которые по некоторым вопросам занимали совершенно противоположные позиции, способствовали назначению Славика в секретариат ЦК КПЧ в дубчеховские времена. В бурный 1968 г. он выполнял роль посредника при достижении компромиссов, главным образом между ЦК и пражской городской партийной организацией. Он был близок к Дубчеку и Кригелю, а также ко многим представителям радикальной партийной интеллигенции и работникам партийного аппарата.

Я стал членом секретариата ЦК КПЧ в апреле 1968 г. Это произошло неожиданно и для меня и для других. Во-первых, я не был членом ЦК, а действовал за кулисами аппарата. Должность секретаря юридической комиссии не предполагала членства в Центральном Комитете. Но секретарем ЦК могли избрать только члена этого органа. В партийных кулуарах меня обычно причисляли к группе Коуцкого и Гендриха, а звезда этих политиков с апреля 1968 г. стала быстро закатываться. С Дубчеком я тогда вообще не был знаком, Черника знал мало. С Кольдером знакомство было ближе, но наши отношения нельзя было назвать тесными или дружескими.

Правда, я был одним из авторов Программы действий, в некотором смысле даже основным автором. Это укрепляло мою позицию в кулуарах, но я не ожидал, что на основании этого получу официальную должность. В конце марта при составлении нового партийного и государственного руководства мне предложили должность генерального прокурора, но я отказался, поскольку хотел продолжать теоретическую работу в области политических наук. Высокого партийного поста я не ждал.

Вместе с другими членами рабочей группы, подготавливавшей Программу действий, я был приглашен на апрельское заседание ЦК КПЧ, где должны были принять эту программу. Такого рода приглашения практиковались еще при Новотном, это была своего рода награда тем, кто работал за кулисами. К тому же я очень хотел лично разъяснить членам ЦК политический комментарий к проекту Программы действий и концептуальные вопросы, которые я считал важными. Поэтому я попросил слова и вы-

ступил. Мое выступление было предпоследним. Это обстоятельство оказалось очень важным, поскольку последним выступал Антонин Новотный. Наши выступления отразили крайне противоположные точки зрения, а потому привлекли внимание. Кроме того, в заключение своего выступления я сделал критические замечания о действиях дубчековского руководства, о потере им инициативы, о том, что оно плетется в хвосте событий, а не возглавляет происходящее в стране. Я подчеркнул, что реформа может оказаться под угрозой: процесс возрождения может вылиться в события, подобные венгерским в 1956 г. В "Руде право" это замечание не попало, но на пленуме оно привлекло внимание присутствовавших, его с удовлетворением выслушала и консервативная, сталинская часть ЦК КПЧ.

В ходе дискуссии по проекту Программы действий Йозеф Гавлин, позже, при Гусаке, ставший секретарем ЦК КПЧ, предложил избрать меня секретарем ЦК. В перерыве ко мне подошел Дубчек и тоже предложил мне этот пост с тем, чтобы я вместе с Цисаржем отвечал за вопросы идеологии. Я ответил, что должен подумать и что идеологической работой я не хотел бы заниматься, поскольку меня интересует дальнейшая разработка и реализация реформы политической системы, а для этого необходимо иметь влияние на государственные органы, общественные организации, организации Национального фронта. Это Дубчеку было не нужно, поскольку на этот участок работы уже был назначен Алойиз Индра. Мы порешили на том, что в следующий перерыв я сообщу ему свое окончательное решение.

Приняв во внимание общее и мое личное положение, я пришел к выводу, что для меня было бы наиболее целесообразно продолжать работу в Академии наук, где я занимался разработкой концепции политической реформы, но при этом получить должность члена секретариата ЦК КПЧ, а, следовательно, стать не секретарем, а председателем юридической комиссии. Я подумал и о том, что, так как в связи с экономической реформой стали издавать партийные журналы по экономическим вопросам, то в связи с политической реформой следовало бы начать издание партийных журналов по политологическим вопросам. Для обсуждения политической реформы печатной трибуны тогда не было, оно выносилось на страницы ежедневных газет и культурно-политических еженедельников. Редактором такого

политологического журнала я хотел бы быть. Дубчек с моим предложением согласился, и с 5 апреля 1968 г. меня избрали членом секретариата ЦК КПЧ, но не на должность секретаря.

Два месяца спустя, после того, как я стал принимать участие в работе политбюро и секретариата ЦК, я сам попросил назначить меня секретарем ЦК. К тому времени я понял, что разговоры на заседаниях руководства ничего не решают, а положение в верхушке значит очень много. Секретарем ЦК я стал 1 июня 1968 г.

Тогда же членом секретариата стал Эвжен Эрбан. До 1948 г. он был функционером социал-демократической партии Чехословакии, и его включение в секретариат ЦК КПЧ должно было продемонстрировать, что бывшим социал-демократам открыта дорога в КПЧ, а потому нет необходимости восстанавливать их партию. На тех, кто выступал за восстановление социал-демократической партии, назначение Эрбана не могло повлиять и не повлияло. Одновременно Эрбан был назначен секретарем Национального фронта. Он выступал против политики председателя Национального фронта Франтишека Кригеля. Благодаря этому и его дальнейшей деятельности в процессе так называемой нормализации ему удалось сохранить незначительное, но хорошо оплачиваемое место председателя Чешского национального совета.

Таким образом, в результате кулуарных соглашений и компромиссов, достигнутых под нажимом общественности и части партийного аппарата, было сформировано новое дубчековское руководство. Это руководство довольно верно отражало сложившееся к тому времени соотношение сил наверху. Оно было очень неоднородным, и это заведомо определяло внутренние конфликты и не могло не отразиться на способности нового руководства решать политические проблемы, вставшие в скором времени. Даже правящая тройка — Дубчек, Черник и Кольдер — оказалась не в состоянии верно оценить создавшееся в стране положение и его перспективы.

Одновременно с партийным руководством был выбран новый президент и новое правительство. Пост президента рассматривался тогда на партийных верхах как институт морально-политического характера, но без подлинной власти. Поэтому на пост президента подыскивалась кандидатура, которая обладала бы

авторитетом как среди широких слоев населения, так и в партийном аппарате. Этот пост не должен был сочетаться с высокой партийной функцией. Партийное руководство интуитивно стремилось к назначению "надпартийного" президента, который создавал бы впечатление исторической преемственности с президентами довоенной Чехословакии, но в то же время не хотело видеть на этом посту беспартийного.

— Хорошо бы какого-нибудь профессора, — сказал как-то Кольдер.

— Если бы был жив Неedly, — добавил он, не ощущая, вероятно, разницы между Неedly и Масариком.* Стремление найти "какого-нибудь профессора" привело к тому, что среди кандидатов появилось имя президента Академии наук Франтишека Шорма. Но в результате без особых возражений все, от кого зависел выбор президента, сошлись на кандидатуре генерала Людвига Свободы. Формальные выборы состоялись 30 марта 1968 г., и новый президент Свобода положил венок на могилу Масарика, чего не случалось с 1948 г.

Новое правительство, во главе которого стоял Черник, в профессиональном отношении было более высокого уровня, чем партийное руководство. Многие члены правительства были квалифицированными, широко мыслящими людьми, и некоторые разделяли концепцию реформы. До какой-то степени качество чехословацкого правительства определилось еще при Новотном: Йозеф Ленарт, тогдашний премьер-министр, был человеком рациональным и подыскивал для работы в правительстве более квалифицированных людей, чем Новотный для партийного аппарата. Ленарт прошел школу заводов Бати, и это давало себя знать. В феврале 1967 г. я писал для него реферат о национальных комитетах, и мы совместно обсуждали его текст. Ленарт сказал мне:

— Ты разумный человек, почему же ты вертишься в "бараке"? ("Бараком" в Чехословакии называли здание ЦК. — Л.С.) — Держись правительства. В бараке болтают, а здесь работают.

В то время и Ленарт мог поплатиться за такие слова. Но он

* Первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик был профессором философии.

не только говорил — среди сотрудников правительственного аппарата у него были высококвалифицированные и талантливые люди, и хотя в 60-е годы экономическая реформа проводилась с благословения партии, многое для ее реализации сделало именно ленартовское правительство.

Таким образом, у Черника была хорошая база для создания нового правительства. Более того, в правительство "передвинули" нескольких талантливых людей, не попавших в партийное руководство — среди них были Ота Шик, Любомир Штроугал и даже Густав Гусак. Последующие годы показали, что способностями Гусака и Штроугала могли воспользоваться антиреформисты, по приказу Москвы восстанавливавшие в Чехословакии тоталитарную диктатуру, но все-таки эти люди способнее Биляка и Капека, которые весной 1968 г. вошли в дубчеховское партийное руководство. Некоторые новые министры, например, министр иностранных дел Йиржи Гайек, министр просвещения Йиржи Кадлец, министр культуры Мирослав Галушка, были не только знающими специалистами, но и убежденными сторонниками реформ. Правительственные кадры обеспечивали реализацию реформы лучше, чем кадры партийного аппарата.

Не случайно, что 22 августа, на следующий день после советской оккупации Чехословакии, девять членов дубчеховского партийного руководства были готовы сформировать коллаборационистское "революционное рабоче-крестьянское правительство" и "революционный трибунал", перед которым наверняка предстали бы Дубчек, Смрковский, Кригель, Черник и другие, а из правительства Черника к этой группе присоединился только один министр (О. Павловский). Несколько высоких партийных функционеров подготавливали гладкий ход советской интервенции в Чехословакию, а из правительственных чиновников до этого унизились лишь председатель управления связи К. Гофман и заместитель министра внутренних дел В. Шалгович. К тому же и Павловского и Шалговича назначил на правительственные должности не Черник. Первого, как я уже говорил, ему навязал Алойиз Индра, а второго сам Дубчек. Министром внутренних дел в правительстве Черника был Йозеф Павел, кандидатуру которого выдвинул я. В конце марта 1968 г. меня пригласили на заседание политбюро, где обсуждался состав нового правительства. Именно тогда В. Коуцкий предложил мне должность

генерального прокурора, сообщив, что до сих пор не известно, кто будет министром внутренних дел. Кандидатов было несколько. Коуцкий назвал Ольдржиха Воленика, секретаря остравского обкома. Мы оба понимали, что в сложившейся ситуации никто не рвется на пост министра внутренних дел. Коуцкий спросил, кого бы предложил я. Я ответил, что министром внутренних дел должен был бы стать человек, который не только знает это ведомство, но и мог бы провести в нем последовательную чистку, выбросить тех, кто ответственен за нарушение законности в прошлом, и воспрепятствовать возможным политическим злоупотреблениям аппаратом государственной безопасности в будущем. Найти такого человека нелегко, но я обещал подумать. Коуцкий вернулся на заседание политбюро, а я перебирал в уме различные возможности, пока не остановился на Йозефе Павеле.

Павел вступил в компартию еще до второй мировой войны, он командовал интербригадами в Испании, затем сражался в чехословацких частях в Англии, а после войны заведовал отделом ЦК КПЧ по вопросам госбезопасности и стал заместителем министра внутренних дел. В 1951 г. его арестовали. Павел принадлежал к тем немногим, кто, несмотря на бесчеловечные методы допросов, не признался в приписываемых ему преступлениях, а потому его не могли использовать ни в одном из инсценированных процессов. На совести Павела были, конечно, нарушения законности в период с февраля 1948 г. до ареста. Но зато Павел хорошо знал аппарат госбезопасности, его методы и персонал, так что его невозможно было обвести вокруг пальца. Исходя из того, что я знал о нем, я был уверен, что его опыт послужил ему уроком и что многие свои взгляды он изменил не только на словах, но и на деле.

Я попросил вызвать Коуцкого из зала заседаний и предложил ему кандидатуру Павела. Коуцкий сказал, что вынесет это на обсуждение политбюро. Как далее проходило обсуждение, выступил ли с этой кандидатурой кто-либо еще, кто был за, кто против — мне неизвестно. Но Павел был назначен министром внутренних дел. Он не только сохранил независимость от Дубчека, Черника и Кольдера, но и не обладал необходимой с точки зрения Москвы "квалификацией", поскольку не принадлежал к сети советских агентов в Чехословакии. На посту министра

внутренних дел Павелу было нелегко. Но, насколько мне известно, он вел себя именно так, как я предполагал: немедленно начал готовить широкую чистку аппарата госбезопасности, скрупулезно соблюдая при этом закон, и иногда заходил так далеко, что даже мне это казалось чрезмерным.

Так после совещания политбюро ЦК КПЧ с советским политбюро в Чиерне на Тиссе я оказался свидетелем, как Черник по телефону просил Павела конфисковать последний номер журнала "Репортер". К утру этот номер уже должен был появиться в киосках, а там была напечатана карикатура, которая вызвала гнев Брежнева (его уже информировали об этом), а ведь именно в Чиерне на Тиссе чехословацкое руководство обещало советскому, что положит конец "полюемике". Йозеф Павел отказался выполнить указание Черника, сославшись на отсутствие соответствующего закона. Черник возмутился, но Павел спокойно ответил:

— Для выполнения этого распоряжения, товарищ председатель совета министров, ищи другого министра внутренних дел.

И положил трубку.

Я сказал тогда Павелу, что в такой ситуации можно было бы и выполнить указание Черника.

— Возможно, — ответил Павел. — Но тогда пусть он пошлет туда своих людей, а не полицию. А если я уступлю раз, уступлю два, то мы вернемся к тому, что уже было. Тогда тоже все начиналось с чрезвычайных мер, а потом стало нормой.

Я вспомнил тогда, как я сам двенадцать лет назад отказался выполнить указание генерального прокурора, поскольку оно противоречило закону, и то, чем это тогда кончилось. Я рассказал об этом Павелу и добавил, что сейчас такой конец оказался бы несчастьем, поскольку на карту поставлено многое и нет смысла оставлять поле боя из-за мелочей.

— Ничего не могу поделать, — ответил Павел. — Пусть такие указания выполняет кто-то другой.

И не уступил.

Среди тех, кого Павел собирался выгнать за нарушения законности, было немало советских агентов. Не удивительно, что вскоре Москва стала нажимать на Дубчека, чтобы прекратить чистку в министерстве внутренних дел. Было предложено отделить министерство внутренних дел от органов госбезопасности,

и Дубчек это предложение поддержал. Партийное руководство навязало Павелу Вилиама Шалговича заместителем министра по вопросам государственной безопасности. Что Шалгович стал еще во время войны агентом КГБ, было известно многим. При обсуждении его кандидатуры на должность заместителя министра внутренних дел кто-то даже обратил на это внимание (я, к сожалению, не помню — кто). Но Дубчек настоял на его назначении. Возможно, он исходил из того, что на этой должности неизбежно должен быть советский агент, и предпочитал, чтобы это был его личный друг, на которого, как ошибочно полагал Дубчек, он может положиться.

Почему Дубчек, который хорошо знал Советский Союз и шел на уступки Москве, все-таки с первых дней своего правления наталкивается на трудности, недоверие и сопротивление Советского Союза? Я думаю, что не из-за политической наивности Дубчека, если под политической наивностью понимать, что Дубчек надеялся на поддержку демократических реформ с советской стороны. Этого Дубчек ожидать не мог. Напротив, он великолепно понимал, в каких вопросах и почему в Москве, Варшаве и Берлине с ним не согласятся.

Мне думается, что в отношениях с Брежневым Дубчек использовал ту же тактику, что и в Чехословакии: он пытался создать условия, в которых Кремль будет вынужден согласиться с его планами и именно в нем увидит гарантию обеспечения советской политики, убедившись, что действия Дубчека оправданы объективно сложившейся в Чехословакии обстановкой. Дубчек рассматривал широкое демократическое движение как фактор, который в конце концов будет способствовать осуществлению его планов: вызовет озабоченность в Москве и в то же время заставит Брежнева признать, что именно Дубчек является гарантией обеспечения советских интересов и что без Дубчека возникшие в Чехословакии проблемы разрешить невозможно.

Дубчек не помышлял о разрыве с Москвой. Такой исход он рассматривал бы как угрозу чехословацкому социализму. И прокламированные им принципы внешней политики, и проведенные Дубчеком кадровые перемены должны были ясно продемонстрировать Москве, что в решающих вопросах на него можно полностью положиться. Дубчек надеялся, что такая позиция предоставит ему более широкие возможности для проведения

самостоятельной политики в том, что ему представлялось первоочередным. Именно поэтому он делал самостоятельные шаги в некоторых программных и кадровых вопросах. В докладах Дубчек иногда позволял себе высказывания, которых, как ему было заведомо известно, Брежнев либо не сделал бы, либо сформулировал бы совершенно иначе. Дубчек назначал на новые должности людей, не согласуя их кандидатуры с Москвой. Но как только он чувствовал, что назревает серьезный конфликт, он менял поведение в соответствии с тайными или явными желаниями Москвы и надеялся, что такие шаги "убедят товарищей".

Почему же тактика Дубчека не увенчалась успехом? На этом мы подробно остановимся в следующей главе.

* * *

Теперь расскажу, что тогда происходило в стране вне правящего круга, который в первые месяцы Пражской весны занимался, в основном, распределением кресел. В чем заключался нажим, общественное давление, о котором я говорил выше, связывая с этим некоторые персональные перемены. Я уже писал, что нажим на власть имущих осуществлялся в форме, неблагоприятной для осуществления плана постепенной демократизации, сформулированного в программе действий КПЧ, тормозил его реализацию. То же можно сказать о политических лозунгах и конкретных требованиях, выдвинутых на новой волне общественной активности. Реализация этих лозунгов и требований привела бы к конфронтации с правящей КПЧ (я имею в виду требования восстановить социал-демократическую партию и преобразовать в политическую партию, которая не входила бы в Национальный фронт, Клуб активных беспартийных /КАН/). Следует, однако, отметить, что значение такого рода тенденций в период Пражской весны было преувеличено и преувеличивается до сих пор радикальными политиками и правого и левого толка. В действительности, не эти требования были определяющими в давлении "снизу" в 1968 г.

Люди интересовались в первую очередь не политическими формами и механизмами демократии, а характером отношений между гражданами и политической властью. Сначала они лишь

робко надеялись, но постепенно поверили, что власть и правительство действительно могли бы стать их властью, их правительством, и что руководители страны искренне интересуются, о чем мечтают люди, что они думают и как работают. Решающим фактором политической жизни постепенно становилось нечто такое, на что профессионалы-политики, разрабатывавшие концепцию политической реформы, не рассчитывали: вера народа в гуманные, демократические идеалы. Эта вера подкреплялась надеждой, что коммунисты-реформисты эти идеалы реализуют.

В январе 1968 г., сразу после отставки Новотного, люди лишь с любопытством ждали, что "они" предпримут далее. Почти никто не верил, что случится нечто значительное, что в жизни людей наступит перелом, поскольку происходящее воспринималось как "борьба на верхах". Члены партии реагировали на перемены в верхушке сильнее, но все-таки и они, рядовые члены партии на фабриках и в городских организациях, не сознавали полностью значения этих событий.

Однако через несколько недель положение резко изменилось. В печати, по радио и телевидению стали раздаваться непривычно смелые слова. Вначале люди выжидали, чем это кончится. Но цензура не вмешивалась, Центральный комитет КПЧ не собирался, чтобы наказать журналистов и объяснить, что они делают нечто, в интересах "народа и рабочего класса" совершенно недопустимое. Напротив: Дубчек выступил на съезде сельскохозяйственных кооперативов и говорил там не только об удобрениях, о производительности труда, о кукурузе и поголовье скота, но и о "самореализации человека". Началась открытая критика не только организаций коммунального обслуживания, но и методов партийной работы, работы профсоюзов, органов государственной безопасности и юстиции, — и в результате были отозваны с постов несколько секретарей ЦК КПЧ и функционеров Центрального совета профсоюзов, а также министр внутренних дел и генеральный прокурор. На открытых партийных собраниях люди все чаще выступали не для демонстрации "единства трудящихся", а чтобы высказать собственное мнение, собственные предложения. Одно из таких массовых собраний приняло решение, что Антонин Новотный должен уйти с поста президента. И это собрание не было разогнано полицией, его не осудило "Ру-

де право”, более того — собрание транслировалось по радио. И вдруг сказка стала былью: через восемь дней Новотный подал в отставку.

Это произошло в первый день весны — 21 марта 1968 г. С этого дня весна в Праге началась не только по календарю и даже не только в политическом, но и в гуманитарном смысле этого слова — люди снова начали верить в свою значимость, в то, что их судьба зависит от них, что они могут влиять на дела общества.

В повседневной жизни все чаще проявлялись черты, характерные для судьбоносных моментов истории народа. На смену многолетнему отчаянию пришла радость. Эта радость была вызвана ликвидацией гнета, опьянением первых дней свободы, надеждой, что возврата к старому нет. Это уже не политика, это уже не дебаты о политических концепциях, о формах и механизмах демократического правления — простые люди почувствовали, что их жизнь меняется и изменения эти — к лучшему.

В то время, как в верхах коммунисты-реформаторы и коммунисты-демократы боролись с коммунистами, думающими и чувствующими только в рамках тоталитарных установок, и с советскими агентами в партийном аппарате, в Пражской весне набирал силу новый фактор: надежда народа. Именно этот фактор с марта по июнь играл решающую роль в общественной и личной жизни людей, причем личное переплеталось с общественным. Эти новые надежды создали в стране праздничную обстановку — во имя лучшего завтра, которое, собственно, уже наступило, народ был готов великодушно простить власти старые кривды.

В калейдоскопе надежд и стремлений можно все-таки выделить экономические, общественные и политические интересы различных слоев и социальных групп. Рабочие стремились к повышению уровня жизни. Для них надежда на улучшение удовлетворения материальных потребностей была одним из важнейших стимулов, который указывал, в частности, на то обстоятельство, что Чехословакия вступила в потребительскую стадию развития общества. Кроме того, различные слои, исходя из своих групповых интересов, стремились к большему участию в процессе принятия политических решений. Как рабочие, так и интеллигенция, считали, что при Новотном степень их влияния на управление общественными делами была неудовлетворительной. Но в стрем-

лениях этих групп, проявившихся в 1968 г., прежние классовые противоречия и антагонизм уже не играли роли, поскольку они базировались на новой реальности, которая возникла после 1948 г. В политической сфере прежде всего прозвучали требования соблюдения гражданских и политических прав, которые понимались как в странах плюралистической демократии. Это определило атмосферу первых месяцев Пражской весны. Но уже тогда действовали и другие факторы.

Государство осталось таким же государством, как и прежде. На верхах произошли кадровые перемены, но парламент по-прежнему оставался органом с фактически назначенными депутатами, поскольку выборы не были свободными. Аппарат управления, органы государственной безопасности и дискредитированная юстиция были прежними. И все-таки люди отдавали в "золотой фонд" государства обручальные кольца и семейные драгоценности. Почему?

КПЧ осталась партией, которая монопольно правила в стране на протяжении двадцати лет. В руководстве, правда, оказались новые люди, но большинство их несколько месяцев назад в сознании окружающих ничем не отличались от других представителей партийной верхушки. Партия декларировала новую программу — но сколько программ уже было прежде? Если бы всего на полгода ранее были проведены действительно свободные выборы, то компартия не могла бы рассчитывать даже на голоса всех своих членов. А сейчас совершенно беспристрастные опросы общественного мнения показывали, что политику партии поддерживает 75% населения, причем 25% — безоговорочно. Чем же все это объяснить?

Для чехов и словаков социализм — не абстрактное понятие. В 1968 г. они приветствовали конец двадцатилетнего периода, предшествовавшего Пражской весне. И все же 80% населения поддерживало социализм. Можно сказать, что предпочтение социализму отдавалось ради уверенности в завтрашнем дне, из-за заинтересованности, чтобы и в дальнейшем государство заботилось о жизненных потребностях граждан и т.д. Но куда вдруг исчезло недовольство широких масс по поводу тысяч и тысяч недостатков повседневной жизни, которые люди привыкли связывать с "социализмом", знакомым им на собственной шкуре? И, наконец, ведь эти же самые люди совсем иначе вели себя всего полгода назад. Ведь никто не заменил народ Чехословакии.

Ведь это те же самые люди, которые еще недавно заботились прежде всего о своих личных делах, старались заработать, обмануть государство, думали одно, а говорили то, что надо, хотя для видимости ходили на собрания и демонстрации. И ведь это тот же самый народ, который два года спустя опять будет вести себя точно так же — но этого в период Пражской весны люди не могли даже предположить. Как объяснить это уникальное явление?

Мне думается, что на это есть только один ответ: поверив своим надеждам, люди отдали предпочтение ценностям гуманизма и демократии, которые на протяжении многих поколений зрели и формировались в народе как ценности не только политические, а прежде всего нравственные. Это составляло систему ценностей, вдохновлявших носителей национального возрождения и в прошлом веке, далее эти ценности развивались в борьбе с Австро-Венгрией за национальную независимость, их культивировал и на них строил чехословацкое государство Т.Г. Масарик. Система ценностей демократии и гуманизма проявилась в культуре и политике первой Чехословацкой республики. В период нацистской оккупации она была разбита насильем, но после победы снова воскресла. Пришедшая к власти в 1948 г. тоталитарная диктатура КПЧ, с одной стороны, душила эту систему ценностей, с другой, — демагогически, но без успеха пользовалась ей. И вот весной 1968 г. она с новой силой проявилась на политической сцене.

Как это ни кажется на первый взгляд странным, в Чехословакии годы сталинизма лишь укрепили в сознании людей те ценности и идеалы, которые власть всячески пыталась уничтожить, поскольку эти годы наглядно показали, к чему приводит попрание ценностей демократии. Это был опыт сталинщины, который и коммунистов-сталинцев привел к реформистскому коммунизму. В народном сознании ценности демократии и гуманизма были реабилитированы задолго до 1968 г., большинство всегда руководствовалось этими ценностями в личной жизни.

Жить в страхе, действуя, как надо, а не так, как считаешь правильным, трудно и индивидууму, и группе людей, и народу. Поэтому воскрешением кажется само избавление от такого страха. А тот, кто помог избавиться от страха, приобретает доверие, дружбу и поддержку. В этом ключ к объяснению успеха коммунистов-реформистов в период Пражской весны и легендарной

роли Александра Дубчека, а не в программах реформы или ее осуществимости.

Пражская весна освободила чехов и словаков от страха; для этого не было необходимости в комплексном преобразовании политической системы. Для этого не нужно было разрабатывать концепции перемен, не требовались немедленные кадровые перемены в массовом порядке.

Оказалось достаточным потрясения структуры власти и замены нескольких членов руководства, чтобы настали кардинальные перемены и на время парализовался механизм диктатуры. Оказалось достаточным позволить свободно высказывать взгляды — на собраниях, в печати, по радио и телевидению. Уже одно это освободило людей от страха.

Весной 1968 г. демократическое, гуманитарное, освобожденное от страха сознание народа стало главным фактором Пражской весны. С апреля по июнь этот фактор играл решающую роль. Но в июле раздался новый голос — выступил Кремль в сопровождении хора остальных стран-участниц Варшавского договора. Возникла опасность, что свобода от страха может оказаться недолговечной, что страх готовится к наступлению. Это сознавал не только народ, но и коммунисты-реформисты как часть народа. За прошедшие месяцы они стали единым целым и все яснее понимали это. Постепенно доверие народа к коммунистам-реформистам переросло в предоставление им доверенности или, как тогда говорили, мандата.

Становилось все более очевидным, что одной свободы от страха недостаточно, что свобода от страха сама по себе не может преодолеть всех препятствий на пути к демократии и свободе. Создавшееся драматическое положение было чревато новой трагедией. Но было упущено время для переделки сценария и замены негодных актеров.

Как это сказалось на поведении власть имущих?

В компартии происходила все большая дифференциация. Она затрагивала не только коммунистов-реформистов и консервативных коммунистов. Рядовые члены партии тоже определяли свою позицию к тому, чего требовал народ. Отправным пунктом стал отказ или принятие системы гуманистических, демократических ценностей как основы социалистического общества. Проблема приобрела морально-политический характер, я сказал бы более моральный, чем политический. Коммунисты — часть наро-

да, и всенародное движение захватило их так же, как и других граждан. На суд их совести была вынесена коммунистическая идеология и их политическое прошлое. Речь шла не о рациональном политическом расчете, — на передний план выступили чисто человеческие глубинные ценности.

Реформа тоталитарной диктатуры, которую начали сами коммунисты, переросла таким образом в широкое общественное движение с сильным нравственным зарядом. Это движение вызвало перегруппировку коммунистов, уже прежде разделившихся на два лагеря. Большинство слилось с всенародным движением, признав его нравственную силу. Многих из них позже, в условиях насилия и страха, вызванного советской оккупацией, властям удалось сломить, как, впрочем, и многих беспартийных. Некоторые даже приняли участие в "нормализации". Я опять-таки говорю и о коммунистах, и о беспартийных. Но во время Пражской весны лишь незначительная часть коммунистов отвергла ценности всенародного движения. Поскольку в столь остром политическом конфликте нейтральным быть невозможно, эта группа заняла позицию, откровенно враждебную демократизации. То, что обнаружилось в первые дни советской оккупации, зрело с мая до июля 1968 г. Военная оккупация внесла лишь некоторые коррективы в этот процесс, но только незначительное меньшинство чехословацких коммунистов по различным причинам сохранило верность самодержавному сталинскому деспотизму и отвергло демократические ценности, дорогие всему народу. Это меньшинство — советская агентура в Чехословакии, и не столь уж важно, было ли оно частью сети КГБ в стране. Среди них оказались и беспартийные — люди известные (как отец Плойгар) и неизвестные.

В определенном смысле Пражская весна была "часом правды", хотя не все, кто действовал в эти месяцы в соответствии с демократическими принципами народа, сохранили им верность и позже. Но все-таки, когда народ освободили от страха, подавляющее большинство присягнуло этим принципам. Эти месяцы стали "часом правды" и потому, что они продемонстрировали готовность народа принять социализм демократический и гуманный, но не тоталитарную диктатуру, которую просто назвали социализмом. Такую же позицию заняло большинство тогдашних членов правящей партии. Руководствуясь собственной

логикой, московские правители решили предотвратить назревающую катастрофу военным вмешательством.

* * *

Чехословацкое руководство вместе со всей партией вынуждено было занять определенную позицию по отношению к тому, что стихийно происходило в стране. Эта позиция зависела от отношения того или иного руководящего партийного работника к "процессу возрождения", как тогда говорили. Поскольку в этом процессе поднимались вопросы не только политического, но и нравственного характера, то и в верхах выбор позиции обуславливался личными качествами человека. Во многих случаях эти личные моральные качества сыграли решающую роль.

Обстановка, в которой нужно было приступить к реализации политических реформ, оказалась очень сложной и противоречивой.

В апреле-мае раскололась первоначальная тройка — Дубчек, Черник и Кольдер.

Авторитет Александра Дубчека в эти месяцы укреплялся с космической скоростью. Это было неожиданностью не только для окружавших его в Праге людей, но и для Москвы. И, действительно, было чему поражаться: первый секретарь компартии после того, как эта партия на протяжении двадцати лет диктаторски правит в стране, становится героем всенародного движения за демократию и человечность. Такого еще не было в истории коммунистического движения.

Есть несколько объяснений, почему Дубчек приобрел такой авторитет. По мнению некоторых, это произошло потому, что представители самых различных тенденций — как противники, так и приверженцы демократической реформы, — считали наиболее целесообразным с политической точки зрения декларировать свою преданность лично Дубчеку. Это было удобнее, чем поддерживать Программу действий КПЧ, это не связывало руки, было популярным и соответствовало стихийному желанию людей отождествлять политическую программу с определенной личностью. Поэтому авторитет Дубчека укрепляли представители самых противоположных взглядов в надежде, что именно им удастся использовать его авторитет в своих целях.

Но это объяснение недостаточно для понимания роли, которую Дубчек играл во время Пражской весны. Полного объяснения не дают и выступления самого Дубчека. Они, главным образом по форме, довольно необычны, но по содержанию не очень отличаются от тогдашних выступлений других политических деятелей. Ведь выступления Дубчека, как и выступления руководящих деятелей до и после него, писали и пишут помощники, "рабочие группы" или другие политические работники (многие разделы были написаны мной).

В этих "рабочих группах" сидят представители различных тенденций, так что в текстах, которые получал Дубчек, различные точки зрения были более или менее сбалансированы.

Быть может, росту популярности Дубчека способствовало то, что печать и телевидение освещали его личную жизнь, показывая, например, как он прыгает с вышки в бассейн? Быть может, людей очаровала его улыбка? Все это действительно сыграло определенную роль. Ведь на протяжении многих лет руководители представляли перед людьми лишь как безликие бюрократы. И все же суть была не в улыбке. Если бы все зависело от улыбки, то любимцем народа стал бы Честмир Цисарж. Он улыбался, как на рекламе зубной пасты.

Поэтому только улыбкой роль, которую Дубчек играл во время Пражской весны, объяснить невозможно.

Я вижу причину поддержки, которую народ оказывал Александру Дубчеку, в другом: Дубчек верил в свои идеалы. Он был верующим правителем, и в момент, когда народу необходима была вера, люди это безошибочно почувствовали. О том, что народ обрел веру, знал, в свою очередь, и Дубчек. Он доверял людям, доверял глубоко и искренне. И они платили ему тем же. Во что в той или иной ситуации верил Дубчек, а во что — народ, было не так важно, как сам факт веры. После десятилетий господства цинизма и наигрыша искренность Дубчека была особенно важна, тем более для такого народа, который веру возвел в ранг высших нравственных ценностей.

Только осознав этот факт, можно понять значение других, второстепенных факторов и личных качеств Дубчека. Дубчек не был авторитарной личностью, и это было видно во всем. Выступая перед людьми, он чувствовал себя неуверенно, волновался, но от этого еще больше росли его популярность и авторитет. Он не был оратором, который умеет захватывать массы, но в круж-

ке из нескольких человек слушатели оказывались полностью в его власти. Дубчек умел и слушать. Он слушал с интересом, он готов был принять идеи собеседника, если тому удавалось доказать правильность своей позиции. Даже если Дубчек не изменял свою точку зрения, что случалось довольно часто, поскольку переубедить его было нелегко, он не подчеркивал и не афишировал этого. Мне думается, что из всех партийных руководителей того времени Дубчек был наименее авторитарной личностью.

Человеческие качества Дубчека определяло его отношение к власти. Она не вскружила ему голову, он не злоупотреблял властью ради собственной выгоды и, что, пожалуй, самое важное, он не считал, что только обладая властью можно реализовать коммунистические идеалы. Дубчек искренне верил в коммунизм и считал себя марксистом-ленинцем, но он не верил в могущество насилия и авторитарной власти. Дубчек принимал сформулированные в брошюрках по марксизму-ленинизму тезисы о классовой борьбе в одной стране и в мировом масштабе, однако признавал необходимым насилие только для защиты коммунистических идеалов, но никак не для осуществления этих идеалов, т.е. для построения коммунизма. В каждом конкретном случае, если только речь шла не о действиях классового врага, Дубчек отказывался прибегать к насилию, использовать предоставленную ему власть для навязывания окружающим своих идеалов, своих гипотез и представлений.

Если кто-нибудь когда-нибудь сказал бы Дубчеку, что он ведет себя не по-ленински, а по-масариковски, Дубчек наверняка бы возразил. Отчасти он был бы прав, поскольку Дубчек не был гуманистом масариковского толка. И все же в определенной обстановке общая идеологическая установка человека теряет свое значение, и важной становится его позиция по ряду конкретных вопросов. Отношение Дубчека к насильственным, диктаторским методам управления соответствовала демократической и гуманистической традиции народа Чехословакии и традициям Масарика.

Символом Пражской весны Дубчек стал не случайно: его лидерство обусловили его качества человека и политика. В определенном смысле назначение Дубчека первым секретарем ЦК КПЧ было большой удачей, поскольку политику реформы подкрепил его личный авторитет, какого не было у других партий-

ных руководителей. Этим, однако, ограничивалось положительное влияние Дубчека на проведение реформы. Во всем остальном его роль была менее благоприятной, а иногда просто отрицательной.

Сам Дубчек, по-моему, вообще не понимал своего значения. В этом-то и заключалась проблема. Он не понимал также, стечению каких обстоятельств он обязан своей огромной популярностью, и верил, что она вызвана всенародной поддержкой его политической концепции. Иными словами, Дубчек был прав, считая, что народ верит ему, но он был не прав, считая, что народ верит марксизму-ленинизму. По мере возрастания популярности Дубчека и доверия ему лично, он стал переоценивать свои политические возможности. Дубчеку казалось, что, опираясь на огромную популярность и доверие народа, он запросто сможет преодолеть и такие препятствия, устранение которых требовало обдуманных политических мер. Так, например, ничем не обоснованная переоценка собственных возможностей в конфликте с Кремлем основывалась на убежденности Дубчека, что его авторитет в народе будет и для Брежнева достаточным доказательством, что Чехословакии не угрожает "контрреволюция".

У Дубчека были не только положительные качества, но и недостатки. Прежде всего, он был нерешительным. Он оттягивал принятие решений даже тогда, когда необходимо было реагировать немедленно. Эта черта была оборотной стороной стремления Дубчека "убедить товарищей". В ряде ситуаций, когда уже были известны все "за" и "против" и когда решение зависело только от него, Дубчек все еще колебался. Поэтому часто решения принимались без него и не те, которым бы он отдал предпочтение. В таких случаях ему не оставалось ничего другого, как принять эти решения к сведению и подчиниться новым обстоятельствам.

В период Пражской весны народ видел в Дубчеке символ великих идеалов демократического социализма. В действительности же он был прежде всего главой могущественного политического аппарата, в рамках которого он старыми методами проводил свою личную политику, нерешительно лавируя не только между различными группами в КПЧ, но и в конфликтах между Москвой и КПЧ. И все же ореол Дубчека оказался решающим фактором, так что даже противники реформы не только не ос-

меливались выступить против Дубчека, а напротив, всячески старались перетянуть его на свою сторону.

Василь Биляк постоянно утверждал, что Дубчек стал жертвой "антисоциалистических сил". На заседаниях политбюро Биляк неоднократно пытался убедить Дубчека, что эти "силы" его обманывают, предают, применяя тактику "с Дубчеком против Дубчека", тогда как он, Биляк, его искренний сторонник. Время от времени подобную позицию занимал также Кольдер. Только когда не помогали такие приемы, стали прибегать к критике. Эмиль Риго, выступая в политбюро как "представитель трудящихся" (он был секретарем парткома железоплавильного комбината в Восточной Словакии), утверждал, что "простые люди" говорят о "культе личности" Дубчека. Риго наиболее активно поддержали Биляк и Кольдер. Дубчек, однако, не был настолько наивен, чтобы считать их выпады "товарищеской помощью".

Второй член первоначальной тройки — Ольдржих Черник — не был, в отличие от Дубчека, харизматическим вождем. Не был он и "политическим трибуном". Но за апрель-май 1968 г. он вырос в весьма популярного политика. Он был рациональным прагматиком; не идеологом, не агитатором, а менеджером. Деловитость и культивированная форма выступлений Черника вызывали доверие к нему. Черник был бы великолепным главой любого правительства, разумеется, за исключением тоталитарного, которое вообще исключает из политической жизни такие качества как рациональность, прагматизм и деловитость. Не удивительно, что при тоталитарном режиме Новотного Черник оказался в ряду сторонников рациональных и демократических реформ. Он выступал за демократию, потому что считал демократическую систему более рациональной и эффективной. Он был умным и талантливым организатором и понимал, что способный человек хочет проявить себя и занять место в обществе в соответствии со своими способностями. Это и определяло его отношение к демократии, к гражданским правам.

Но неверно было бы рассматривать поддержку, которую Черник оказал демократической реформе 1968 г., только как решение технократа, не интересующегося иными аспектами демократии. Черник был сторонником демократического развития, потому что понимал, каким нравственным зарядом обладает всенародное демократическое движение. И когда нравственные моменты стали играть важнейшую роль в политической жизни

страны, Черник вел себя соответственно. В это время сотрудничество Черника и Дубчека еще более укрепилось. Политически это было на руку Чернику, так как приобщало его к харизматической фигуре Дубчека. Но действия Черника не были обусловлены только этим. В те месяцы он уже был целиком на стороне реформы.

В июне 1968 г. я как-то возвращался с Черником из Братиславы. Мы остановились в одном из замков Южной Моравии. Это было в воскресенье, в парке вокруг замка было полно людей. Многие здоровались с нами, иногда мы с кем-то останавливались, Черник подал мяч ребенку — ну, просто сцены для кинохроники. Черник был растроган, ему было хорошо. Но вел он себя совершенно не так, как вел себя в подобных ситуациях Дубчек. Дубчек в такие минуты просто развлекался, общался с людьми без какой-либо задней мысли. Черник же прекрасно сознавал значение такого рода контактов с народом для своей политической репутации, хотя внимание людей, их доброжелательное отношение к нему искренне радовали его.

Когда мы сошли с людной дороги и остались наедине, Черник неожиданно сказал:

— Посмотри: все, что мы видим здесь, это наследие феодалов, эксплуататоров. И все же это представляет собой огромную ценность для народа. Владельцы этих замков как бы увековечились в них. Думаешь, что и от нас останется что-то?

Чем было вызвано такое отношение к феодалам и владельцам замков? Мне думается, на этой воскресной прогулке Черник сам для себя открыл, что он — правитель среди подданных. Это по-своему характеризует и демократизм Черника: рациональный, в какой-то степени даже аристократический демократизм, а потому сентиментальный и уж совсем не бескорыстный.

За годы работы в политических аппаратах Черник научился, как следует вести себя в мире власть имущих, как добиваться успеха. Он и в период Пражской весны проводил свою личную политику, назначая близких ему людей на ключевые должности в правительственном аппарате. Его назначения, однако, были намного удачнее дубчековских. Черник был более решительным, чем Дубчек; он быстрее занимал четкую позицию, но и вел себя более авторитарно, чем Дубчек. Мне думается, что Черник, как и Дубчек, не был заморожен доставшейся ему властью. Он расценивал ее деловито и рационально, как средство достижения

определенной цели. Черник не был также идеологическим фанатиком, стремившимся осчастливить людей даже против их воли. В то же время он готов был применять власть не только чаще, чем Дубчек, но и в таких случаях, когда Дубчек либо колебался, либо отказывался воспользоваться ею вообще. Черник не верил в силу добрых намерений и убеждений, а потому различал опасность уже тогда, когда Дубчек все еще питал надежду, что ему удастся "убедить товарищей".

Дубчек с Черником могли великолепно дополнять друг друга. К сожалению, их сотрудничество не выдержало испытания советской оккупацией, но об этом мы будем говорить позже. Однако даже в то время, когда Дубчек с Черником действовали сообща, Черник не мог полностью нейтрализовать недостатки Дубчека, поскольку он был главой правительственного, а не партийного аппарата, и не решал конфликты, возникавшие по партийной линии.

Третий член триумвирата — Драгомир Кольдер — весной (в апреле-мае) 1968 г. оказался на совершенно иной политической платформе, чем Дубчек и Черник. Всенародное демократическое движение размыло у него под ногами почву. Кольдер осознал, что его перспективы на верхах весьма и весьма туманны, а потому выбрал иной путь.

Кольдер, в прошлом остравский рабочий, в политическом аппарате работал со своих тридцати лет. В 1961 г. он стал членом политбюро; на протяжении некоторого времени ему протезировал сам Новотный. Во многом Кольдер был близок Новотному, он относился к тому типу партработников, которым "партия дала все". Кольдер получил партийное образование (курсы партпросвещения), его общественное положение было завоевано преданностью партии, ее официальной идеологии и ее политической практике. На протяжении многих лет работы в аппарате Кольдер занимался экономическими вопросами, хотя не имел для этого соответствующей профессиональной подготовки. Его позиция на верхах зависела прежде всего от того, насколько успешно он разбирался в соотношении сил в самом аппарате.

Я познакомился с Кольдером до 1968 г. По-своему, он был искренним человеком и в соответствии с его системой ценностей — честным. Когда он полагал, что в чем-то политика партии ошибочна и вредна, он занимал соответствующую позицию и был

готов защищать ее. Ценностям Кольдера противоречили, например, инсценированные политические процессы 50-х годов. Поэтому, став при Новотном председателем "реабилитационной комиссии", Кольдер сделал многое, чтобы продвинуть решение этой болезненной для Новотного проблемы как можно дальше. Известно также, что Кольдер лично помогал многим репрессированным, главным образом тем, кого тогда, в начале 60-х годов, продолжали незаконно держать в заключении.

Кольдера нельзя назвать не только масариковским гуманистом, но даже демократом. Это был типичный простолюдин. Грубо примитивное плебейство Кольдера не было позой, он действительно сводил человеческие потребности прежде всего к материальным. Что же касается духовных ценностей, то Кольдер признавал лишь те, которые были ему понятны — а это было не так уж много. Ко всему, что выходило за эти строго очерченные рамки, он относился нетерпимо, и никогда не проявлял уважения, с которым простые, необразованные, но не грубые люди относятся к интеллекту.

Как-то еще при Новотном Кольдер поехал во главе делегации КПЧ во Францию. Наибольшее впечатление на него произвел огромный парижский универмаг — он внимательно обошел все этажи. Вечером в чехословацком посольстве Кольдер лечил свой шок коньяком и, совершенно напившись, сказал:

— Это просто ужасно, чего мы лишили наших трудящихся! Разве они не заслуживают того же?!

Кольдер был совершенно искренним. Именно такого рода стимулы, а не теоретические выкладки Шика, сыграли главную роль в решении Кольдера поддержать экономическую реформу.

В историческую ночь, когда советские военные самолеты кружили над зданием ЦК КПЧ, а политбюро обсуждало свою позицию по отношению к советской оккупации, Кольдер неожиданно произнес:

— Мы здесь болтаем, взвешиваем, какими словами осудить Советы, а в Острове наши бабы уже е...ся с ними!

Кольдер наверняка так и думал тогда. Он не понимал, что в ту ночь даже самая последняя девка в Чехословакии не пошла бы с русским солдатом, потому что ее нравственные принципы были выше морали члена политбюро Кольдера. Правда,

уличные женщины не исповедовали теории "пролетарского интернационализма", с помощью которой Кольдер обосновывал свою позицию. В отличие от Якеша и, по всей вероятности, Биляка, Индры и др., Кольдер не был советским агентом в КПЧ. Его переход на сторону антиреформистов, на службу Москве был результатом самостоятельного решения, обусловленного его политической позицией и его личными качествами.

Распространено мнение, что люди типа Кольдера, выступили против демократической реформы, чтобы сохранить собственное привилегированное положение и высокий уровень жизни. Мне думается, что такая теория всего объяснить не может. Ведь власть развращала всю верхушку, а не только тех, кто выступил против реформы.

Привилегии, связанные с пребыванием на верхах, всегда значительны. Я знал об этом и до того, как сам приобщился к верхушке. И все же меня поразили будни на Олимпе.

Если говорить о финансовой стороне дела, то я как секретарь ЦК КПЧ получал 14.000 крон в месяц (из них 8.000 — зарплата после вычета налогов, а 6.000 — специальный, не облагаемый налогами фонд на расходы, связанные с выполнением обязанностей секретаря ЦК). Эта сумма приблизительно в 10 раз превышала среднюю зарплату и была приблизительно в 3 раза выше моего заработка в Академии наук. Такую зарплату, какую я получал в Академии, в ЦК КПЧ имели мои помощники в секретариате. При этом моя зарплата секретаря ЦК КПЧ была ниже зарплаток тех секретарей, которые были членами политбюро. Первый секретарь ЦК КПЧ, председатель правительства и председатель Национального собрания получали в месяц по 25.000 крон.

Вначале я считал, что из суммы, предназначенной "на расходы, связанные с выполнением обязанностей", я и должен их оплачивать. Это, однако, оказалось не так. Закуски, напитки, сигареты, подававшиеся на совещаниях в моем кабинете, оплачивались из других фондов, выделенных на канцелярские расходы. Что же касается проездных расходов, то таких, собственно, у меня вообще не было, поскольку все секретари ЦК КПЧ имели в своем распоряжении служебные машины, которыми могли пользоваться не только для служебных, но и для личных целей.

Когда я в моей новой должности приехал на завод (кажется,

это было в г. Брно), то, уезжая, обнаружил на заднем сиденьи моей машины какие-то пакеты. Я подумал тогда, что шофер, дожидаясь меня, купил что-то, и спросил, что он достал в городе. Но шофер ответил, что это — подарки мне от директора завода. В коробках были какие-то рюмки и деревянная статуэтка оленя — подарки, рассчитанные на приверженность начальства социалистическому реализму и страсть к охоте — неизменные привычки партийных деятелей прошлых лет. Это были маленькие подарки, оплаченные директором завода из такого же "фонда на расходы, связанные с исполнением обязанностей".

Постепенно передо мной все больше раскрывались секреты повседневной жизни элиты. Достаточно было утром сообщить помощнику или секретарю все, что надо устроить (купить костюм, или что-то, что можно достать только в Париже), и все. Остальное было делом либо директора "Дома моделей" в Праге или чехословацких послов в различных странах мира. За заказанные предметы, правда, нужно было платить, но и тут существовал ряд возможностей, как предоставить привилегированным еще большие выгоды: директора производственных предприятий считали для себя честью послать свое изделие "товарищу секретарю". Качество этого изделия было исключительно высоким, но оплачивалось оно по себестоимости. Разумеется, что те, кто доставал эти редкие изделия для "товарищей секретарей", доставал одновременно что-то и для себя, и тоже по себестоимости.

Жил я в многоквартирном доме, отказавшись переехать в особняк. Поэтому я продолжал оплачивать свою квартиру. Но можно было переехать в дом ЦК КПЧ, в котором квартплата была символической. Все остальные расходы по содержанию дома оплачивал ЦК. Как секретарь ЦК КПЧ я имел право на дачу. Это был особняк на берегу реки Орлик в огороженном и охраняемом поселке. Это стоило, как мне помнится, 290 крон в квартал, то есть приблизительно столько, сколько рядовой гражданин платил бы в то время за аренду небольшой лесной избушки (с нарами без воды и туалета) на две недели.

Все перечисленное мной следует отнести к наиболее бросающимся в глаза благам власти имущих. Но кроме того существуют неосязаемые преимущества влияния, что убирает тысячи препятствий, с которыми ежедневно сталкивается простой чело-

век, тратящий массу энергии на их преодоление. Власть имущие не страдают от недостатков социалистического здравоохранения — для них устроены специальные поликлиники и больницы, в которых секретарям ЦК предоставляются апартаменты с приемной, с телевидением. К ним привозят светил со всех концов государства, для них достают недоступные другим иностранные лекарства. В правительственных больницах могут лечиться и члены их семей.

Этими благами пользуются все, оказавшиеся на верхах, без каких бы то ни было злоупотреблений служебным положением. А власть дает возможность при желании получить и дополнительные привилегии. Привилегиями пользовались и ими злоупотребляли также при Дубчеке. Правда, зарплаты стали ниже, чем при Новотном. Кроме того, Дубчек ликвидировал и так называемые "пакеты", в которых Новотный регулярно по своему личному усмотрению раздавал членам политбюро и секретарям десятки тысяч крон.

Я получал зарплату секретаря ЦК КПЧ всего шесть месяцев и большую часть клал на книжку. Когда в январе 1969 г. я перешел на работу в Национальный музей, где получал 2.050 крон в месяц, то мои сбережения позволили мне прожить целых три года. А сколько же было сбережений у тех, кто получал такую зарплату не месяцы, а годы? До сих пор мне трудно представить, что они с этими деньгами делали. Ведь в Чехословакии нельзя заниматься предпринимательской деятельностью, нельзя вкладывать деньги в предприятия или бумаги, короче, невозможно превратить бумажные деньги в капитал. Многие, правда, обеспечив себя особняком, машиной, предметами роскоши и искусства, обеспечивали детей и родственников тем же — покупали новые особняки и машины. И это становилось целью жизни лидеров коммунистической партии!

Можно, конечно, предположить, что люди, привыкшие к столь благополучной жизни, боятся потерять место на верхах. Я по собственному опыту знаю, как быстро, всего за шесть месяцев, я привык к привилегиям и стал воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Это не значит, что, желая сохранить привилегии, я готов был изменить свои взгляды, но при этом я вынужден признать, что я не выступил бы с инициативой ликвидировать правительственные больницы, хотя считал их одной из

форм коррупции власть имущих. Привилегии развращают людей всегда, тем более, когда они сочетаются с властью. Но насколько тот или иной человек развращается привилегиями, зависит уже от его нравственных устоев, сложившихся еще до того, как он попал в мир власть имущих.

Среди партийных руководителей я различал два типа людей, развращенность которых достигла такой степени, что в своих действиях они руководствовались только стремлением сохранить привилегии. К первой группе относились люди рациональные, понимавшие, что такое мораль, и то, что они сами уже перешли границу допустимого. Это были циники. Ко второй группе относились люди совершенно иного типа — простолюдины. Таких привилегии полностью подчиняли, но поскольку они и до прихода к власти не имели никакого представления о морали, то отдались коррупции искренне и естественно, без цинизма. Они даже не считали себя подкупленными. Напротив, они были совершенно убеждены, что ведут себя честно. В КПЧ простолюдины были, в основном, среди коммунистов старшего поколения. В поколении, наиболее активно проявившемся в 1968 г., преобладали циники.

О Кольдере мы уже говорили, что он был простолюдином. Для него материальные привилегии, несомненно, играли важную роль. Но не только они. Занятая Кольдером позиция соответствовала его самым глубоким убеждениям. Власть, должность, привилегии он рассматривал как подтверждение собственной значимости, подтверждение правильности его жизни. Кольдер относился к людям, которых поднять могла только политическая власть. Без власти он оказался бы на дне. Столпы, на которые такие люди опирались, были вне их; у них не было хребта, не было индивидуальности. И когда Кольдер столкнулся с угрозой лишения этой внешней поддержки, он вернулся к единственной точке опоры, которую знал — к тоталитарной политической власти, оправданной в его глазах "интересами рабочего класса".

Кольдер ощущал глубокую потребность вернуться к тоталитарным принципам; он ощущал ее даже в период, когда для защиты таких принципов требовалось личное мужество. Так, например, на заседании ЦК КПЧ в июле 1968 г., когда было принято решение, что делегация КПЧ не примет участия в Варшав-

ской встрече (на которую Брежнев и лидеры пяти других компартий восточноевропейских стран ультимативно звали делегацию КПЧ), из всех членов ЦК только Кольдер открыто заявил, что, подчиняясь большинству, он тем не менее заявляет, что не согласен с его решением и считает, что прав Брежнев. Человек, мораль которого была ниже морали проститутки, ощущал необходимость защищать принципы "пролетарского интернационализма". Целый ряд причин обуславливает поведение человека, а потому не следует склоняться к упрощенным объяснениям, руководствуясь только симпатиями или антипатиями.

Роль, которую Кольдер играл в политике, изменилась в результате изменения многих внешних обстоятельств. Его все больше и больше критиковали, и ему было не легко оправдаться. Вначале Кольдер был за политику реформ, он даже старался активно поддержать ее. Причина изменения его позиции заключалась не в неспособности Кольдера понять и оценить реформы, а в опасении за собственную судьбу, за свое место в новой политической обстановке. То же можно сказать и о другом члене политбюро Ольдржихе Швестке. Этим Кольдер и Швестка отличались, например, от Василя Биляка, который действительно не мог принять Пражскую весну и поддержать ее. Может возникнуть вопрос, как же после всего написанного мною о Кольдере я продолжаю серьезно говорить о его вкладе в реализацию политической реформы? Разве человек типа Кольдера способен помочь возрождению демократии? И даже, если способен, стоит ли стараться заручиться поддержкой таких людей?

В политике эти вопросы очень важны, и я отвечаю на них утвердительно. Да, Кольдер мог быть полезен, да, стоило привлекать его на сторону реформы. Если бы я придерживался иного мнения, то не стал бы заниматься политикой в Чехословакии ни в 1958, ни в 1968 году. Нет сомнения, что политика и мораль взаимосвязаны. В определенной обстановке решающей может оказаться мораль. В то же время политика — это сфера, в которой важнее позиция того или иного деятеля, чем его личные качества или намерения. Политика — это сфера функционального поведения, функциональных действий, значимость которых в их внешнем проявлении. Связывать же воедино функциональные роли людей и их человеческие, моральные качества, озна-

чает создавать ситуацию, неразрешимую с точки зрения политических целей, соотношения сил и политической тактики. Люди типа Кольдера или Швестки никогда не могли вырасти в высоконравственных политиков и сыграть соответствующие роли. Но для проведения демократической реформы в этом не было необходимости; никто от них такой трансформации и не потребовал бы. Люди типа Кольдера могли помочь уже тем, что не мешали бы.

Разумеется, было бы идеально, если бы все важнейшие политические роли играли созревшие для демократии люди. Но разве это возможно? Разве это было возможно в обстановке, создавшейся после двадцати лет господства тоталитарной диктатуры? Кто на первом, да и на последующих этапах Пражской весны мог занять высокие политические посты? Лишь те, кто еще до возникновения новой ситуации стояли на таких ступенях, с которых они могли сравнительно легко переступить на самый верх. А кто в прошлом стоял на верхних ступеньках? Как показала Пражская весна, на этих ступеньках стояли самые разные по складу люди, и некоторые из них совершенно неожиданно проявили способность к осуществлению перемен. Но далеко не все, разумеется, сочетали политическое умение с высокими моральными принципами.

Даже в действующей демократии, в демократии без тоталитарного прошлого, положение в этом смысле не всегда идеально. Разве при Масарике лидеры политических партий — от аграрной до партии народных социалистов — представляли собой идеальное сочетание политических и человеческих качеств? Разве среди них не было карьеристов, непорядочных и коррумпированных людей? Наверняка были. Но, занимая политические должности в демократическом государстве, они были обязаны подчиняться демократическим принципам управления страной. Политическая система, а не нравственная чистота политических деятелей является гарантией демократии в той мере, в какой политика вообще может влиять на общество, — гарантией реализации идеалов гуманизма.

Я считал и продолжаю считать, что важнейшей нравственной задачей "процесса возрождения" в Чехословакии в 1968 г. была стабилизация основ демократической системы, а не травля отдельных политических руководителей в надежде, что, устра-

нив от власти карьеристов и аморальных политиков, можно будет назначить на их места достойных. Я убежден, что коммунисты-реформисты, занимавшиеся такой травлей, были в большей степени большевиками, чем готовы были признать. Ведь одна из главных иллюзий революций заключается в надежде, что при помощи политики и политической власти, последовательно осуществляя идеалы революции, можно обеспечить победу нравственности на Земле. Чехословацкий опыт стал наглядным примером, к чему такие иллюзии приводят.

Проанализируем подробнее, как в 1968 г. общественность оценивала отдельных политиков. Многие считали неприемлемым наличие в реформистском политбюро Кольдера и Швестки, но полагали необходимым включить в состав политбюро Гусак. А как показал себя Гусак, попав в политбюро? А вот другой пример. В июле 1968 г. на пражской городской партийной конференции один из выступавших обвинял Алойиза Индру, что тот, в бытность секретарем КПЧ в Готвальдове, входил в состав пятерки, то есть органа, который в начале 50-х годов подменял суд и незаконно осуждал людей, иногда приговаривая подсудимых к смертной казни. Индры на конференции не было. Я же участвовал в ней как член делегации ЦК КПЧ. Я знал, что обвинение по адресу Индры не соответствует действительности. Когда Индра работал в Готвальдове, пятерок уже не было вообще. Я попросил слова и сообщил об этом собравшимся. В то время у меня не было никаких иллюзий относительно Индры и его политической ориентации — он выступал против реформы, руководствуясь только московскими директивами. Вечером того же дня Радован Рихта предложил мне взвесить, могу ли я оставаться на своей должности, занимая такую позицию по отношению к Индре. В таком случае, передал мне Рихта, "прогрессивное крыло" в партии меня не поддержит.

Среди "прогрессивных" Рихта был тогда заметной фигурой. Он был идеологом далекого будущего, коммунизма, и научно-технической революции; ему, собственно, и принадлежит лозунг "социализм с человеческим лицом". Это Рихта вложил эти слова в уста Дубчека и в текст Программы действий КПЧ. Мне известно, что тогда многие коммунисты-реформисты без всяких колебаний готовы были назначить Рихту в политбюро — и не только взамен Швестки или Индры, но и вместо меня, "центри-

ста". А как себя повел Радован Рихта в 1969 г.? Он не только испугался, он просто сподличал. Рихта уничтожил людей, которые на протяжении многих лет были его ближайшими друзьями, которые ухаживали за ним, когда он болел туберкулезом, был в опале, не обладал политическим влиянием и считался смертником.

Рассказывают, что в начале 70-х годов Рихта взялся подвезти в своей машине незнакомую девушку. Когда мимо них проезжала колонна советских военных грузовиков с солдатами, девушка плюнула. Она была уверена, что ее подобрал на дороге нормальный чех. Рихта же обогнал колонну советских машин, остановился и велел девушке выйти. Он прекрасно знал, что через несколько минут девушку догонят советские солдаты, на которых она плюнула. Кольдер, я думаю, так бы не поступил. Возможно, он вообще бы не подвез незнакомую девушку. Но если бы она плюнула на советских солдат из его машины, Кольдер стал бы проповедовать ей принципы пролетарского интернационализма. Он был способен "пригласить" советские войска в Чехословакию, но на конкретную подлость он способен не был. В отличие от автора популярного лозунга о человеческом лице социализма, Кольдер не был трусом.

Клубок нравственных и политических проблем 1968 г. был невероятно сложным. Я не буду давать характеристики остальным членам партийного руководства, а остановлюсь на общей атмосфере, господствовавшей в партийной верхушке.

* * *

Однажды на совещание политбюро и секретариата ЦК КПЧ пригласили министра иностранных дел Йиржи Гайека. На этом совещании рассматривались вопросы международного значения, в частности, предстоящая встреча с политбюро ЦК КПСС в Чиерне на Тиссе. В перерыве, после двухчасового обсуждения, Гайек отозвал меня в сторону и спросил:

— Если это — партийное руководство, то как я мог стать министром иностранных дел?

— Не обращай внимания, — ответил я ему. — Я ведь тоже секретарь ЦК. И не нервничай.

Почему Гайек обратился ко мне с таким вопросом? совеща-

ние партийного руководства было серией монологов, в которых партийные руководители либо говорили об общих политических и идеологических вопросах, либо рассказывали конкретные случаи, истории, приводили высказанные или напечатанные кем-то мнения. На постороннего наблюдателя такие совещания производили впечатление дебатов по мировоззренческим проблемам, где вырабатывается отношение к мировым событиям, начиная с Октябрьской революции и кончая второй мировой войной, XX съездом КПСС и Программой действий КПЧ. Но еще больше это походило на заседание редколлегии какого-то журнала или на собрание партийной организации по поводу того, что говорят в народе. Посторонний наблюдатель ждал, когда же начнут обсуждать вопросы, стоящие на повестке дня. Йиржи Гайек, например, ждал, когда перейдут к подготовке встречи с политбюро ЦК КПСС: когда начнут обсуждать, на каких вопросах следует сосредоточить особое внимание; чем аргументировать позицию политбюро ЦК КПЧ и какие аргументы выдвинут члены политбюро ЦК КПСС; на какие уступки может пойти КПЧ, а в каких вопросах уступать нельзя; какие альтернативы могут возникнуть при обсуждении конкретных вопросов, и как чехословацкая сторона будет вести себя при обсуждении первой, второй или третьей альтернативы и т.п.

Ничего этого Гайек так и не дождался. Но зато он узнал, что Антонин Капек поддерживает Советский Союз сердцем и душой, и что ничто не поколеблет его позиции. Что Василь Биляк считает здание социализма в Чехословакии прекрасным, что здание это можно только улучшать — поставить букет или повесить картину, тогда как "некоторые" хотят это здание просто разрушить и начать строить новое. Ян Пиллер, в свою очередь, сообщил, что на заседании актива районных парторганизаций один из выступавших рассказывал, как на собрании К-231* требовали повесить коммунистов, и что это было антикоммунистическим выступлением. Но при этом Пиллер утверждал, что процесс возрождения — здоровый процесс, и именно это необходимо объяснить советским товарищам.

* Клуб-231 — клуб бывших политических заключенных, приговоренных по ст. 231 Уголовного кодекса ЧССР от 1948 г.

Честмир Цисарж выступил на тему о свободе печати. Он говорил, что она необходима в здоровом социалистическом обществе, а потому следует воспрепятствовать перерастанию критики отдельных выступлений в печати в догматическую критику свободы слова вообще. Эмиль Риго рассказал, что политические активисты на его заводе с опасением ждут, во что все это выльется. Он привел несколько конкретных высказываний. Алойиз Индра ничего сам не говорил, но все прилежно записывал в блокнотик с пронумерованными страницами, сшитыми красно-бело-синим шнуром (цвета флага Чехословакии). В таких блокнотах делаются в Чехословакии секретные записи.

Я никаких заметок не делал, так что Алойиз Индра мог бы легко уличить меня в том, что приведенные мной высказывания делались не в таком порядке или вообще не то было высказано. Возможно, он оказался бы прав. Но он нашел бы в своих записях все перечисленные выше заявления, разве что сделаны они были в другом порядке или на других совещаниях. Потому, что именно в таком духе проходили заседания дубчеховского руководства в период Пражской весны.

К этому попури взглядов внимательно прислушивался сидящий во главе стола Дубчек. Он демократически выжидал, пока товарищи выскажутся. Когда же становилось очевидно, что ничего нового они уже не скажут, Дубчек, как правило, останавливал дискуссию и произносил собственное кредо: нужно прежде всего приложить усилия к решению позитивных задач, развивать позитивную деятельность и тем самым преодолевать негативные влияния. Трудящиеся поддерживают нашу политику и, опираясь на них, мы не можем не победить.

Я вовсе не утверждаю, что в период Пражской весны партийное руководство ни разу не приняло определенных и важных политических решений. Известен целый ряд таких решений, они записаны в документах, запечатлены в печати, хранятся в архивах и по ним историки будут оценивать заслуги и промахи дубчеховского руководства. Но процесс принятия таких решений имел мало общего с демократическим процессом. Этим объясняется, почему партийное руководство, значительная часть которого была настроена против реформы и, можно сказать, рассчитывала на советское военное вмешательство, все

же приняло ряд постановлений, соответствовавших духу политической реформы 1968 г.

Политбюро и секретариат ЦК КПЧ работали, в принципе, так же, как в последние годы при Новотном. На рассмотрение руководящего партийного органа выносилось очень много вопросов. Подготовительные материалы к каждому такому совещанию весили около килограмма. Я умышленно привожу их вес, поскольку для членов партийного руководства, которые за день-два до совещания получали пакет с бумагами, главным был его объем и вес. Никто, даже при сильном желании, не был в состоянии прочитать все бумаги. Пакет попадал к помощникам, к сотрудникам аппарата, и они писали к некоторым материалам примечания. Содержавшиеся в пакете документы тоже составляли помощники и члены их рабочих групп. Иногда они же делали примечания. На утверждение партийных органов выносилось множество мелких вопросов, как и при Новотном, а, может, и больше, поскольку в ненадежное время работники аппарата утратили уверенность и предпочитали на каждое начинание получить одобрение партийного руководства. Многие представленные на обсуждение руководства проблемы вообще не интересовали заседавших, но на это уходила масса времени. Можно смело утверждать, что не более четверти вопросов, внесенных в повестку дня, имели серьезное политическое значение. Подготовительные материалы по этим вопросам формулировали, как и при Новотном, сотрудники рабочих групп, аппарата и помощники партийных руководителей. Среди них сторонники реформ еще до 1968 г. имели прочные позиции, а весной 1968 г. они еще более укрепили свои ряды. Среди них были люди, которые не только разрабатывали политические концепции, но обладали и организационными способностями и навыками практической работы. В результате партийное руководство принимало некоторые серьезные и четко сформулированные решения, ничего общего не имевшие с дебатами, происходившими на совещаниях секретариата ЦК и политбюро.

Когда высшие партийные органы должны были сформулировать свою позицию по неожиданно возникшим проблемам, то есть, когда не было материалов, подготовленных скрытой армией помощников, то выбирались два-три человека, способных быстро составить проект постановления, и пока остальные при-

вычным образом дискутировали, эти люди писали. Разработанный ими проект постановления становился поводом для новых продолжительных дебатов. В этих дебатах, как всегда, отклонялись от темы, пока, наконец, уставшие и оупевшие руководители не принимали проект в том виде, в каком он был представлен несколько часов назад.

Чаще всего составление проектов таких постановлений поручали мне и Честмиру Цисаржу. Так, например, были сформулированы два известных документа того времени: Заявление политбюро ЦК КПЧ о призыве "Две тысячи слов" и Заявление политбюро ЦК КПЧ по поводу письма лидеров пяти коммунистических и рабочих партий, собравшихся в Варшаве накануне переговоров между политбюро ЦК КПЧ и ЦК КПСС в Чиерне на Тиссе.

История с призывом "Две тысячи слов" особенно наглядно характеризует создавшуюся тогда на верхах обстановку. Я останавлиюсь на этом подробнее. Автором "Двух тысяч слов" был Людвик Вацулик, и уже само это было гарантией эффективности обращения. Оно было написано таким языком, что полемизировать с ним в обычном стиле партийных постановлений заранее означало потерпеть поражение. "Две тысячи слов" вышли 27 июня 1968 г., в канун районных и партийных конференций, которые должны были избрать делегатов на партийный съезд. Обращение было помещено в еженедельнике "Литерарни новины" и в трех ежедневных газетах; его подписали представители интеллигенции, спортсмены, популярные артисты. Среди них были коммунисты-реформисты и беспартийные, активисты весны 1968 г. и не выделявшиеся особой активностью.

По содержанию "Две тысячи слов" не были из ряда вон выходящим явлением. В то время нередко в статьях, в выступлениях по радио и телевидению в самых различных вариантах говорилось почти то же, что и в этом обращении. Быть может, только идея Вацулика о демократизации политической системы через "гражданские комиссии и комитеты" прежде ни разу не была сформулирована в таком виде. Несомненно, автор отразил в этом документе распространенное среди интеллигенции опасение, что процесс возрождения будет замедлен или вообще окажется под угрозой из-за того, что на руководящих постах в КПЧ и государственном аппарате все еще много консерваторов, сторонников тоталитарной диктатуры, которые к тому же опирают-

ся на советскую поддержку. Об этом в "Двух тысячах слов" говорилось открыто, как и о возможности советской интервенции. Проблемы политические переплетались в обращении с проблемами нравственными, человеческими, но и это было типичным для атмосферы тех месяцев; на сформулированные таким образом проблемы политического решения нельзя было найти. В этом и заключалась основная трудность: поставленные в "Двух тысячах слов" фундаментальные человеческие и нравственные проблемы, к которым Вацулик хотел привлечь внимание в первую очередь, невозможно было решить теми политическими мерами, которые в этом обращении рекомендовались. Несмотря на это, "Две тысячи слов" не внесли бы особой напряженности в политическую обстановку, если бы Вацулик опубликовал этот текст за своей подписью в газете "Литерарни новины". Его бы просто рассматривали как несколько оригинальную, частную позицию по вопросам современности. Текст этот оказался призывом, своего рода манифестом, потому что его подписали люди, разделявшие эту позицию и призывавшие других последовать их примеру. Этот текст был опубликован одновременно в нескольких газетах, и потому стал материалом для широких дебатов о насущных проблемах сегодняшнего дня. Как таковой этот призыв требовал обсуждения партийными организациями, это стало в определенной степени частью подготовки предстоящего съезда партии, потому что не Программа действий и не начертанный этой программой проект демократической реформы, а "Две тысячи слов" и содержащаяся в них оценка положения в стране стали основой дискуссии не только в обществе, но и в партии. Ничего преступного в этом, разумеется, не было. В демократических странах является нормой, что определенная группа граждан открыто формулирует и защищает свои взгляды, старается склонить других на свою сторону и тем самым оказывает политическое давление не только на общественность, но и на власть.

Однако в конце июня 1968 г. в Чехословакии не было такого рода политической демократии. В Чехословакии не было плюралистической политической системы, построенной на предположении, что именно в такой форме проявляются различные интересы и точки зрения, а потому такого рода действия не могут нанести политической системе урон, не говоря уже о том, чтобы

поставить ее под угрозу. Демократическое общество привыкло к выступлениям различных групп и не видит в них ни попытки произвести государственный переворот, ни стремления тех, кто открыто сформулировал свою точку зрения, получить министерское кресло. В Чехословакии же все было совершенно иначе. Там все еще господствовала система тоталитарной диктатуры, которую только планировалось демократизировать. Пока же перемены были лишь на бумаге, за исключением единственной — в стране уже реально существовала свобода слова. Но и для подданных, и для правителей формы демократического поведения были непривычны, так что обращение "Две тысячи слов" сыграло особую роль. Подданные придали ему большее значение, чем заслуживало его содержание, и правители были напуганы больше, чем следовало.

Летом 1968 г. один из главнейших для партии вопросов заключался в том, удастся ли объединить большинство коммунистов на платформе демократической реформы, на платформе Программы действий КПЧ. Публикация в такой момент своего рода антипрограммы неизбежно ставила процесс объединения коммунистов под угрозу. К тому же не следует забывать о Москве. "Две тысячи слов" вышли дня за два до того, как ЦК КПЧ получил ультимативное письмо от пяти коммунистических партий, представители которых собрались в Варшаве. Угрозы со стороны этих партий раздавались и до получения письма, да и в самом документе "Две тысячи слов" откровенно говорилось о них. Было очевидно, что "Две тысячи слов" более радикальны, чем программа партийного руководства, и поддерживали это обращение более радикальные силы, чем те, которые представляло руководство страны.

Публикация "Двух тысяч слов" была, безусловно, попыткой радикального крыла коммунистов-реформистов оказать давление на партийное руководство. Но с какой целью? Чтобы были изгнаны с руководящих постов те, кто стал противиться реформе именно потому, что видел в ней угрозу своему положению. И в какое время? Когда эти люди и без этого через два месяца, на предстоящем съезде партии, были бы отозваны со своих должностей. Почему же тогда оказывалось такое давление? Потому что радикальное крыло опасалось, что будут отозваны не

все, и это заслоняло от них более серьезную для реформы опасность.

Я считал публикацию "Двух тысяч слов" серьезным политическим промахом и серьезной угрозой делу реформы. Не потому, что возникла опасность стихийного создания "гражданских комиссий и комитетов", как предлагал Людвик Вацулик, а потому, что я увидел в этом призыве решимость некоторых влиятельных коммунистов-реформистов войти в игру и поставить на карту все свое влияние, а влияние поддержавших реформу представителей коммунистической интеллигенции нередко было сильнее влияния партийного руководства. Я опасался также, что подобного рода конфликт возникнет и среди власть имущих, а это, в свою очередь, поставит под угрозу реформу и приведет к нажиму на партийное руководство со стороны Кремля. Только такими последствиями могло быть чревато опубликование "Двух тысяч слов", но это были серьезные последствия.

Как же реагировало на "Две тысячи слов" партийное руководство? 27 июня, после обеда, было срочно созвано чрезвычайное совещание политбюро и секретариата КПЧ. Мне думается, присутствовали лишь те, кто жил в Праге, поскольку остальные не успели бы прибыть на совещание. Если не ошибаюсь, большинство присутствующих не знали, о чем пойдет речь. Газет они в то время не читали — не было времени. Партийные руководители читали лишь сокращенную информацию, а в этих коротких сообщениях "Двух тысяч слов" еще не было. Так что вначале дебаты были вялыми. Многие из присутствовавших незаметно, как шпаргалку, читали поставленный на обсуждение текст.

Первые выступавшие указывали, что "Две тысячи слов" — это объявление войны Советскому Союзу. Они говорили об антисоветской провокации, о Будапеште 1956 г., о гражданской войне, об освобождении Чехословакии в 1945 г. и т.п. Такие идеи "Две тысячи слов" могли инспирировать только у людей с богатой фантазией. Совершенно неожиданным оказалось выступление Йозефа Смрковского. Смрковский тогда только вернулся из Москвы. По всей вероятности, под влиянием московских переговоров и проникшись московской атмосферой, он тоже упомянул о танках и возможной гражданской войне.

— Я не возьму на себя ответственность, — заявил он тогда, — за то, чтобы возникшие в Чехословакии проблемы решали танки.

В создавшейся обстановке не имело никакого смысла что-либо предлагать. Время возьмет свое. И действительно, когда час спустя эта тема исчерпалась, на передний план вышел другой вопрос: субъективные намерения авторов "Двух тысяч слов" и подписавшихся. Среди них было много имен, так что перебирали их долго: кто что имел в виду, кому что известно о прошлом каждого подписавшего этот документ; какие проступки он совершил и когда и, наоборот, что известно о них хорошего и т.д. и т.п. Среди подписавших "Две тысячи слов" были не только рядовые коммунисты, но и члены ЦК, а потому дебаты велись об Уставе партии и ленинских принципах демократического централизма. На это ушло не менее часа.

Обычно через несколько часов объявляли перерыв. Перерывы разряжали атмосферу; после них либо начинали обсуждать новые вопросы, либо все начиналось сначала. Смирковский, удалившийся на заседание Парламента, к концу перерыва вернулся. Когда совещание возобновилось, он информировал партийное руководство о дебатах среди парламентских депутатов. Дебаты в Парламенте напоминали обсуждение в политбюро и секретариате ЦК. Так что многие аргументы повторялись. Кто-то (возможно, сам Смирковский) предложил, чтобы свое отношение к "Двум тысячам слов" выразило и правительство. Это непосредственно касалось Черника, который, в свою очередь, был заинтересован, чтобы сначала сформулировало свою позицию политбюро — иначе, из чего будет исходить правительство? Ход дебатов изменился. Нужно было решить, что включить в постановление. Начался новый раунд обсуждения. Каждый старался, чтобы в постановлении отразилась его точка зрения. Подключились к обсуждению и те, кто в первую очередь беспокоился о судьбе реформы. Время шло, но дискуссия по-прежнему велась о самых общих проблемах — о программе действий, позитивной работе, положительных сторонах демократизации и свободы печати.

В конце концов возникла идея, что кто-то должен составить проект постановления. Поручили это Млинаржу и Цисаржу. Решение не было неожиданным для меня, и я заранее кое-что под-

готовил, так что смог сразу вынести некоторые свои идеи на обсуждение, чтобы при составлении проекта постановления я мог сослаться на них. Затем мы с Цисаржем разошлись по своим кабинетам и приступили к составлению подготовительного материала. Я приблизительно знал, о чем будет писать он, он также приблизительно знал, что напишу я. Потом мы вместе сформулировали общий текст, в некоторых случаях давая альтернативные формулировки. Я старался предложить различные варианты решения, главным образом, в тех случаях, когда считал, что политбюро утвердит мой вариант. Так же поступил и Цисарж. В это время члены политбюро продолжали дебаты, которые напоминали скорее разговоры в кулуарах.

На улице уже давно стемнело, рядовые граждане сидели у телевизоров, но партийное руководство продолжало заседать. О том, что показывали по телевидению, члены политбюро узнают только назавтра из сокращенной информации. Тогда, возможно, возникнет необходимость созвать еще одно заседание. Перед зданием ЦК КПЧ стоят черные лимузины, в окнах зала заседаний горит свет, и прохожие, зараженные политической лихорадкой тех месяцев, уважительно отмечают, что дубчековское политбюро, лишая себя сна, руководит "процессом возрождения". Свет горит еще в нескольких окнах. Это кабинеты помощников партийных руководителей; в каждом из них сидит секретарша, советник и шофер — а вдруг секретарю ЦК понадобится обсудить что-нибудь, продиктовать что-то или поехать куда-нибудь. В ожидании помощники проводят время каждый по-своему: кто читает, кто вяжет, кто пьет кофе.

Дебаты продолжаются. Мы с Цисаржем приносим проект постановления. Этот документ становится не только объектом изменений и корректив, но и стимулом для повторения всего того, что уже неоднократно высказывалось. Черник уехал — он созвал на ночь заседание правительства. Вместо него, однако, прибыл Пиллер. Он был заметно навеселе. Когда обсуждалось, следует ли указать в постановлении политбюро, что "у нас нет оснований сомневаться в добрых намерениях" авторов "Двух тысяч слов" (официально не было известно, кто автор документа), Пиллер заверил Дубчека, что командование милиции его области поддерживает Дубчека и готово прижать к стенке каждого, на кого Дубчек укажет пальцем. Совещание продолжалось, но замеча-

ния делались все реже, особых изменений в проект они не вносили, и так, постепенно родилось постановление высшего органа политической власти в стране.

В зале заседаний было накурено. Йозеф Ленарт открыл окно. Наступало утро.

— Люди, не занимайтесь глупостями, — сказал Ленарт. — На улице уже птицы поют.

На мгновение все замолкли. Никто — ни консерваторы, ни представители прогрессивного крыла, ни центристы — больше не просили слова. Александр Дубчек поблагодарил присутствующих и объявил совещание закрытым. Историческое постановление политбюро ЦК КПЧ к манифесту "Две тысячи слов" было сформулировано.

Но вернемся к политике. Что означал на деле такой стиль работы партийного руководства? Отдельные члены политбюро и секретариата ЦК вовсе не относились к постановлениям высшего партийного органа как к выражению личной точки зрения. Увидевшие в "Двух тысячах слов" призрака танков и гражданской войны не настаивали на включении этих опасений в постановление политбюро, но своего мнения не изменили (за исключением Смирковского). Желавшие поддержать радикальное крыло партии тоже не отразили этих своих стремлений в постановлении, но и не отказались от них. И хотя и те, и другие выразили удовлетворенность постановлением, в котором говорилось о необходимости сосредоточиться на реализации Программы действий КПЧ и объединении усилий коммунистов на этой платформе, постановление не повлияло на образ действий ни тех, ни других: каждая из групп продолжала поступать в соответствии с позицией, на которой она стояла до принятия постановления.

Алойиз Индра, например, издал для служебного пользования и разослал областным комитетам партии документ, в котором создавшаяся обстановка оценивалась как канун контрреволюционного выступления. Он даже приказал принять меры мобилизационного характера. Биляк, Кольдер, Швестка и Якеш, выступая на партийных собраниях, говорили то же самое, что и до принятия постановления политбюро. С другой стороны, Кригель и Смирковский в своих публичных выступлениях призывали к сотрудничеству с радикальным крылом, поскольку ничего особенного не произошло: главное, что авторы "Двух тысяч слов"

руководствовались благими намерениями. В таком же ключе проходила встреча с подписавшими обращение "Две тысячи слов", на которой присутствовали Дубчек, Черник, Смирковский, Славик и др.

Я уже писал в начале этой главы об отсутствии у меня уверенности, что демократическая реформа в Чехословакии была бы спасена, если бы весной и летом все проходило в соответствии с моими рекомендациями. Весьма возможно, что и при осуществлении моих планов советская интервенция оказалась бы неминуемой. В таком случае лучше, что "Две тысячи слов" были опубликованы. Абстрагируясь от политической тактики, нельзя не признать за этим манифестом огромного позитивного значения. Он показал людям, что безотносительно к интересам и возможностям политической власти они могут вести себя как свободные граждане. "Две тысячи слов" были актом протеста против деспотизма, и текст этого документа не теряет своей актуальности. Девять лет спустя после манифеста Вацулика в Праге был сформулирован новый документ, в какой-то степени напоминавший "Две тысячи слов" — "Хартия 77". Под ней тоже стоят подписи Людвика Вацулика и многих, подписавших "Две тысячи слов". Но под "Хартией 77" подписался и я, и некоторые из тех, кто заседал в руководстве КПЧ, когда принималось постановление политбюро к "Двум тысячам слов" — Франтишек Кригель, Богумил Шимон, Вацлав Славик.

Изменились взгляды этих людей или произошли другие перемены? Нет сомнения, что изменились и взгляды. Но, главное, что в Чехословакии восстановилась система тоталитарной диктатуры, которая не только не задумывается над возможностью реформы, а, напротив, всячески старается стабилизироваться как деспотия. Тем же, кто не желает гнуть спину, не остается ничего другого, как вести себя свободно в несвободе. Уступки руководству Гусака демократию не приблизят, тогда как независимое поведение свободных граждан приобретет неоценимое значение в момент, когда приоткроется щелочка для новой попытки реформирования системы. В такой момент окажется неоценимым и опыт 1968 г., и "Две тысячи слов". Я описал в этой главе все мои тогдашние соображения и надеюсь, что сторонники демократии не увидят в них упрямства бывшего представителя власти, старающегося доказать, что реализация его линии

должна была увенчаться успехом. Я не только не доказываю этого, а, напротив, повторяю, что сейчас я совершенно не уверен в том, что успех был бы возможен на этом пути.

Но тогда, летом 1968 г., я был убежден, что демократия может быть восстановлена только в результате осторожной реформы политической системы и что общественные тенденции, выходящие за рамки этой осторожной, постепенной реформы, ставят ее успех под угрозу. Не буду подробно описывать, как я представлял себе реорганизацию политических и государственных институтов после XIV съезда КПЧ. Это сохранилось в других написанных мной книгах и документах. Коротко говоря, я предполагал испытать в ближайшие два года на практике перемены, проведенные в соответствии с Программой действий КПЧ. В этот переходный период предполагалось разработать новую конституцию Чехословакии. Только на этот срок был бы избран Парламент. По истечении двух лет следовало бы ввести новую, более демократическую избирательную систему и конституционно оформить положение органов управления на заводах и предприятиях. К этому времени профсоюзы, все другие общественные организации и даже сама КПЧ накопили бы опыт деятельности в более демократических условиях, да и сама компартия стала бы — в соответствии с новым Уставом КПЧ — более демократичной организацией. Я считал необходимым сохранить гегемонию КПЧ. Проблему многопартийности я полагал разрешимой в течение лет десяти, не раньше.

Внутриполитические условия, которые сложились в Чехословакии летом 1968 г., подтверждали реальность моей программы. Партийные конференции, на которых в июне-июле избирали делегатов на съезд партии, наглядно продемонстрировали, что наиболее влиятельно течение "центристов". Среди делегатов съезда представители этого течения насчитывали около 80%, оставшиеся 20% делили между собой представители радикального крыла коммунистов-реформистов и сторонники тоталитарной системы. Можно было рассчитывать, что таким же будет соотношение в новых ЦК и политбюро.

Я предполагал также, что после XIV съезда спадет волна всенародной эйфории, и люди снова начнут ощущать неудовлетворенность. Но все же были основания полагать, что большинство граждан поддержит рациональную политику постепенной рефор-

мы. Не следует забывать, что, если бы в новом партийном руководстве большинство разделяло мою позицию, то неизбежным стал бы конфликт с представителями радикального крыла коммунистов-реформистов. Но я считал, что в демократических условиях такой конфликт не страшен. При демократии конфликты с экстремистскими группами — как справа, так и слева — неизбежны, однако, они и решаются демократическим путем.

Какая же тенденция победит в Чехословакии? По какому пути пойдет моя страна? Ответ на этот вопрос дала не Прага, а Москва.

ПЕРЕД СУДОМ КРЕМЛЯ

На заседании политбюро КПЧ, затянувшемся 20 августа 1968 г. до полуночи, Черника вдруг позвали к телефону. Ему звонил министр обороны Дзюр. Он сообщил, что войска Советского Союза и воинские части четырех стран-членов Варшавского договора перешли границы Чехословакии. Я почувствовал шок, подобно пережитому во время автомобильной катастрофы.

В моем воображении чередовались какие-то кадры: военные сцены — баррикады, танки, раненые и мертвые на улицах Праги — сменялись лицами моих близких, пейзажами Южной Чехии, уродливым фасадом Московского университета. Я физически чувствовал, как кончается моя жизнь коммуниста. Все оказалось вдруг лишеным смысла — и идеи, и действия. Несколько позже я вернулся к реальности. Тот же зал заседаний, те же люди — но всего за несколько минут мир стал неузнаваемым.

Происходящее я видел, как на экране: Черник подробно объяснял, что министр обороны Дзюр был арестован двумя советскими офицерами, что ему разрешили позвонить председателю Совета министров, но никаких других мер Дзюр принять не может. В таком же положении, вероятно, находятся и другие командиры чехословацких вооруженных сил. Я слышал голос Дубчека:

— Так все-таки они пошли на это. И так они поступили по отношению ко мне!

Голоса присутствующих смешались. Кто-то, кажется, Кригель, говорил об измене народу, кто-то предлагал немедленно призвать на заседание президента Свободу. Василь Биляк нервно шагал и вскрикивал:

— Почему вы не линчуете, почему не убиваете меня?

Никто не реагировал на это, никто, вероятно, и не слышал его слов. Каждый был углублен в самого себя. Этот момент даже для тех, кто, как Биляк, знал об интервенции заранее и с нетерпением ждал ее, был все равно судьбоносным. Не потому, что это было неожиданной трагедией для них, а потому, что наконец-то пришло освобождение от внутреннего напряжения.

Я же думал, что рухнуло все, чему была посвящена моя жизнь; что реформе коммунизма настал конец; что после советской оккупации такая реформа невозможна. Моя концепция не предусматривала политического решения на случай военной интервенции, и теперь наша политическая программа стала ненужной и бессмысленной.

Когда я снова смог говорить, я заявил, что подаю в отставку, поскольку в новой обстановке заниматься тем, чему были отданы все мои силы, я не могу. С подобным заявлением выступил и Дубчек — он отказался от должности. Для него оккупация была личным поражением. В 1968 г. Дубчек видел себя как бы в роли чехословацкого Робин Гуда: если у Советов имеются какие-то претензии ко мне, то почему они не имеют дело только со мной? Пусть бы лучше меня за ребра повесили, пусть бы лучше я сам за все отвечал!

Его выступление отрезвило всех. Начались разговоры, что никто не имеет права подавать в отставку; наоборот, все законно созданные органы и законно избранные политические деятели должны остаться на своих местах; необходимо всячески воспрепятствовать учреждению новых органов и кадровым переменам, которых оккупанты наверняка будут требовать. В это время прибыл Людвик Свобода. Он старался выглядеть спокойным, но ему никак не удавалось скрыть волнения. Он не сделал никаких заявлений, но, если мне память не изменяет, то и Свобода настаивал, чтобы никто из нас не подавал в отставку.

Как это ни трагикомично, но даже в такой обстановке победила рутинная привычка: решили принять постановление и сформулировать его поручили Млинаржу. Говорилось о необходимости создать пленум ЦК, заседание правительства, парламент. Обсуждалась также возможность военного сопротивления. Это обсуждение не было дебатами, поскольку никто не предлагал защищаться, — просто приводились различные аргументы против вооруженного сопротивления.

Для невходящих в состав руководства отказ от сопротивления не казался единственно верным решением тогда и не кажется таковым сейчас. Почему же руководством это было принято единогласно? Прежде всего, я приведу аргументы по существу.

Во-первых, чехословацкая армия, как и армии других стран советского блока, не самостоятельна. Ключевые позиции в ней занимают советские офицеры. Советскому командованию не только известны степень вооруженности армии и методы управления ею (связь, шифры и т.д.), чехословацкая армия контролируется им. Размещение чехословацких частей полностью исключает оборону страны при нападении стран-"союзников" по Варшавскому договору. Надо было также учитывать, что ряд чехословацких командиров, возможно, встанет на сторону советской армии. Так что не только из-за военного превосходства противника невозможно защитить Чехословакию от стран советского блока. Единственное, что было возможным, — задержать на время наступление.

Следует добавить, что проведенные Дубчеком к тому времени кадровые перемены в чехословацкой армии базировались на его личном отношении и симпатиях. Министр обороны и начальник генерального штаба действительно были "людьми Дубчека". Но были у них и другие друзья. Министр обороны Дзюр уже в мае 1968 г. рисовал командующему войсками Варшавского договора маршалу Якубовскому положение в чехословацкой армии в весьма мрачных тонах, подчеркивая ее небоеспособность. Якубовский тогда обнял его и сказал:

— Друг всегда понимает друга!

Мартин Дзюр подтверждал аргументы советских маршалов, которыми они обусловили необходимость присутствия в Чехословакии советских войск для обеспечения "обороноспособности социалистического общества", поскольку в случае "нападения империалистических государств" на чехословацкую армию рассчитывать невозможно.

Начальником главного управления армии при Дубчеке стал генерал Бедржих. Они были друзьями детства — вместе выросли в одной из советских среднеазиатских республик. Бедржих был совершенно бездарным и к тому же был сталинистом. Правда, в январе 1968 г. заводделом обороны и органов безопасности ЦК КПЧ был назначен генерал Прхлик, который дей-

ствительно стремился добиться самостоятельности чехословацкой армии в рамках Организации Варшавского договора. Но именно поэтому по настоянию Кремля его уже в июле 1968 г. перевели на другую должность, после чего отделом обороны и органов госбезопасности в ЦК КПЧ руководил сам Дубчек. Все это дополняет и без того ясную картину. С военной точки зрения Чехословакия армиям стран Варшавского договора противостоять не могла.

С политической точки зрения также было очевидно, что вооруженное сопротивление, которое свелось бы лишь к локальным столкновениям, сыграло бы на руку оккупантам. Создалась бы обстановка, напоминающая венгерские события 1956 г., — перестрелки, вооруженные конфликты и человеческие жертвы служили бы доказательством наличия в Чехословакии "контрреволюционных сил", готовых развязать гражданскую войну. Вооруженное же насилие интервентов над страной, где не раздалось ни одного выстрела, наглядно показало подлинное лицо агрессора.

Приводились также доводы идеологического и психологического характера. Концепция реформы, Программа действий и политическая позиция коммунистов-реформистов в партийном руководстве строились на предпосылке, что демократическая реформа ни в коей степени не противоречит соблюдению обязательств Чехословакии по отношению к странам-членам Организации Варшавского договора. И это не было фразой. К разрыву с Советским Союзом типа югославского (1948 г.) никто из руководящих политических деятелей Чехословакии не только не стремился, но и не желал его. Руководство КПЧ считало исключительно важным на практике доказать возможность проведения особой, специфической политики, при условии тесного сотрудничества с остальными странами советского блока.

Поэтому в рассуждениях партийных руководителей о возможности военного сопротивления советской агрессии не присутствовали даже психологические мотивы, которые могли бы подкрепить решение сопротивляться. Мне трудно, разумеется, говорить о других, но лично я не хотел иметь на совести ни одной человеческой жизни, которая была бы потеряна в результате решения о вооруженном сопротивлении, поскольку то, чего

можно было бы добиться, попытавшись оказать военный отпор, не стоило даже одной жизни. В ту ночь я впервые осознал, что от моей политической позиции могут зависеть жизнь и смерть тысяч. А это уже не общие рассуждения о том, что является правильным, принципиальным и нравственным. Я хорошо понимал президента Свободу, который постоянно говорил о возможных человеческих потерях; и я не могу отнести к его позиции так, как отнеслись к ней некоторые публицисты, рассуждавшие задним числом, но не испытывавшие прямой ответственности за человеческие жизни.

Ночью 20 августа на заседании политбюро говорили, однако, лишь о политических аспектах вооруженного сопротивления и об ответственности за жизнь людей. Все остальные аргументы, которые я перечислил выше, действовали в подсознании, но не высказывались вслух. Что же касается тех, кто состоял на службе у оккупантов, то для них вопрос о сопротивлении вообще не был актуальным.

Неожиданно Дубчек сообщил, что три дня назад он получил от Брежнева письмо и сейчас зачитает его. Дубчек был очень взволнован, он даже заикался при чтении. В письме содержалась обычная для Москвы болтовня — сколько антисоветских и антисоциалистических статей напечатано в газете "Литерарни новины", в журнале "Репортер"; как эти статьи нарушают соглашение, достигнутое в Чиерне и Братиславе. Кто-то, возможно, слушал, но общее впечатление от заседания политбюро было: театр абсурда. С одной стороны, люди, которые со страхом думают, что через час произойдет с народом и лично с ними, которые ожидают ареста и депортации, а, с другой стороны, — люди, которые хотели бы уже оказаться в здании советского посольства и начать формировать новое правительство. И те, и другие молча сидят рядом, за одним столом, погруженные в свои думы, а Дубчек, заикаясь, читает фразы, написанные после того, как был назначен час начала военной агрессии.

Многие выходили к телефону. Они, наверное, звонили домой. Мне тоже нужно было позвонить своим, но я был занят: сочинял проект постановления политбюро. Дубчек кончил читать письмо Брежнева. Кто-то из тех, кто договорился с оккупантами, начал дебаты, отметив, какую серьезную ошибку допустил Дубчек, не сообщив о письме Брежнева в течение целых трех дней. Кто-

то предложил Дубчеку связаться с Брежневым по телефону. Тот по-робингудовски отказался и добавил:

— Они сами найдут, как со мной связаться.

Я же представил проект постановления, вернее, призыв "К народу Чехословацкой социалистической республики".

Объяснение, почему мы не можем оказать вооруженного сопротивления, из проекта было вычеркнуто. Партийным руководителям показалось опасным упомянуть даже о *невозможности* вооруженного сопротивления. Без изменений, однако, осталась фраза, начинающаяся словами:

"Поэтому нашей армии не было приказано защищать страну".

Недостает только разъяснения, почему. Никто этого тогда не заметил, и до сих пор ни в одной работе о Пражской весне, где цитируется обращение политбюро к народу, этот факт не анализируется. Вероятно, потому, что в партийных документах часто бывают и более грубые недочеты.

Затем началось бурное обсуждение, следует ли политбюро поддержать невооруженное, нравственное сопротивление против интервенции. Речь шла о следующей фразе:

"Политбюро ЦК КПЧ считает этот акт противоречащим не только всем принципам, на которых базируются отношения между социалистическими государствами, но и попирающим фундаментальные нормы международного права".

Из имевших право голоса против этого предложения выступили Биляк, Кольдер, Швестка и Риго. Из тех, у кого не было права голоса, их поддержали Индра, Капек и Якеш. Но и они не осмелились утверждать, что интервенция не противоречит международному праву, а только подчеркивали, что такая формулировка еще более затруднит положение. Речь идет о конфликте между коммунистическими партиями, а потому не следует выносить сор из избы. Даже они не говорили об обоснованности интервенции, а только замечали, что и мы виноваты, так как недооценили возможности интервенции. Слова, которыми эти люди

стали оперировать позже, такие как "братская интернациональная помощь", "помощь братьев по классу", "необходимость защищать социализм в Чехословакии" и т.п., в ту ночь никто из них не произнес.

После того, как Кригель и Смрковский заявили, что согласие с интервенцией означает предательство своего народа, поставили на голосование проект постановления. Из членов политбюро с правом голоса за утверждение были: Смрковский, Кригель, Шпачек, Черник, Пиллер и Барбирек. Из не имевших права голоса их поддержали Шимон, Цисарж, Славик, Садовский и я. Не помню, какую позицию занял тогда Ленарт, но, помнится, он не был за группу Биляка. Дубчек колебался только в связи со словами "попрание международного права". Но когда Смрковский перешел к опросу каждого из членов политбюро в отдельности, Дубчек неожиданно заявил:

— Ну, а что — ведь это же правда! — и проголосовал "за". Приглашенный на заседание Людвик Свобода не имел права голоса, и я не помню, чтобы он как-то вмешивался в дебаты.

Было почти половина второго. Дубчек закончил заседание политбюро словами, в которых отражалось и осознанное мной — реформе конец. Промосковская группа с облегчением ретировалась, в здании ЦК задержался только Якеш. Возможно, ему поручили следить за остальными. Черник ушел в Совет министров. Покинул ЦК и Цисарж. Мы же остались.

* * *

О том, как складывались отношения между политбюро КПЧ и КПСС до оккупации, было написано много статей и книг. Я не участвовал ни в одной из встреч, на которых постепенно обострялись отношения между чехословацкими представителями, с одной стороны, и представителями Советского Союза и других стран советского блока, в особенности Польши и ГДР, — с другой. Я имею в виду встречу в Дрездене 23-24 марта 1968 г., в Москве 3-4 мая 1968 г. и встречу в Чиерне на Тиссе с 28 июля по 1 августа 1968 г. Но в Братиславе, где состоялась встреча представителей шести коммунистических партий стран советского блока, я не только присутствовал, но и участвовал в обсуждении принятого там "Заявления коммунистических и рабочих партий

социалистических стран". Во время обсуждения этого документа каждая страна была представлена первым секретарем компартии и председателем Совета министров плюс в некоторых случаях советники и переводчики.

Обсуждение проходило так. Брежнев от имени советской делегации предложил текст "Заявления", который затем в течение нескольких часов обсуждался по предложениям. С замечаниями по тексту, в основном, выступала делегация КПЧ. Текст "Заявления" состоит из обычно используемых в советских передовицах фраз, так что непосвященный может удивиться, что же обсуждали на протяжении нескольких часов руководители партий и правительств стран советского блока. Но обсуждение действительно было продолжительным.

О встрече в Братиславе было договорено уже в Чиерне на Тиссе. На совместном совещании политбюро КПЧ и КПСС, которое 31 июля закончилось, можно сказать, скандалом после выступления П. Шелеста, грубейшим образом обвинившего чехословацкую делегацию в самых страшных проступках, в том числе и в том, что Чехословакия пытается оторвать от Советского Союза Закарпатскую Украину, и заявившего, что "галицийский еврей" Кригель для него не партнер. Дубчек с делегацией КПЧ покинул зал заседания. Советские участники совещания принесли извинения, но после этого переговоры велись уже в небольших группах. Утром 1 августа Дубчек встретился с Брежневым, и тогда-то и родилась идея встречи представителей шести партий в Братиславе.*

Насколько мне известно, Дубчек вынес из разговора с Брежневым впечатление, что Брежнев действительно заинтересован найти такой выход из положения, который удовлетворил бы "ястребов" в советском политбюро (в числе их был Шелест, но основными лидерами были маршалы старого поколения) и Уль-

* После совещания в Чиерне на Тиссе не было опубликовано никаких документов. Но в ЦК КПЧ имеется официальный протокол этого совещания. Материал этот засекречен. Он насчитывает 500 страниц, и читали его только руководители КПЧ, не присутствовавшие на этом совещании, в том числе и я. О совещании в Чиерне на Тиссе я неоднократно беседовал с его участниками — Дубчеком, Смирковским, Шпачеком и Шимоном. Некоторые факты содержатся в опубликованном на Западе после смерти Смирковского разговоре с ним. (См. "Листы" № 2, 1975 г.)

брихта и Гомулку, которые вместе с советскими маршалами накаляли атмосферу, стараясь спровоцировать серьезный конфликт, способный оправдать военную интервенцию в Чехословакию. За кулисами они не ссылались на цитаты из газеты "Литерарни новины", которые использовались для идеологической пропаганды, а утверждали, что под угрозой находится безопасность всего советского блока, что положение в Чехословакии снижает обороноспособность блока и разлагает его политическое единство под гегемонией Москвы.

Брежневу и Дубчеку все же удалось найти общий язык: Брежнев стремился продемонстрировать сплоченность блока, и это устраивало Дубчека, поскольку для демонстрации такого единства не было надобности обсуждать внутривнутриполитическую ситуацию в Чехословакии на совещании шести партий. Можно было ограничиться принципами, которые налагали бы на Чехословакию определенные обязательства по отношению к блоку, чего нельзя было бы добиться на совещании, обсуждающем чехословацкие проблемы. На таких условиях Дубчек был согласен встретиться с представителями компартий тех пяти стран, которые уже собирались в Варшаве. Брежнев же, в свою очередь, согласился с тем, что внутреннее положение в Чехословакии на этой встрече обсуждаться не будет. За это Дубчек согласился подписать документ, признающий гегемонию Москвы и принадлежность Чехословакии к советскому блоку. Тем самым Дубчек надеялся нейтрализовать нажим "ястребов" и предотвратить опасность советской интервенции. Это соответствовало убеждениям Дубчека, который даже мысли не допускал о разрыве с Советским Союзом. Поэтому он и позволил так легко убедить себя, что Брежнев также не заинтересован в интервенции. К тому же Брежнев обещал Дубчеку, что не позволит никому (то есть Ульбрихту и Гомулке) критиковать Чехословакию.

На деле же представленный в Братиславе советский проект "Заявления" касался внутренних дел Чехословакии, поскольку подтверждал правильность критики, высказанной на совещании в Варшаве. Во фразах, которые на первый взгляд казались шаблонными заявлениями газетных передовиц, был свой скрытый и далеко не безобидный смысл. Это-то и вызвало многочасовую дискуссию.

Оглядываясь после августовских событий 1968 г. назад, я

вижу, насколько незначительными и смешными были достигнутые нами и казавшиеся тогда победой изменения текста Заявления. Так, например, после продолжительных дебатов чехословацкой делегации удалось изменить формулировку об обострении международного положения и опасности конфликта с империалистическими государствами. В окончательном документе было, в конце концов, записано, что

”...в результате агрессивной политики империализма международная обстановка в последнее время остается сложной и опасной”.

По поводу Германии в проекте ”Заявления” отмечалось, что реваншистскому правительству ФРГ противостоят две силы — ГДР и компартия ФРГ, в окончательном же тексте говорится уже лишь об ”активизации сил реваншизма, милитаризма и неонацизма в Западной Германии” и о том, что следует оказывать поддержку не только Ульбрихту и компартии Западной Германии, но и

”... всем тем силам, которые борются против милитаризма и реваншизма, за демократический прогресс”.

В раздел об ”общих закономерностях строительства социалистического общества” по настоянию делегации КПЧ была добавленная следующая фраза:

”При этом каждая братская партия, творчески решая вопросы дальнейшего социалистического развития, учитывает национальные особенности и условия”.

В братиславском ”Заявлении” есть также фраза, которую сторонники ”нормализации” трактуют как доказательство оправданности военной интервенции и утверждают, что, подписывая ”Заявление”, Дубчек как бы обязался согласиться с интервенцией. С небольшими изменениями это предложение включено и в чехословацко-советский договор 1970 г. Сформулированная в нем идея обосновывает так называемую доктрину Брежнева,

то есть доктрину ограниченного суверенитета. Речь идет о следующем предложении:

”Поддержка, укрепление и защита этих завоеваний, доставшихся ценой героических усилий, самоотверженного труда каждого народа, является общим интернациональным долгом всех социалистических стран”.

По поводу этого предложения в Братиславе действительно велись продолжительные дебаты. Я уверен, что никто из делегации КПЧ не предполагал, что настанет день, когда эту фразу будут трактовать, как заранее данное согласие на военную интервенцию; но все же эта фраза внушала некоторые опасения. Из текста проекта ”Заявления” было видно, что советские политики вставили это предложение не случайно, поскольку вслед за ним подчеркивалось, что ”таково единодушное мнение всех участников Совещания”. Это наводило на мысль, что Советский Союз явно заинтересован в возможности сослаться на согласие КПЧ. Поэтому я предложил дополнить это предложение словами:

”... — при одновременном уважении суверенитета и национальной независимости каждого государства”.

Я предлагал поставить это дополнение после знака тире, и только за ним поставить точку.

В полемику сразу же вмешался Брежнев с совершенно неожиданным замечанием: в данном случае тире противоречит духу русского языка. Вслед за этим, и опять-таки с точки зрения чистоты русского языка, оказались неприемлемыми и запятая, и точка с запятой — то есть знаки препинания, свидетельствующие, что дополнение является неотъемлемой частью первого предложения. Ведь о суверенитете и национальной независимости, подчеркивал Брежнев, говорится на два абзаца ниже, как, собственно, и о равноправии, территориальной неприкосновенности и братском сотрудничестве. Зачем же тогда упоминать об этом в каждом предложении? Ведь другие, столь же незыблемые принципы, не повторяются в тексте; текст должен быть коротким и т.д.

Бурная реакция Брежнева укрепляла подозрение относительно скрытой целенаправленности этого предложения. К тому же еще и Ульбрихт, и Гомулка, и Живков горячо защищали стремление Брежнева сохранить чистоту русского языка в тексте, который с самого начала до конца был вопиющим образчиком партийного жаргона, и таковым звучал на всех языках. Кстати, если я не ошибаюсь, Кадар в этом Брежнева не поддерживал; более того, в дебатах он несколько раз встал на позицию КПЧ.

Знал ли Брежнев уже тогда, что эта фраза должна была обосновать предстоящую интервенцию? Возможно, знал, но, думаю, что в Братиславе он еще не решил, что советские войска войдут в Чехословакию через 17 дней.

В Братиславе Дубчек предпринял попытку отсрочить принятие "Заявления" вообще, намекнув, что значимость этого документа стала бы большей, если бы его подписали представители Румынии, Югославии и Албании. Он даже предложил оказать посредничество в организации встреч с Тито и Чаушеску. До тех пор, сказал Дубчек, публикацию "Заявления" можно было бы и отложить. Присутствующие реагировали на это, как бык на красное. Предложение Дубчека было отвергнуто.

Совещание в Братиславе закончилось праздничным обедом, торжественным подписанием "Заявления", объятиями и лобызаниями на вокзале. Это была первая встреча на "высшем уровне", в которой мне довелось принять участие, и впечатление она на меня произвела незабываемое.

Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка вели себя как злобные, самолюбивые и выжившие из ума старики. Было совершенно очевидно, что они не в состоянии понять проблемы не только соседних, но и своих стран. Но оба при этом излучали самодовольство и наслаждение властью.

Мне довелось быть свидетелем разговора Ульбрихта с Дубчком.

— Я думал, что я прилетел к вам в гости, — упрекал Ульбрихт Дубчека, — но на аэродроме я слышал только "Дубчек, Дубчек". Быть может, мне это показалось, так как я не понимаю чешского?

Для Ульбрихта это было еще одно доказательство отхода Чехословакии от принципов интернационализма. Он, не стеснясь, требовал скандирования его имени, и если бы Дубчек приказал

солдатам и школьникам кричать "Ульбрихт, Ульбрихт", он увидел бы в этом проявление дружбы с народом ГДР.

Даже во время неофициальных бесед Гомулка и Ульбрихт постоянно вставляли ядовитые замечания по поводу сложившейся в Чехословакии обстановки. Это было выражением не только политических разногласий. В их колкостях проявлялась злоба, возмущение, ненависть к чему-то, что ставит под угрозу их положение дома и против чего они чувствовали себя беспомощными.

Живкову тогда было всего 55 лет, так что злобным стариком его нельзя было назвать, но среди других он выделялся чрезвычайной тупостью. Я много лет встречался по работе с высокими партийными и государственными деятелями, и поэтому не выдвигал по отношению к ним особо высоких требований. И все же знакомство с Живковым превзошло все мои ожидания. Когда он вслушивался в выступления других, на лице его отражалось такое напряжение, что было очевидно — он предельно напрягается, чтобы уловить, о чем идет речь. Во время дебатов он вмешался всего дважды, и каждый раз, пытаясь поддержать Брежнева, на деле противоречил ему. Произошло это потому, что Живков не уловил, когда Брежнев изменил свое мнение и решил согласиться с каким-то замечанием. В этот момент Живков стал горячо защищать прежнее предложение и поставил Брежнева в затруднительное положение. Я видел, что два или три раза Брежнев сделал вид, что не заметил поднятой руки Живкова, а потом подал ему знак, чтобы он больше в дебаты не вмешивался.

Кадар превышал представителей остальных партий во всех отношениях — и как политик, и как человек. Из разных источников нам было известно, что отношение Кадара к Пражской весне значительно отличается от отношения других лидеров стран советского блока. Встреча в Братиславе подтвердила не только это, но и то, что Кадар вообще не обычный человек, что опыт 1956 года повлиял не только на проводимую им политику, но и затронул его совесть.

После обеда мы остались втроем — Дубчек, Кадар и я. Кадар объяснил нам свою точку зрения: либо чехословацкое руководство прибегнет к насилию само и положит конец некоторым политическим тенденциям в стране, либо по отношению к Чехосло-

вакии будет применено насилие извне. Он ни разу не сформулировал свои мысли так, чтобы его можно было обвинить, будто он говорит о советской интервенции, но, проводя аналогию с Будапештом 1956 г., он совершенно четко дал понять, что он имеет в виду.

Кадар говорил, что в успехе чехословацкой реформы он видит определенную надежду и для Венгрии. Он не скрывал ни своих проблем, ни своих чувств и говорил, что ему совестно было стать во главе Венгрии после советской интервенции. Кадар настойчиво объяснял Дубчеку, что его положение было намного более сложным, чем у Дубчека, пока тот остается хозяином положения. У меня тогда сложилось впечатление о Кадаре как о политике, который всячески старается хоть как-то защитить национальные интересы, которого власть не развратила, потому что он не забывает о главной цели. Конечно, Кадар — это политик минимально возможного. Но если бы возникла обстановка, позволяющая выйти за пределы этого минимума, Кадар этой возможностью воспользовался бы — что, кстати, подтверждает развитие Венгрии за прошедшие со времени Братиславской встречи годы. Но как поступит Кадар, если появится возможность провести концептуальную демократическую реформу, — это вопрос особый.

Известно, что 17 августа по инициативе Кадара в пограничном городке Комарно состоялась его встреча с Дубчеком. На основе сложившегося у меня впечатления о Кадаре и того, что я слышал об этой встрече от Дубчека, мне думается, что Кадар пытался предостеречь Дубчека в момент, когда Кадару уже было известно о решении Москвы ввести войска в Чехословакию. После интервенции Дубчек сам признал, что так и можно было расценить некоторые высказывания Кадара. Когда они прощались на перроне, — вспоминал Дубчек, — Кадар прямо спросил его: — Вы действительно не понимаете, с кем вы имеете дело?

В тот же день Брежнев послал Дубчеку то самое письмо, которое Дубчек зачитал членам политбюро КПЧ в ночь советского вторжения. Из этого письма Дубчек наверняка должен был сделать вывод, что отношение Москвы изменилось к худшему и что военная интервенция стала реальной угрозой. Мне думается, что Дубчек не мог решиться предпринять что-то быстро и потому, как он часто поступал в таких случаях, решил отложить

этот вопрос до выяснения ситуации. А когда, три дня спустя, ситуация прояснилась, Дубчек уже не мог принимать никаких решений.

После 20 августа 1968 г. неоднократно поднимался вопрос, мог ли Дубчек и руководство КПЧ каким-либо образом воспрепятствовать интервенции, — вернее, существовали ли какие-то меры, которые убедили бы Москву не прибегать к интервенции для сохранения гегемонии СССР. Члены чехословацкого руководства, ожидавшие интервенции ради укрепления собственных позиций, позже, вместе с другими сторонниками "нормализации", утверждали, что такая возможность была. Они обвиняли Дубчека в том, что он не информировал членов политбюро о совещании в Дрездене и в Москве, что он "скрыл" последнее письмо Брежнева и т.п. Все эти обвинения, разумеется, бессмысленны. Чтобы серьезно ответить на этот вопрос, необходимо уяснить причины, склонившие советское руководство к военной интервенции.

Я считаю, что это решение обусловили два фактора: с одной стороны, интересы великодержавной внешней политики СССР, а с другой, — интересы различных групп в советском руководстве, которые в то время столкнулись в борьбе за власть. Аналогичные факторы привели к падению Хрущева в 1964 г. Уже тогда в Москве началась борьба вокруг общей политической ориентации, и эта борьба достигла кульминации в августе 1968 г.

С точки зрения великодержавных интересов СССР, успехи хрущевской политики можно оценивать по-разному, в зависимости от того, что считать наиболее полезным для обеспечения советских интересов в мире. Эра Хрущева означала конец "холодной войны", значительно уменьшилась опасность военного конфликта с Западом, открылись пути к выгодному экономическому сотрудничеству СССР с другими государствами, что позволяло Советскому Союзу проникнуть в различные регионы мира, главным образом, в развивающиеся государства, с помощью методов, отличных от тех, которые применялись при Сталине: дипломатических, экономических и, в определенной степени, военных. В этом смысле, Хрущев, несомненно, укрепил позиции Советского Союза как сверхдержавы. Однако Хрущев в то же время потерял Китай и Албанию и не сумел вернуть в лагерь

Югославию. При Хрущеве советская армия ушла из Австрии. Проводимая при Хрущеве десталинизация расшатала Польшу, Венгрию и Чехословакию, недисциплинированно стала вести себя Румыния. Коммунистическое движение в странах вне советской сферы влияния стало заметно терять свое значение как политическая агентура Москвы. В этом смысле Хрущев, безусловно, ослабил державное положение Советского Союза.

Но что важнее? Ослабление напряженности в отношениях с Соединенными Штатами или усиление напряженности в отношениях с Китаем? Укрепление советского влияния в некоторых государствах Африки и Латинской Америки, далеко от имперских границ, или осложнение — с советской точки зрения — внутриполитической обстановки в странах, входящих в империю, — в странах Восточной и Центральной Европы? Все зависит от того, с какого аспекта военной и политической стратегии эти вопросы рассматривать. При этом великодержавные интересы непосредственно переплетаются с интересами различных групп советской элиты, поскольку эти группы рассматривают великодержавные интересы с совершенно противоположных точек зрения.

После второй мировой войны главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия, в отличие от довоенного периода, когда основную роль играла дипломатия и Коммунистический интернационал. В конце хрущевской эры огромное влияние в советской армии сохраняли маршалы, добившиеся своих чинов в ходе войны. Это поколение маршалов придерживается стратегической концепции сталинских времен. Упрощенно ее можно выразить словами: что наше, то наше. Именно так смотрел на вещи сам Сталин, идеологически сформулировавший свою концепцию как теорию о победе социализма в одной стране и о капиталистическом окружении. Основной задачей Сталина было превратить контролируемую им область в мощную военно-промышленную державу. Эта социалистическая область и рассматривалась как "социализм в одной стране", и не важно, что в эту "одну страну" входило несколько формально самостоятельных государств. По отношению к внешнему миру, то есть к "капиталистическому окружению", "социализм в одной стране" проводил изоляционистскую политику. Опиралась "социалистическая страна" на руководимое из Москвы между-

народное коммунистическое движение, на политическую и идеологическую агентуру Советского Союза.

Для сторонников такой стратегии хрущевский период являлся цепью провалов: "социализм в одной стране" фактически распался. Более того, Китай на глазах превращался во врага, перед которым дрожали все русские правители, Китай представлял собой опасность с Востока, из Азии, воскрешал призрак Чингизхана и монгольского ига. Для советских маршалов старшего поколения, которые мыслили категориями обычного оружия, Китай был страшнее заокеанского "американского империализма", несмотря на то, что Соединенные Штаты вооружены самым современным оружием, какого прошлые войны не знали.

Я убежден, что философия советских маршалов старшего поколения была главным фактором, обусловившим свержение Хрущева и военную интервенцию в Чехословакии. С этими маршалами были связаны влиятельные гражданские группы в партийном, государственном и полицейском аппарате. Представители этих групп тоже были воспитанниками сталинских времен. Они, как и маршалы, видели в хрущевской политике причину разложения сталинской дисциплины не только во входящих в империю странах, но и в самой России.

Хрущевская политика, однако, не была делом одного Хрущева, и у нее среди власть имущих были влиятельные сторонники. К ним следует отнести группы, связанные с развитием современной военной промышленности, в том числе и военных, ответственных за эту отрасль (ракетные войска и т.п.), а также представителей дипломатических кругов и специалистов в области внешней торговли. Представления этих людей о великодержавных интересах Советского Союза были, несомненно, шире. Их философия была менее старомодной, чем мировоззрение старых маршалов и связанной с ними политической бюрократии. Сторонники Хрущева считали, что реализации советских целей может в большей степени способствовать использование таких методов, которые применяют для расширения своего международного влияния Соединенные Штаты: оснащение современным оружием; экономическое, политическое и военное проникновение в отдаленные, но стратегически важные области; проявление дипломатической активности, которая обеспечила бы для деятельности СССР широкую международную платформу.

Сторонники этой теории оценивали хрущевскую эру положительно, поскольку при Хрущеве Советский Союз действовал в направлении, которое соответствовало сформулированной выше стратегии. Но в последние годы правления Хрущева даже представители этой группы не считали его подходящим лидером. Хрущев был слишком импульсивным; он принял ряд необдуманных решений, которые привели к нежелательным результатам и вызвали сопротивление значительной части советской бюрократии. Это, в свою очередь, укрепляло влияние ортодоксальных сталинистов, создавая тем самым угрозу интересам тех групп, которые по-новому формулировали стратегические цели Советского Союза, вернее, методы их осуществления. Даже сторонники Хрущева признавали его серьезные провалы, важнейшим из которых они считали разрыв с Китаем.

К представителям новой великодержавной концепции примыкали влиятельные группы советской элиты. Это были сторонники рационального, технократического управления экономикой и, если можно так сказать, сторонники советской политической демократии.

Столкновения между представителями этих двух тенденций имели место на всех уровнях власти, вплоть до политбюро. Результатом явилось падение Хрущева и возвышение Брежнева. Это произошло в октябре 1964 г. В последующие три года — до свержения Новотного — ситуация в Москве все еще не была ясной. Казалось бы, самый могущественный человек в СССР — Леонид Брежнев, но в то же время он был еще царем по милости других, так как ни одна из соперничающих групп не была достаточно сильной, чтобы решить исход борьбы; поэтому все вместе поддерживали Брежнева на вершине пирамиды. У Брежнева не было еще "своего политбюро", тогда ни один из членов политбюро не был обязан своим положением Брежневу — напротив, Брежнев был всем обязан им.

После 1970 г. Брежнев начинает постепенно заменять прежних членов политбюро своими ставленниками, и эти люди уже зависят от него.

Как же оценить Пражскую весну с учетом происходившего в Москве?

Свержение Новотного было непосредственно связано с политической обстановкой в Советском Союзе. Брежнева совершен-

но не беспокоила судьба Новотного, что объяснялось двумя причинами: во-первых, Новотный был пережитком эры Хрущева, они с Брежневым не очень любили друг друга. Во-вторых, с лета 1967 г. Новотный ориентировался на советских маршалов. Но и эти отношения не были столь простыми, поскольку Новотный постоянно противился размещению в Чехословакии советских войск, чего Москва требовала с 1966 г. Новотный был согласен с установкой в Чехословакии советского стратегического оружия и пребыванием необходимых для его обслуживания специалистов (в количестве около 8.000 человек), но отказывался предоставить Советскому Союзу базы для обычных видов вооружений и значительного военного контингента. Существует мнение, что Новотный сотрудничал с группой советских "ястребов" ради нейтрализации нажима тех, кто настаивал на размещении в Чехословакии советских частей. Новотный полагал, что, согласившись на установку советского стратегического оружия в Чехословакии, он завоеует доверие московских "ястребов", несмотря на его прохладные отношения с Брежневым. Весьма вероятно, что Новотный считал положение Брежнева нестабильным, а его возвышение — временным, и потому не хотел связывать свою судьбу с ним.

Брежнев же полагал, что после свержения Новотного укрепитя его личное влияние в Чехословакии и уменьшится влияние маршалов. Группа советских "ястребов" рассматривала отставку Новотного как свой проигрыш, а последовавший за этой отставкой процесс демократизации политической жизни Чехословакии открыто поставила в вину Брежневу. С этой группой "ястребов" были непосредственно связаны Ульбрихт и Гомулка. Можно проследить, что критика Пражской весны была координированной. Правда, действия Ульбрихта и Гомулки обуславливались не великодержавными интересами, а внутривнутриполитическими — оказалась в опасности их личная власть, поскольку их позиция была более шаткой, чем у Новотного, а в соседнем государстве бушевала эпидемия демократии.

Советская агентура в Чехословакии — в компартии, армии, органах госбезопасности — тоже была связана с советскими "ястребами". К "ястребам" примыкали и те советские дипломаты, которые стояли во главе посольства в Праге (Червоненко, Удальцов). Поэтому вся информация, поступающая в Кремль че-

рез посольство, формулировалась так, чтобы поддержать точку зрения "ястребов".

Таким образом, борьба за влияние в Чехословакии (а тем самым и за решающее слово относительно будущего Чехословакии) была не только следствием идеологических разногласий в советской верхушке, но и органической частью борьбы различных групп советской элиты за власть. Причем с самого начала чехословацкая проблема затрагивала личные интересы Брежнева.

26 августа 1968 г. во время переговоров с чехословацким руководством Брежнев как бы походя обронил, что о военной интервенции как о *возможной* альтернативе решения чехословацкой проблемы было договорено уже в мае 1968 г., то есть сразу же *после* утверждения Программы действий КПЧ и персональных перемен, проведенных до 5 апреля 1968 г., но *еще до* принятия Центральным комитетом КПЧ постановления о созыве чрезвычайного съезда и *до* опубликования манифеста "Две тысячи слов". По всей вероятности, решение о военной интервенции как о *возможной* (но не единственной) альтернативе было принято до майского пленума ЦК КПЧ, который происходил с 29 мая до 1 июня. Вслед за упоминанием об этом майском решении Брежнев отметил, что и позже все-таки можно было избежать интервенции.

4 мая 1968 г. в Москву прибыла делегация КПЧ, в которую входили Дубчек, Смирковский и Биляк. Несмотря на то, что выслушанные ими в Москве упреки были более острыми, чем недовольство, высказанное "братскими" компартиями в Дрездене, все же в те дни решение об интервенции еще принято не было. Проходившие в Москве переговоры, как и кампания в советской печати тех дней, свидетельствуют о том, что тогда Кремль все еще надеялся изменить курс Чехословакии посредством политического и экономического нажима.

Решение об интервенции, как мне кажется, было принято где-то между 5 и 29 мая 1968 г. 8 мая 1968 г. в Москве состоялось секретное совещание руководителей пяти партий тех стран, которые приняли участие в августовском вторжении в Чехословакию. КПЧ, как и компартия Румынии, приглашена не была. На этой встрече Ульбрихт и Гомулка наверняка настояли на обсуждении возможности военной интервенции. Возможно, что со-

ветское руководство отложило принятие решения об интервенции до возвращения из Праги маршала Гречко (он находился в Чехословакии во главе советской делегации с 17 по 22 мая) и Алексея Косыгина, который с 17 по 25 мая "лечился" в Карловых Варах. Представители обеих групп — и маршалов, и технократов — провели в Праге инспекцию, в результате которой политбюро приняло компромиссное решение: интервенция возможна, но только в случае крайней необходимости. На практике советское руководство все еще продолжало предпринимать попытки обратить Чехословакию на путь истинный.

Что же мешало представителям более рациональной хрущевской тенденции согласиться с советскими "ястребами" в вопросе военного вмешательства в чехословацкие события? Они наверняка не видели в "социализме с человеческим лицом", в чехословацкой демократической реформе надежду социализма и будущее Советского Союза. События в Чехословакии они, как и "ястребы", рассматривали только с точки зрения интересов советской бюрократии, ее защиты в Советском Союзе и в советском блоке. Противились же они интервенции потому, что, по их мнению, военное вторжение в Чехословакию поставит под угрозу все то, чего добилась хрущевская политика на международной арене: разрядку отношений с западными государствами и перспективу развития экономических и политических связей Советского Союза с ними. Сторонники хрущевского направления опасались, что военное вторжение в Чехословакию ослабит их позиции в Советском Союзе и, напротив, укрепит позиции ортодоксальных сталинистов.

Мы видим, что причины, "склонившие" некоторых представителей советского руководства на сторону чехословацкой реформы, вовсе не вытекали из сути самой реформы. Поэтому каким бы ни был состав чехословацкого политбюро и что бы оно ни предпринимало, на позицию советских руководителей это никакого влияния оказать не могло. Противники интервенции руководствовались мотивами, зависящими не от Чехословакии, а от международных интересов Советского Союза, от внутрипартийных конфликтов, от целей различных групп советской элиты. То же можно сказать относительно позиции "ястребов".

В ноябре 1968 г. на торжествах по поводу Октябрьской ре-

волюции Брежнев в личной беседе с Богумилом Шимоном сказал:

— Вы думали, что раз в ваших руках власть, то вы можете поступать, как хотите. Даже я не могу себе этого позволить, даже мне удастся осуществить примерно треть моих намерений. Что бы произошло, если бы при голосовании в политбюро я не поднял бы руки за военную интервенцию? Наверняка не было бы здесь сейчас тебя. Но, возможно, не было бы здесь и меня.

Я верю, что Брежнев говорил это серьезно, поэтому и я отношусь к его словам серьезно. Они подтверждают мои догадки относительно сложившейся тогда ситуации. Кремлевским "ястребам" удалось превратить чехословацкую проблему в ключевой момент внутривосточного конфликта в Советском Союзе. "Ястребы" увидели в чехословацкой реформе удачный повод для сведения счетов, поскольку считали, что Чехословакия ставит сторонников хрущевской политики в затруднительное положение. И они были правы.

Вернувшись в конце мая 1968 г. из Праги, маршал Гречко наверняка привез с собой достаточное количество аргументов в пользу политической линии маршалов. Но с чем тогда вернулся Косыгин? Мне думается, что Косыгин после визита в Чехословакию пришел к следующему выводу: поставить, оказав поддержку Дубчеку и его реформе, судьбу сторонников хрущевской политики на карту чрезвычайно рискованно и опасно. Они могли бы лишиться своих позиций на верхах. И если сторонники хрущевской линии не проголосуют за аргументы "ястребов", причем тогда это еще не означало окончательного согласия с военной интервенцией, то больше они своих представителей в политбюро иметь не будут.

Почему? Потому ли, что в Чехословакии возникла "угроза социализму", опасность гражданской войны, потому ли, что там действовали силы, стремившиеся к "реставрации капитализма"? Потому ли, что руководство КПЧ было намерено оторвать Чехословакию от Советского Союза? Ничего подобного, и Косыгин великолепно понимал, что все это — пропагандистская болтовня, идеологические одежды, которыми маскируется действительность. Прагматики в коммунистическом движении прекрасно знают цену этим приемам, поэтому в некоторых случаях, несмотря на пропагандистские оргии, принимались и правильные

решения. Я же сейчас пишу не доклад для совещания коммунистических партий, а даю собственную оценку событий, и потому полностью абстрагируюсь от идеологической риторики.*

Косыгин, который подходил к чехословацким событиям не так, как престарелые советские маршалы, все же судил о них с точки зрения великодержавных интересов Москвы. Что же легло в основу его суждений? Обширную информацию он получил еще в Москве, а дополнительную — в Чехословакии. Там Косыгин встретился с некоторыми членами партийного руководства, среди них с теми, которых он прежде не знал, как, например, с Честмиром Цисаржем. Несколько дней Косыгин дышал воздухом Пражской весны. Все, что он узнал и с чем он столкнулся, привело его к выводам, которые мало чем отличались от заключений "ястребов".

Косыгин увидел, что чехословацкая система тоталитарной диктатуры оказалась в глубоком кризисе, что эту систему стремятся изменить как "низы", так и "верхушка". Он увидел, что те рычаги управления, которые во всех странах советского блока гарантируют власть партийной бюрократии, в Чехословакии вышли из строя. Поэтому положение чехословацких властей он оценивал как нестабильное. Косыгин не разделял ни веры Дубчека в возможность реализации учения "марксизма-ленинизма" мирным путем, ни приверженности чехословацкого народа к идеям демократии и гуманизма. Косыгин даже представить себе не мог, что компартия, которая в своей стране должна обеспечивать интересы Москвы, могла бы править на такого рода основах. Не следует забывать, что советская бюрократия свергла Хрущева за менее смелые и рискованные для советской империи эксперименты, чем чехословацкая реформа.

Задели Косыгина и некоторые другие обстоятельства, касавшиеся его лично. Чехословацкие руководители не смогли убе-

* Этот факт объясняет, почему освещение некоторых важнейших вопросов здесь несколько отличается от их изложения в моей книге "Попытка реформы в Чехословакии в 1968 г.", Кельн, Индекс 1975 г., написанной в Праге до конференции европейских коммунистических партий. Я послал тогда рукопись людям, которые передали ее руководителям нескольких компартий — КПСС, КПЧ и Венгерской социалистической рабочей партии, а также компартий Италии и Франции.

речь его, вторую после "царя" фигуру империи, от назойливых журналистов: во время прогулки по Карловым Варам, когда Косыгин пил прописанную ему порцию минеральной воды, его остановила корреспондентка чехословацкого телевидения. Эти кадры были в тот же день показаны на экране, и люди увидели, как уклоняется Косыгин от ответа на неприятные ему вопросы. Определенные сомнения должна была вызвать у Косыгина и беседа с секретарем ЦК КПЧ Цисаржем. Косыгин остался недоволен им. Он считал неприемлемыми высказывания Цисаржа о марксизме-ленинизме и его пригодности для разных стран мира в докладе по случаю юбилея Маркса. С точки зрения кремлевских правителей, Цисарж казался недорослем, который не знает, о чем говорит. Цисарж защищал свои убеждения, не понимая, что Косыгин проверяет его пригодность быть в числе правителей одной из важнейших губерний. А когда Цисарж осознал это, исправить положение уже было невозможно. Цисарж пытался оправдаться перед Косыгиным недостаточным знанием русского языка, но он плохо знал и русскую литературу, поскольку иначе он помнил бы, как один из чеховских персонажей не к месту чихнул в присутствии его высокоблагородия и чем это кончилось.

Во время майского пребывания в Чехословакии Косыгин лично убедился, что дубчеховское руководство не едино, что в нем укрепилась агентура московских "ястребов". Это, несомненно, сыграло важную роль, поскольку стало очевидно, что "ястребы" могут победить и без союза с более умеренным крылом советского руководства и в результате укрепить свои позиции в Советском Союзе. Все это, как мне кажется, и привело к тому, что в конце мая советское руководство утвердило военную интервенцию как возможную альтернативу решения чехословацкой проблемы, и предотвратить ее, таким образом, могло лишь укрепление умеренной кремлевской группы настолько, чтобы она не опасалась исхода конфликта с "ястребами" по вопросу Чехословакии.

Ничего подобного, однако, не произошло — ни в СССР, ни в международной политике, ни в Чехословакии. Напротив, все последующее развитие как бы подыгрывало тем, кто настаивал на интервенции. Проанализируем события, следовавшие за май-

ским пленумом ЦК КПЧ, на котором было принято решение о созыве чрезвычайного съезда КПЧ 9 сентября 1968 г. Определение на этом пленуме политических и временных рамок демократической реформы побудило ее противников перейти в наступление, которое началось в середине июня 1968 г.

До сих пор в анализах Пражской весны преобладает мнение, что решения майского пленума ЦК КПЧ были победой консервативных сил, выступавших против реформы. Подчеркивается, что в резолюции этого пленума "правые силы" называются главной опасностью. Это, однако, не соответствует действительности. Я лично составлял текст резолюции, и я очень внимательно следил за тем, чтобы политика против экстремистов как справа, так и слева, не была заменена односторонней формулировкой. В резолюции майского пленума ЦК говорится:

"В настоящее время партия видит основную задачу в том, чтобы не допустить возникновения угрозы социалистическому устройству и социалистическому образу управления нашим государством как со стороны правых, антикоммунистических тенденций, так и со стороны консервативных сил, стремящихся к возвращению существовавшего до января 1968 года положения, сил, которые в прошлом не смогли обеспечить развитие социализма".

В резолюции еще более конкретно, чем в Программе, говорилось о системе самоуправления как о реальной практической задаче, об отношениях между отдельными партиями Национального фронта, а также о печати и других средствах массовой информации. Последние два вопроса вызвали острую реакцию со стороны радикального крыла коммунистов-реформистов. Представители этого крыла действительно считали Программу действий КПЧ слишком узкой, так что и резолюция майского пленума представлялась им победой консервативных сил. В действительности же майская резолюция была выражением того идейного направления в партии, которое представители радикального крыла называли "центристским" — она настаивала на соблюдении рамок Программы действий КПЧ, которые ограничивали как консерваторов, так и радикальных реформистов.

Правда и то, что консервативные силы, к которым относилась

и советская агентура в Чехословакии, однозначно рассматривали майскую резолюцию как критику радикальных элементов и старались воспользоваться этой резолюцией. Представители же радикальных реформистов выступали против консерваторов не с позиций Программы действий, а, я бы сказал, с позиций манифеста "Две тысячи слов".

Борьба между представителями этих двух тенденций обострилась, так что объединить большинство на основе майской резолюции не удалось. Поскольку радикальные реформисты играли важную роль в редакциях газет, радио и телевидения, то эта борьба велась на открытой сцене, и создавалось впечатление, что она-то и представляет собой главное содержание внутривнутриполитической жизни Чехословакии. В самой КПЧ в то время преобладала центристская ориентация. Ее сторонники составляли около 80% делегатов, избранных в июне-июле на чрезвычайный съезд. Советские "ястребы" и противники реформы в Чехословакии воспринимали происходящее как свое поражение на двух фронтах — открытое наступление радикальных реформистов и победу центристов в партии. Это и стимулировало их совместную атаку летом 1968 г. В качестве повода использовались открытые выступления радикальных реформистов, на деле же они пошли в наступление против реформы вообще, против центристов, действующих в партийном аппарате. В варшавском письме представителей компартий стран, которые в августе вторглись в Чехословакию, носителями "контрреволюционной платформы" называются еще те, кто подписал "Две тысячи слов". Однако 21 августа 1968 г. советские солдаты и советские наемники в чехословацких органах государственной безопасности ищут не автора "Двух тысяч слов" Людвика Вацулика и не кого-либо из подписавших этот манифест, а арестовывают в здании ЦК КПЧ Дубчека, Черника, Смрковского, Кригеля, Шпачека и Шимона.

Как только московские маршалы, Гомулка и Ульбрихт получили в мае 1968 г., еще до принятия майской резолюции ЦК КПЧ, благословение и у них появилась возможность считать военную интервенцию альтернативным решением чехословацкой проблемы, они решили ни в коем случае этой возможности не упускать. На некоторое время их приостановила резолюция майского пленума ЦК КПЧ. Эту резолюцию Брежнев даже назвал "первой ласточкой", которая может воспрепятствовать ин-

тервенции. Так, наверное, в то время утверждали представители умеренного крыла в советском политбюро. Но уже через недели две-три перевес оказался на стороне "ястребов", которых война между чехословацкими консерваторами и радикальными реформистами снабжала достаточным количеством необходимых доводов. Представители умеренного крыла могли сослаться только на майскую резолюцию пленума чехословацкой компартии, а "ястребы" говорили о расколе в КПЧ и о том, что этот раскол ставит под угрозу власть чехословацкой компартии, а тем самым и советские интересы в этой стране.

Нажим сторонников интервенции усиливается. Их успехом можно считать встречу в Варшаве, на которую КПЧ "пригласили" таким образом, что она вынуждена была отказаться от приглашения, в результате чего отношения между партиями обострились на самом высоком уровне.

Могло ли чехословацкое руководство принять это приглашение? Конечно, могло, но ценой таких внутривластных конфликтов, которые предоставили бы сторонникам интервенции бесконечное число необходимых аргументов. В действительности же ни о какой дискуссии в Варшаве и речи быть не могло. Компартию Чехословакии вызывали на заседание трибунала, приговор которого был заранее подготовлен и позже опубликован в форме письма пяти партий. Принять варшавскую оценку политической ситуации Чехословакии было для чехословацкого руководства отказом от реформы, а отказ от реформы, в свою очередь, вызвал бы недоверие народа к руководству, недовольство и сопротивление. Поехать же в Варшаву и не согласиться с приговором — означало бы явный раскол с Москвой и с четырьмя другими соседними государствами, что для сторонников интервенции стало бы новым доказательством ее необходимости.

Решение руководства КПЧ не ездить в Варшаву и одновременно призвать к двусторонним переговорам было, вероятно, единственно политически возможным выходом. Принесло оно, однако, лишь короткую передышку. "Ястребы" вскоре стали снова наступать, а у чехословацких руководителей уже не было возможности сопротивляться. Почему? Причины этого, как мне кажется, совершенно не зависели от Дубчека.

Варшавская встреча пяти партий была для "ястребов" тем пунктом, за который уже невозможно было отступить, поскольку такое отступление рассматривалось бы как серьезное политическое поражение. Они вынуждены были продолжать свою линию — либо провести военную интервенцию, либо потерять свои позиции в правящей элите. После коротких перипетий, вызванных переговорами в Чиерне на Тиссе и Братиславе, "ястребы" начали (мне кажется, это произошло где-то около 10 августа) свой последний раунд.

В начале августа, после встречи в Братиславе, члены советского политбюро разъехались в отпуск. Физическое отсутствие высшего начальства, как правило, создает благоприятное положение для тех, кто пытается — с успехом или безуспешно — провести дворцовый переворот. У меня нет фактических доказательств, но мне думается, что около 10 августа был заключен своего рода союз между "ястребами" и некоторыми колебавшимися. Фундаментом такого союза должно было стать нечто серьезное. Возможно, кому-то предложили место генерального секретаря КПСС вместо Брежнева. На такое место кандидаты всегда найдутся, наверняка их было достаточно и тогда. Не знаю, кому было сделано это предложение. Возможно, Шелепину, возможно, кому-то другому. Но мне думается, что ставкой в игре был именно этот пост, и что участвовали в подготовке дворцового переворота те, кого позже Брежнев вывел из состава политбюро и партийного руководства.

Маршалы подготовили военную сторону интервенции. Начальником штаба Организации Варшавского договора неожиданно был назначен генерал Штеменко, открытый сталинист. До середины августа наблюдалась повышенная активность. Маршалы летали с Украины в ГДР и Польшу, шло передвижение крупных воинских частей. Около 15 августа члены политбюро преждевременно закончили отдых и возвратились в Москву. Вслед за этим произошли два заседания политбюро, на которых, вероятно, присутствовали и другие ведущие партийные и государственные деятели. На этих заседаниях (17 и 18 августа) было принято окончательное решение о вторжении в Чехословакию.

Я считаю вполне возможным, что Брежнев и умеренное крыло советского политбюро предотвратили кремлевский путч,

взяв инициативу в свои руки и договорившись с "ястребами" об интервенции. Тем самым они выбили козыри из рук своих противников. В таких условиях, разумеется, что бы ни предпринял Дубчек после Братиславской встречи, было бы бесполезным и ничто не могло воспрепятствовать интервенции.

В августовские дни 1968 г. предотвратить интервенцию могло лишь опасение, что интервенция выльется в серьезный военный конфликт. Чехословацкая армия не представляла собой угрозы — выше я уже писал, почему. Следовательно, опасность расширения конфликта могла исходить лишь с Запада. Такой опасности, разумеется, тоже не было, поскольку интервенция не нарушала статус кво в Европе, не нарушала интересы ни западноевропейских государств, ни Соединенных Штатов. Что касается Соединенных Штатов, то это стало известно Брежневу 18 августа 1968 г. (подробнее я скажу об этом ниже).

Кто же тогда несет вину за интервенцию?

Безусловно, агрессор — Советский Союз, его политическое руководство, поскольку советское руководство сочло интервенцию единственно возможным методом защиты своих интересов в Чехословакии. Противоречия между отдельными членами и группами советского руководства были на время урегулированы, а демократическая реформа Чехословакии задушена. Отдельные группы советского руководства несут различную долю вины, но все-таки это их общая вина, поскольку все они представляют власть, которая обеспечивает свою гегемонию в многонациональной, представленной различными цивилизациями империи только путем насилия, даже против союзников. Другой ответ на вопрос о вине за август 1968 г. дать невозможно, с какой бы позиции мы эту проблему ни рассматривали — с политической или нравственной.

Анализируя события, следует, однако, поставить вопрос не только о вине, но и о том, было ли неизбежным советское решение об интервенции для обеспечения великодержавных интересов СССР? Можно ли было повлиять на это решение и заставить советских руководителей отказаться от интервенции — из-за отсутствия согласия на этот счет или потому, что интервенция могла бы поставить под угрозу великодержавные интересы Советского Союза? На этот вопрос невозможно ответить однознач-

но. Любой ответ на него может быть лишь гипотетическим и неизбежно останется лишь попыткой проанализировать возможность, которую нет способа проверить.

Понимая это, я все же утверждаю, что чехословацкие коммунисты могли и были обязаны предпринять определенные меры, чтобы помешать достижению единства советского руководства в вопросе об интервенции в Чехословакию, хотя бы из-за последствий, которыми такая интервенция могла быть чревата.

Я уже писал выше, что решающим в Пражской весне был период с января до мая. Этот период оказался решающим и для московских "ястребов". Если бы положение в Чехословакии стабилизировалось, если бы чрезвычайный съезд КПЧ состоялся уже в мае, возможно, появились бы шансы на ослабление единства советского руководства в вопросе о военной интервенции. Можно, конечно, возразить, что при таких обстоятельствах Пражская весна, вероятно, не переросла бы во всенародное демократическое движение, поскольку реформа "сверху", разрушающая систему тоталитарной диктатуры, проводилась бы постепенно. Не было бы в стране взрыва надежды, проявлений массового воодушевления, но, возможно, не пришло бы и отчаяние, разочарование, апатия. Весьма вероятно, однако, что и в случае постепенной реформы Чехословакия натолкнулась бы на яростное сопротивление Москвы, в результате чего оказалось бы невозможным осуществить даже то, что было запланировано в Программе действий.

В период с июня до августа сложившаяся в эти месяцы внутривнутриполитическая обстановка в Чехословакии предоставляла намного меньше возможностей для предотвращения интервенции, чем в период с января до мая.

Летом 1968 г., когда решался вопрос об интервенции, коммунисты-реформисты Чехословакии уже никак не могли повлиять на это решение. Правда, некоторые идеологические и пропагандистские аргументы в пользу интервенции появились в связи с событиями, происшедшими в Чехословакии в эти месяцы, но, поскольку истинные причины интервенции были совсем иными, то вряд ли можно думать, что, если бы, например, "Две тысячи слов" не были опубликованы, то сторонники интервенции не нашли бы для нее других оправданий.

В этот период советские агенты в Чехословакии (в сотрудничестве с органами ГДР) все чаще фабриковали такого рода "аргументы" сами. Известно несколько безусловных провокаций. На шоссе вблизи Соколова было найдено "американское оружие", распространялись соответствующие "листовки" и т.п. Спровоцирована была кампания петиций с требованием роспуска Народной милиции.* Я тогда обсуждал этот вопрос с министром госбезопасности Павелом, и мы оба пришли к выводу, что следует проверить, кто эти подписи собирал. Посланные Павелом работники органов госбезопасности легко обнаружили, что среди активных агитаторов за ликвидацию Народных милиций действует более пятидесяти сотрудников их собственного учреждения. Это была провокационная операция, организованная советскими агентами в чехословацких органах госбезопасности. Известное "Письмо 99 с завода Прага" также было сфабриковано по заказу Москвы. Такие акции освещались в советской печати широко и демагогически.

После встречи представителей пяти партий в Варшаве, промовская группа — Биляк, Индра, Якеш, Кольдер, Швестка — отвергала любые предложения, которые могли бы умиротворить Москву. Еще до совещания в Чиерне на Тиссе я представил на обсуждение политбюро ЦК КПЧ два конкретных предложения: запретить на три месяца издание печатных органов, которые публикуют материалы, наносящие вред международным отношениям Чехословакии, и провести закон о Национальном фронте как о единственной законной платформе при образовании новых организаций, имеющих характер политических партий. При формулировке этих предложений я исходил из того, что в Чиерне на Тиссе делегация КПЧ наверняка должна будет пойти на такого рода уступки, а потому в интересах реформы лучше при-

*

Народная милиция — вооруженные отряды КПЧ. Они формируются, в основном, на промышленных предприятиях, а командование их находится в партийных секретариатах — райкомах, обкомах и ЦК. Народная милиция была учреждена в феврале 1948 г., и она сыграла тогда важнейшую роль в обеспечении победы коммунистов и тем самым в ликвидации демократии в стране. — Л.С.

нять такие решения до встречи с советским политбюро, тем более, что ни одно из этих предложений не противоречило концепции Программы действий.

Однако политбюро ЦК КПЧ эти предложения не приняло. Против них выступили радикальные коммунисты-реформисты, которые повлияли и на других членов партийного руководства. Дубчек и Смирковский, с которыми я заранее согласовал эти предложения, под влиянием радикального крыла эти мои предложения тоже не поддержали. Но особенно интересно, что эти предложения не поддержал никто из промосковской группы, хотя представители этой группы уже несколько месяцев не упускали возможности зачитать на заседании политбюро отрывки из различных статей и заявить, что деятельность различных организаций, не входящих в Национальный фронт, — серьезнейшая проблема и угроза социализму. До совещания в Варшаве их позиция наверняка была бы иной, так что объяснить их поведение можно только тем, что промосковская группа в чехословацком руководстве ориентировалась на советскую военную интервенцию, была заинтересована в укреплении позиции московских "ястребов", а потому совершенно не была заинтересована в урегулировании конфликтов, назревавших перед совещанием в Чиерне на Тиссе.

Я тогда упрекал представителей радикального крыла коммунистов-реформистов в близорукости и в том, что они иногда безответственно способствовали возникновению ситуаций, наносящих вред реформе, но это не значит, что я не видел, как мешали реформе консерваторы и советские агенты в КПЧ, которые с июля 1968 г. делали все, чтобы ускорить интервенцию. Но этих людей я не считаю сторонниками демократической реформы, и поэтому не могу упрекать их в том, что они препятствовали ее проведению. Эти люди действовали в соответствии со своими интересами логично и разумно, чего нельзя сказать о радикальном крыле коммунистов-реформистов.

В вопросе о советской военной интервенции радикально настроенные коммунисты-реформисты имели, однако, одно преимущество — они яснее представляли себе эту опасность, чем дубчековское партийное руководство. У них не было иллюзий относительно Советского Союза, и с мая месяца они часто предупреждали, что Москва раздавит демократическую реформу, да-

же, если придется прибегнуть к военному вмешательству. Поэтому они больше, чем партийное руководство, думали о мерах, которые могли бы такому вмешательству воспрепятствовать; они готовы были искать союзников среди коммунистических и левых сил вне советского блока и пойти на открытое выступление против советской гегемонии, как поступил в 1948 г. Тито.

Большая часть радикально настроенных коммунистов-реформистов была связана с печатью и другими средствами массовой информации, поэтому их точка зрения часто выражалась открыто. Для дубчековского руководства это создавало серьезные затруднения, так как Москва рассматривала такого рода выступления в печати как доказательство "антисоветизма", как стремление "нарушить единство социалистических государств" и создать тем самым угрозу для стран всего советского блока. Руководство КПЧ вынуждено было резко выступить против радикальных коммунистов. В качестве примера приведу резолюцию майского пленума ЦК КПЧ.

"Коммунисты не имеют права забывать, что искажение и преувеличение различий во мнениях вплоть до распространения ложных сообщений об 'опасности военной интервенции' (например, в связи с маневрами войск стран Варшавского договора и т.п.) наносит серьезный вред нынешнему политическому курсу и льет воду на мельницу определенных кругов в капиталистических странах, стремящихся к расколу единства социалистических государств.

ЦК КПЧ заявляет, что все переговоры, которые проводились и проводятся на партийном и государственном уровне с представителями СССР, завершаются положительными решениями и открывают возможности углубления сотрудничества и помощи, необходимой для решения наших экономических трудностей, и что советские представители выразили готовность предоставить нам такую помощь".

В этой резолюции дубчековское руководство сознательно искажило подлинное положение вещей и лгало в интересах Москвы, считая, что лжет ради собственных интересов. Дальнейшие

события подтвердили правоту тех, кто предупреждал об опасности военной интервенции и видел в обостряющихся конфликтах с Москвой угрозу реформе. Тут ничего не могут изменить политические расчеты, которыми оправдывалось руководство КПЧ, скрывая правду, хотя бы потому, что эти расчеты основывались на иллюзиях и оказались ошибочными.

Нереально было надеяться, что руководство КПЧ в случае необходимости пойдет на раскол с Москвой и советским блоком, но вполне реальной была возможность добиться единства в политбюро КПЧ относительно того, что реформа осуществима при сохранении всех обязательств Чехословакии по отношению к СССР и странам Организации Варшавского договора, и формально такое единство было достигнуто. По правде говоря, позиция дубчековского руководства в этом вопросе вовсе не была результатом рационального осознания политической необходимости. Значительную, если не решающую роль при определении этой позиции играли иллюзорные идеологические представления сторонников реформы в дубчековском политбюро.

Анализируя столь деликатный вопрос, трудно говорить за других. Более того, я вовсе не намерен болтать о взглядах членов политбюро даже в тех случаях, когда они мне известны.

Я буду говорить только о себе. В период Пражской весны я вовсе не считал, что Москва видит в нашей реформе яркий пример для себя. Более того, я считал, что в Советском Союзе еще не созрели условия для подобного рода политической реформы и что там проблема демократизации будет решаться еще долго и трудно. У меня не было иллюзий и относительно великодержавной внешней политики Советского Союза. Я уже тогда понимал, что советские интересы в блоке ставятся выше декларированных принципов независимости и суверенитета стран-членов этого блока. Я знал, что в московском политбюро сидят люди, которые вовсе не думают об оптимальном развитии социализма в соответствии с ценностями гуманизма и демократии, дороги традиционному европейскому социализму. И все же у меня были определенные иллюзии, которые развеяла только советская оккупация в августе 1968 г.

До интервенции мне казалось, что московское политбюро заинтересовано в развитии социализма, пусть в упрощенном по сравнению с социалистической теорией виде, как было заинте-

ресовано политбюро КПЧ, скажем, при Новотном. И это было иллюзией. В сознании членов московского политбюро "социализм" означал их личную власть, общественное устройство, характер которого определяют они сами. Для брежневского политбюро не существовало даже того минимума теоретических положений о лучшем, более совершенном, свободном и демократическом обществе по сравнению с "реальным социализмом", которые признавал как высший принцип даже Новотный. Для меня коммунистическая идеология еще была программой политических перемен, но для московского политбюро она уже не была коррективной их личных интересов.

До августа 1968 г. я полагал, что Советский Союз — это держава, которая с 1956 г. осуществляет свою политику с учетом специфики подчиненных стран. После раскола с Югославией и Китаем, после событий в Польше и Венгрии, считал я, Кремль предпочтет более гибкие формы экономической, военной и политической зависимости стран своей сферы влияния. Часть московского политбюро (те, кто в вопросе интервенции занимали более умеренную позицию) действительно рассуждали подобным образом. Но в конечном счете политбюро как целое подтвердило, что в тех случаях, когда Советскому Союзу не противостоит сила, он использует самые примитивные методы для обеспечения собственного господства и гегемонии, даже по отношению к союзникам. Собственно говоря, он даже не стремится к союзу с относительно самостоятельными национальными государствами, если, не опасаясь начала новой мировой войны, может вместо союза обеспечить неограниченное господство, полное подчинение других стран московскому диктату.

Мои иллюзии помешали мне увидеть реакционный характер Советского Союза, правильно оценить роль, которую Советский Союз играет в своей империи. Я не смог также правильно оценить характер перемен в Советском Союзе после свержения Хрущева.

В Чехословакии именно 1964-1967 гг. были периодом развития коммунистического реформизма, и это закрывало от меня факт, что в это же время в Советском Союзе протекал совершенно противоположный процесс. Назвать Хрущева коммунистом-реформистом можно лишь с большими натяжками, но все же его политика была направлена на систематическую деструк-

цию механизмов сталинской системы правления, а после его свержения в Советском Союзе проходило их последовательное восстановление.

Мне могут возразить, что подавление венгерской революции в 1956 г. произошло при Хрущеве. Но до августа 1968 г. я и этот факт объяснял с точки зрения идеологии, считая, что стимулом к интервенции стали вооруженные выступления против органов тоталитарной диктатуры Ракоши. Кроме того, я считал, что существенную роль сыграло нестабильное положение Хрущева в то время, вскоре после XX съезда КПСС. Что же касается Чехословакии, то мне казалось, что в 1968 г. эти факторы совершенно отсутствуют, поэтому военная интервенция невозможна. И это было иллюзией, так как и в Будапеште перестрелки на улицах были советской провокацией, которая должна была оправдать военное вмешательство советских войск. Было также иллюзией считать, что кремлевское политбюро поколеблется, когда в какой-либо из стран советской империи проявится стремление к демократической реформе и к достижению национальной независимости. До тех пор пока в самом Советском Союзе господствует режим тоталитарной диктатуры, кремлевское руководство будет исходить из того, что "союз нерушимый республик свободных" — лишь строка советского гимна, а на деле любое народно-демократическое движение в империи представляет собой опасный вирус для самого СССР.

Эти иллюзии, присущие не только мне, объясняют, почему дубчековское руководство не попыталось заручиться поддержкой за границей, что вынудило бы Советский Союз считаться с возможными международными последствиями. Напротив, с самого начала партийное руководство во главе с Дубчеком проводило совершенно иную политику: определило реформу как внутреннюю проблему Чехословакии и только. Даже после марта, когда сопротивление Кремля (а также Ульбрихта и Гомулки) стало очевидным, чехословацкое руководство осталось на тех же позициях — оно снова и снова подчеркивало, что это внутреннее дело Чехословакии, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, а потому никто не должен вмешиваться в наши. Чехословацкое руководство избрало тактику умиротворения Москвы постоянными уверениями, что Чехословакия

всегда будет защищать интересы Советского Союза в рамках советского блока и настаивает только на возможности по-своему решать свои внутренние проблемы.

Поэтому в ночь с 20 на 21 августа 1968 г. советское руководство было совершенно уверено, что советские войска не встретят вооруженного сопротивления и что на международном форуме Советский Союз не натолкнется на продуманную и подготовленную Чехословакией политическую защиту.

Общественность демократических стран, разумеется, осудила советскую интервенцию; поддержали Чехословакию и некоторые западные коммунистические партии, но не была создана такая система международных отношений между Чехословакией и другими государствами, которая могла бы вызвать опасения Кремля, что вторжение в Чехословакию поставит под угрозу великодержавные интересы СССР. Пример Румынии наглядно показывает, что такая система международных отношений возможна была и для Чехословакии. Сомнительно, правда, можно ли было ее создать за полгода, но это — особая проблема. Во всяком случае, Дубчек и его политбюро даже не попытались это сделать.

Если допустить, что происходящее в Праге могло в какой-то степени повлиять на решения, принимавшиеся в Москве, то, по моему, чехословацкое руководство могло принять лишь две меры. Во-первых, до июня 1968 г. провести кадровые перемены в партийном и государственном аппарате путем созыва чрезвычайного съезда КПЧ и выборов в парламент (что, разумеется, ограничило бы всенародное демократическое движение периода Пражской весны), и, во-вторых, повести инициативную внешнюю политику (в международном коммунистическом движении, по отношению к Югославии, Румынии и Китаю, к важнейшим странам третьего мира и по отношению к демократическим силам и государствам Запада) — такую внешнюю политику, которая полностью соответствовала бы духу чехословацкой реформы.

Я сам в период Пражской весны старался реализовать первую из двух этих мер. Международные контакты Пражской весны я оценивал совершенно неверно, и виной этому были мои иллюзии относительно международной политики Советского Союза. Ана-

логичную позицию занимали тогда многие сторонники реформы в партийном руководстве. Поэтому я не могу с полной уверенностью утверждать, что если бы события в Чехословакии развивались в 1968 г. в соответствии с моими представлениями того времени, то советская интервенция не состоялась бы.

Руководство КПЧ во главе с Дубчеком несет политическую ответственность за то, что не попыталось гарантировать успех чехословацкой реформы, но в то же время я не считаю справедливым упрек, что эта его ошибка обусловила советскую военную интервенцию, была одной из ее причин. Такого рода упрек вытекает из определенной логической системы, в соответствии с которой человек, недостаточно вооруженный, не обеспечивший тыл, виноват в том, что на него напали разбойники. Возможно, он действительно должен был бы вести себя более разумно, более осторожно и менее наивно; возможно, ему следовало лучше понимать, что тот, кого он считает приятелем, на деле разбойник. Но это вовсе не означает, что вину за нападение несет не разбойник, а кто-либо другой.

Критики дубчековского руководства, которые с августа 1968 г. до сегодняшнего дня поддерживают "нормализационную" политику Москвы, упрекают руководителей КПЧ в совершенно иных грехах. Эти критики полагают, что дубчековское руководство должно было проводить политику "нормализации" — и тогда военного вмешательства других стран не произошло бы. Возможно, это верно, но следует добавить, что тогда не было бы речи и о политической реформе — ни в рамках всенародного демократического движения, ни в рамках Программы действий КПЧ, как бы ее ни кастрировали. Такого рода критики отказываются от реформы вообще. Если бы в январе 1968 г. коммунисты-реформисты вообще не заняли ключевых мест в руководстве, а вместо них правили бы Биляк, Индра, Якеш, Капек и им подобные, военной интервенции наверняка бы не произошло. В таком случае страна имела бы единственное преимущество — главой государства не стал бы Густав Гусак.

* * *

После того как Дубчек в ночь на 21 августа формально закончил совещание политбюро, в коридорах около зала заседа-

ний собралась толпа. Работники аппарата и журналисты перебежали от группы к группе в ожидании указаний. Никто никаких директив не давал. Но как-то стихийно, импровизированно было принято несколько важных решений.

Тогдашний министр связи советский агент Карел Гофман вместе с советскими агентами в органах госбезопасности (Шалгович) и в Чехословацком печатном агентстве ЧТК (Сулек) уже заранее подготовили план прекращения передач по телевидению и по радио. После первого же предложения из заявления политбюро ЦК КПЧ радиопередатчик был выключен, и радиоприемники замолкли. Ольдржих Швестка, главный редактор газеты "Руде право", запретил публикацию этого заявления и готовил к печати совершенно другой текст. Благодаря решительным действиям Смрковского и с помощью работников радио, которые тут же ввели в действие второй радиопередатчик, заявление партийного руководства через несколько часов было передано в эфир и напечатано в газетах.

Вторым серьезным вопросом, по поводу которого было принято импровизированное решение, был созыв чрезвычайного XIV съезда КПЧ. С этой инициативой выступил Пражский горком КПЧ, первым секретарем которого был Б.Шимон. В ту ночь он обсудил это с Дубчеком. Насколько мне известно, Дубчек колебался. Я думаю, он более всего опасался, что в сложившейся ситуации произойдет массовое убийство делегатов, собравшихся на съезд, советскими войсками, да и не очень-то верил в возможность организации съезда. Но в конце концов, Дубчек согласился, чтобы Пражский горком созвал делегатов. В ту же ночь на 21 августа началась организационная подготовка съезда. Делегаты собрались утром 22 августа в столовой одного из пражских заводов в Высочанах.

Советские транспортные самолеты с танками и солдатами все чаще пролетали над зданием ЦК КПЧ по пути к пражскому аэродрому. Постепенно покидали здание ЦК и люди: работники райкомов, заводских партийных организаций, журналисты разошлись на свои рабочие места. В здании ЦК осталось лишь несколько членов партийного руководства и их помощники, а также несколько работников аппарата ЦК КПЧ, которые, услышав по радио сообщение об оккупации, пошли в ЦК и успели войти в здание еще до того, как его окружили советские солда-

ты. Около четырех утра я вошел в кабинет к Дубчеку. Там были Смрковский, Кригель, Шпачек, Шимон, Садовский, Славик, Якеш и Капек. Их я помню точно, но кроме них там были еще двое — возможно, Барбирек и Риго, но за это я ручаться не могу. Насколько я помню, среди них не было Пиллера, но и в этом я могу ошибаться. Но я хорошо помню, что с нами тогда не было Биляка, Кольдера, Швестки, Индры, Воленика и Эрбана. Эрбан, по-моему, не присутствовал даже на заседании политбюро 20 августа. Во всяком случае, я не помню, чтобы он выступал на этом заседании.

Где-то после четырех часов утра к зданию ЦК КПЧ подъехала черная "Волга" из советского посольства, и вскоре после этого здание окружили бронемашины и танки. Из них выпрыгнули солдаты в мундирах советских парашютистов — в бордовых беретах и полосатых тельняшках, с автоматами в руках. Здание было окружено, у входов стояли густые цепи советских солдат. Несколько офицеров и отряд парашютистов вошли в ЦК.

Мы наблюдали все это из окна, и мне казалось, что я вижу кадры из фильма. При этом я говорил сам себе:

"Да-да, это же советские солдаты, которых ты с восторгом встречал и обнимал 9 мая 1945 года, с которыми ты потом, на протяжении пяти лет пил водку в Москве. Это не силуэты на экране, свои автоматы они нацелят вскоре не на кадетов в Зимнем дворце, не на караульных у Рейхстага, а на тебя".

Отчетливо понимая все это, я все же надеялся, что произошло недоразумение. Я знаю их язык, их образ мыслей, их военный устав, я могу представить себе, о чем они говорят в свободное от службы время, как смотрят на своих офицеров и на Брежнева. Просто невозможно, чтобы они просто так расстреляли меня.

Невозможно? Почему бы это? Разве я забыл, что мне рассказывали мои соседи по Стромынке — фронтовики? Разве они не расстреливали тех, кого вообще не знали, кто не был им опасен и даже не был вооружен? И все же эти минуты отличаются от моих переживаний во время войны. В ночь, когда нацистские оккупанты искали совершивших покушение на Гейдриха, военные и полицейские отряды с такими же автоматами в руках

ходили по Праге. Они были и на нашей улице. Тогда я тоже наблюдал за ними из окна — серые силуэты, проверяющие дома и квартиры. Я знал, что мой отец, довоенный офицер, прячет в шкафу свой мундир и что в каком-то тайнике лежит оружие. Я боялся врага и знал, что если солдаты войдут в квартиру, наступит конец. Произошло чудо — они не пришли.

Перед теми, кто входил в здание ЦК, я не ощущал этого животного страха. Правда, я уже не был маленьким ребенком, ничего не значащим для тех, кто через минуту войдет в помещение. Я знал, что они получили определенный приказ, а потому не допускал мысли, что как только откроются двери кабинета Дубчека, послышится автоматная очередь. Более вероятным было, что нас арестуют, куда-то отвезут, отдадут под суд, а это еще не конец, еще можно что-то сделать, и неизвестно, чем все завершится. Но дело не в рассуждениях; я говорю сейчас о подсознательном ощущении, о подсознательной уверенности. На чем же она основывалась? Наверное, на моей вере в коммунизм и на многолетней принадлежности к привилегированным, к власти имущим.

Мои ощущения были аналогичны ощущениям тех партийных работников, которых арестовывали органы госбезопасности до процесса Сланского. Многие из них хорошо знали представителей этих органов, некоторые еще недавно приказывали им арестовывать других. А когда пришли за ними, то они подсознательно решили, что произошло недоразумение, поскольку власть не может действовать против них самих. Это было ложной уверенностью верящих в коммунизм и обладающих властью коммунистов. Это ощущение переживали и другие, задолго до возникновения коммунистического учения. Я думаю, что и оказавшиеся перед судом инквизиции священнослужители тоже должны были поначалу так думать, пока не испытали орудия пыток и не оказались на костре. Можно ли утверждать, что сам факт советской интервенции вылечил меня от всех моих иллюзий? Конечно, нет.

Я и сейчас не буду говорить за других, но мне казалось, что такие ощущения были и у остальных. По крайней мере, это подтверждалось поведением тех, кто на протяжении нескольких часов сидел под дулами советских автоматов. Йозеф Смрковский в воспоминаниях, опубликованных после его смерти, рассказы-

вает, как он звонил советскому послу Червоненко после того, как советский парашютист застрелил юношу, шедшего впереди небольшой группы людей, которые несли чехословацкие знамена и пели чехословацкий гимн, и заявил, что ответственность за смерть этого юноши ложится на советского посла. Разве мог бы так поступить человек, который под автоматом перестал ощущать себя партнером оккупационной державы, представителем касты власть имущих, к которой принадлежали и Брежнев, и Червоненко?..

Но так чувствовали, по-моему, не только мы, но и советские офицеры и автоматчики. Неожиданно двери кабинета Дубчека раскрылись, ворвались около восьми автоматчиков, окружили нас и нацелили автоматы на наши затылки. Вслед за ними вошли два офицера. Один из них был полковником. Небольшого роста, с орденами (по-моему, он даже был героем Советского Союза) полковник вел себя уверенно, по-барски. Он заявил, что берет нас "под свою охрану", и начал отдавать приказы. Кто-то, по-моему, Дубчек, что-то сказал, и полковник заорал:

— Не разговаривать! Тихо! По-чешски не говорить!

Возможно, если бы он не добавил "по-чешски не говорить", я бы и не обратил на него внимания. Но эти слова меня так возмутили, что я не мог больше переносить унижения и страха и со странной самоуверенностью сверженного власть имущего я по-русски сказал ему:

— Ведите себя так, как вам было приказано. Вы понимаете, где вы находитесь? Вы в кабинете первого секретаря коммунистической партии. Вы получили приказ заставить нас молчать? Не получили? Так сделайте то, что вам было приказано!

Полковник растерялся, хотел что-то сказать, но смолчал. Он оглянулся по сторонам, вышел из кабинета и через некоторое время вернулся с кем-то еще. Он по-прежнему вел себя надменно, но о запрещении разговаривать даже не заикался и начал составлять список присутствующих. Начальники полковника понятия не имели, где кто находится. Они, вероятно, не знали даже, где те их друзья, которые выразили готовность стать членами "революционного правительства" и "революционного трибунала".

Солдаты перерезали телефонную связь в кабинете, закрыли окна, чтобы не было слышно гула толпы, собравшейся вокруг

ЦК за кордонами советских парашютистов. Люди пели чехословацкий гимн, скандировали имя Дубчека и различные лозунги. Кое-что было слышно и сквозь закрытые окна. Мы сидели вокруг стола и молчали — нам в затылки были направлены автоматы. Богумил Шимон протянул руку к книжному шкафу и вынул первую попавшуюся книгу. Это была история древней Греции.

— Давайте посмотрим, что нас ожидает, — сказал Шимон, открыл книгу и наугад выбрал предложение. В этом отрывке излагался тезис, кажется, Платона, о том, что демократия — это не лучшее общественное устройство, поскольку приводит к упадку дисциплины, и звери свободно ходят по улицам.

— Так видите, товарищи, почему они здесь, — сказал Шимон и закрыл книгу. Это несколько разрядило напряженную обстановку. Мы начали разговаривать друг с другом.

Франтишек Кригель посмотрел на часы. Было пять с чем-то утра 21 августа 1968 г.

— Я думаю, — сказал Кригель, — что до восьми ничего особенного не произойдет, пока они кое-как не организуются. Никто из нас не спал, и я советую немного поспать. Всем понадобятся свежие головы.

Кригель встал, отошел в сторону, лег на ковер, подложил под голову свой портфель и попытался уснуть.

Кригель и Смирковский были тогда в партийном руководстве единственными представителями довоенного поколения коммунистов. Кригель бежал в Чехословакию в 20-е годы из области на границе Польши и Украины, в которой попеременно побеждали то красные, то белые. Жертвами и тех и других оказывались местные евреи. "Галицийским евреем" Кригеля назвал и Шелест. Кригель был участником гражданских войн в Испании и в Китае. К тому времени он уже окончил Пражский медицинский институт, и в этих войнах был полевым врачом. Кригеля считали хорошим специалистом; в отличие от других, своей медицинской репутацией Кригель не был обязан политической деятельности.

Я познакомился с Кригелем в 1947 г. Тогда он был заместителем Новотного — секретаря Пражского обкома партии. Уже тогда Кригель выделялся своим интеллектом. Это был образованный, культурный человек с большими организационными

способностями, с колоссальным политическим опытом, мировоззрением, далеко выходящим за рамки провинциальных воззрений большинства партийных работников того времени. Но именно это, плюс то, что Кригель был евреем и участником испанской войны, обусловило его падение в 50-е годы. Он тогда был в немилости — сначала работником органов здравоохранения, а потом просто лечащим врачом. В 60-е годы Новотный выбрал Кригеля и Смрковского для демонстрации своего стремления реабилитировать несправедливо преследовавшихся в 50-е годы. Тогда же Кригель стал членом ЦК КПЧ и депутатом Национального собрания.

В 60-е годы Кригель не принадлежал к партийному аппарату, вернее, не принадлежал ни к одному из "кланов"; аппаратчики его не очень-то любили. Я уже говорил, что и в 1968 г. он попал в политбюро не как ставленник аппарата и не как личный друг Дубчека, Черника или Кольдера. Позиция, которую занимал во время Пражской весны Кригель, была близкой позиции радикального крыла коммунистов-реформистов. Но обосновывал он свою позицию всегда рационально. Я думаю, что среди других членов дубчековского руководства Кригель меньше других был подвержен идеологическим иллюзиям относительно советской великодержавной политики. По некоторым вопросам у него вообще не было иллюзий.

Вплоть до середины 70-х годов, то есть до тех пор, пока мы оба не оказались в гетто отверженных, мои отношения с Кригелем не строились на личной дружбе и доверии. Кроме наших разногласий по конкретным вопросам относительно реальных перспектив реформы, темпа и методов ее осуществления, а также политических рамок реформы, этому способствовали и личностные факторы. В политической деятельности Кригель был человеком рациональным и одновременно самоуверенным, авторитарно настаивающим на своей точке зрения. К людям он относился довольно недоверчиво, хотя его нельзя было назвать недружелюбным и замкнутым. В определенном смысле мы были похожи друг на друга, и именно это определяло характер наших отношений в то время, когда мы оба находились у власти.

Франтишек Кригель относился к партийным работникам, для которых политика не сводилась к проблемам правления и борь-

бы за власть. Для Кригеля политика была движением, действием — в Чехословакии и в мире. Поэтому Кригель придавал большее значение всенародному демократическому движению времен Пражской весны, чем политической борьбе среди власть имущих. Этим я не хочу сказать, что Кригель не разбирался в джунглях закулисной борьбы, что он избегал ее. Напротив, и на этой арене он довольно успешно защищал свои интересы. Но основным ориентиром для него было общественное движение, общественные перемены. Поэтому-то он и стал главной мишенью выпадов сталинистов. К тому же он был "галицийским евреем", и его биография казалась КГБ подозрительной, что обостряло направленную против него критику.

Франтишек Кригель был хорошим человеком. Я не знаю никого, кто в исключительно напряженной ситуации репрессий, опасности и стресса был бы способен, как Кригель, поднять настроение людей, обнадежить их и укрепить их уверенность в себе. Он врач не только по специальности, но и по характеру. Но так как и врач — не ангел, то и Кригель бывал иногда упрямым, подозрительным и предвзято относился к тем, к кому не испытывал полного доверия.

К утру 21 августа Кригелю удалось уснуть на ковре в кабинете Дубчека. И через несколько минут послышалось такое храпение, что парашютисты замерли и инстинктивно нацелили свои автоматы на спящего. Вначале мне показалось, что Кригель это делает нарочно. Но он храпел так спокойно, что все мы, в том числе и охранники, поверили, что Кригель действительно спит. Автоматы снова повернулись к затылкам сидевших у стола.

Как Кригель и предсказывал, на протяжении трех часов действительно не происходило ничего. Все мы были погружены в свои думы. Иногда соседи по столу коротко переговаривались, кто-то читал. К кабинету Дубчека прилегал отдельный туалет. Каждого, кто туда заходил, сопровождал парашютист. В его обязанности также входило проверить туалет и умывалку после нас. Прodelывал он это очень тщательно и всегда возвращался с мокрым до локтя рукавом. Наверное, он проверял бачок с водой, а, возможно, и унитаз.

Около девяти часов, как только Кригель проснулся и, освеженный, подсел к нам, в кабинет снова вошел малорослый

полковник. На этот раз его сопровождали двое военных и трое штатских, в которых мы сразу же распознали работников наших, чехословацких органов госбезопасности. Одного из них, блондинистого, полноватого человека лет сорока я уже где-то видел. Возможно, он был среди слушателей моей лекции о социалистической демократии, возможно, он раньше работал в политическом аппарате, и мы с ним встречались там. Он стоял молча. Заговорил другой — высокий брюнет. Он предложил Дубчеку, Смрковскому, Кригелю и Шпачеку последовать за ним.

Кто-то из названных, по-моему, это был Дубчек, спросил, что это означает. На это брюнет произнес довольно длинную фразу, которую я дословно не помню, но содержание ее было приблизительно таким: он говорит от имени революционного трибунала, которым руководит товарищ Алойиз Индра. Тогда Смрковский спросил, что это за орган, что он, как председатель Национального собрания, ничего не знает о существовании такого органа и что этот орган не упоминается также в конституции Чехословакии.

— Йозеф, оставь, это все не имеет смысла, — перебил Смрковского Дубчек.

Затем представитель чехословацких органов госбезопасности предложил перечисленным четверым сдать оружие. Смрковский рассмеялся, демонстративно прощупал карманы, вывернул их и положил на стол перочинный ножик.

— Нам не нужно было оружия против нашего народа, — сказал он.

Растерявшиеся представители органов госбезопасности, которые подошли к Дубчеку, в неуверенности остановились. Дубчек расставил руки и со своей обезоруживающей улыбкой сказал:

— Ну что ж, ищите, ищите!

Советский полковник, даже не понимая того, что было сказано, осознал бессмысленность ситуации и велел всем покинуть кабинет. Смрковский успел положить в карман несколько кусочков сахара и, обратившись к нам, сказал:

— Возьмите тоже, пригодится — у меня уже есть тюремный опыт, — и вместе с другими вышел.

Все понимали, в каком направлении будут развиваться события.

— Положение обостряется, — сказал кто-то.

Настало напряженное молчание. Те, кого это могло касаться, думали о "революционном трибунале". Вырисовывалась более реальная картина, чем та, которую мы представляли перед вторжением парашютистов.

Незаполненное ничем время тянулось медленно; я даже не помню последовательность дальнейших событий. Еще раз пришли советские офицеры — на этот раз без чехов — и вызвали Шимона, Якеша и Капека. Состав этой тройки был странным, и мы старались догадаться, по каким критериям ее выбирали. Шимон ничего общего с остальными двумя не имел, и мы не могли представить, чтобы эту тройку поставили перед "революционным трибуналом". Позже стало известно, что Шимона отправили к первым четырем арестованным, а остальные двое поехали совещаться с советскими представителями.

Затем наши караульные получили, вероятно, новый приказ. Их поведение изменилось. Они сели на стулья. Их автоматы уже не были направлены на наши затылки, парашютисты положили их на колени. В полдень раздались сирены пражских заводов. Солдаты вскочили, встали по стойке смирно, но через некоторое время снова успокоились.

— Что это такое? — спросил меня советский лейтенант, который был прикреплен ко мне. Он был в мундире пехотинца, и с самого начала вел себя вежливо. Это он заснят на киноплёнке выглядывающим из окна кабинета Дубчека. Смирковский рассказывал, что он стоял рядом с моим лейтенантом у окна, когда внизу застрелили чешского парня.

— Это приличный молодой человек, — сказал позже об этом лейтенанте Смирковский. — Во время стрельбы на улице он был явно взволнован и с трудом сдерживал слезы.

— Это фабричные сирены, — ответил я ему.

— Но почему они гудят? — продолжал спрашивать он.

— Не знаю. Отпустите меня, и я узнаю. Мне это тоже интересно.

— Я не имею права, — сказал лейтенант.

— Рабочие, вероятно, начали забастовку и заявляют об этом гудками, — добавил я.

— Рабочие включили сирены? — переспросил он недоверчиво.

— А почему бы и нет? — ответил я.

— Да перестаньте, — возразил лейтенант, — у рабочих ведь нет доступа к сиренам. Просто дирекция приказала, и включили.

Так началась моя дискуссия с караулящим меня лейтенантом. Вначале мы говорили, что у нас это иначе, что ситуация создалась чрезвычайная, и что люди реагируют на нее соответствующим образом. Это его, по-видимому, не убедило. Потом я спросил его, как он думает, почему его послали в Прагу. Лейтенант довольно связно и на том же уровне, на каком были написаны письма Брежнева, стал говорить о возникшей в Чехословакии "контрреволюционной ситуации". Он приводил цитаты из газеты "Литерарни листы" и журнала "Репортер", он даже знал названия этих изданий. Он говорил на хорошем русском языке и даже с идеологическим подъемом. Я спросил, почему он считает, что опубликованные в наших газетах и журналах статьи представляют угрозу для него лично. Его ответ поразил меня. Он сказал, что закончил московский литературный институт, но не мог устроиться и решил стать кадровым военным.

Те из арестованных, кто знал русский, тоже разговорились со своими караульными. Парашютист, приставленный к Вацлаву Славику, пытался говорить с ним по-французски. Он тоже был образованным человеком и использовал свои знания таким особым образом.

Здание ЦК КПЧ курировала известная Таманская дивизия, которая по традиции принимает участие в дворцовых кремлевских переворотах. Это элитарное объединение, а для захвата здания ЦК КПЧ нужны были люди, отвечающие особым требованиям.

Личный шофер Дубчека Йожко Бризник принес нам из партийной гостиницы обед. Он позвонил семьям арестованных, рассказал, что с нами произошло, и на подносе под салфеткой принес нам записки от родных. Бризник знал Дубчека еще со времен партизанского движения. С тех же времен он знал и психологию советских солдат и офицеров и русский язык. Позже мне рассказали, что ему удалось выйти из окруженного здания и вернуться туда при помощи одного только предложения:

— Я вам не подчиняюсь, — говорил Йожко советским охранникам, — у меня свои начальники, и они мне дают приказы.

Наши караульные смотрели на остатки еды такими голодными глазами, что кто-то из нас спросил, не хотят ли они есть. И тут мы узнали военную тайну: последний раз их кормили накануне вечером. Парашютисты ели жадно, и еда расслабила их служебную бдительность. "Мой" лейтенант разобрал автомат. Когда я сказал, что на занятиях по военному делу в Москве у меня была другая модель, он разъяснил мне различия между ними и похвалил свое оружие: на него можно положиться как в Средней Азии, так и за полярным кругом. Я заметил, что хорошо было бы, если бы они со своим великолепным оружием ушли за полярный круг, после чего он быстро собрал автомат и отставил его в сторону.

У меня создалось впечатление, что, если бы я провел с ним неделю-другую в нормальных условиях, да еще бы мы выпили вместе, то мой лейтенант наверняка бы признал нелепость этой военной интервенции. Возможно, среди советских солдат таких было немало. Ведь в здании ЦК КПЧ мы беседовали с представителями отборных частей, а тысячи и тысячи подобных разговоров велись с советскими солдатами на улицах Праги. Эти солдаты не принадлежали к советской военной элите. Они не только не знали, почему советская армия вошла в Чехословакию, но многие не знали даже, где они находятся. Люди рассказывали, что некоторые солдаты были уверены, что они в Западной Германии, другие считали, что они в Израиле. Возможно, многие думали, что лучше было остаться дома и никого не оккупировать; но нам от этого было не легче. Мнение этих солдат никакого влияния на принятие решений советскими властями не оказывает, правительство обращается с ними как с тупым стадом, которое будет стрелять в тех, на кого укажет командование.

Пять дней спустя я говорил об этом в Кремле с маршалом Гречко и сказал, что, по моему мнению, советская армия в Чехословакии идеологически разлагается.

— Возможно, — сказал Гречко, — но это не важно. Если эти части разложатся, мы их заменим. Хоть десять раз.

Его самоуверенный тон спровоцировал мой следующий вопрос:

— Всего лишь?

Гречко ничего не сказал и отошел от меня.

Около десяти вечера в кабинет снова вошел полковник. На этот раз он, расплываясь в улыбке, сообщил, что состоится встреча на высшем уровне, в которой примет участие товарищ Дубчек и другие товарищи. Мы можем идти, куда угодно; мы совершенно свободны, и завтра можем прийти в ЦК и приступить к обычной работе.

— Лично я, — сказал он, — очень рад, что все так устроилось.

Он отослал караульных, подал всем руку, а потом с кем-то (по-моему, с Садовским) разговорился.

Домой я шел пешком — я жил недалеко от ЦК. За шеренгой парашютистов стояла толпа. Разумеется, люди с подозрением встречали тех, кого солдаты вежливо выпускали из здания. Кто-то меня узнал и назвал по имени. Меня тут же окружили и стали спрашивать, что с Дубчеком. Я ответил, что в здании ЦК уже никого из партийного руководства нет, что готовятся переговоры, в которых Дубчек должен принять участие. Мне тогда даже в голову не пришло, что этот маленький полковник мог все придумать сам и пустить эту версию в оборот. Наверняка ему об этом сказали его командующие. Вероятно, кто-то из советской верхушки пришел к выводу, что переговоров с Дубчеком не избежать; но доказать этого я не могу. Окончательно этот вопрос выяснился только через сутки — в советском посольстве в Праге и в пражском Кремле, и лишь 48 часов спустя Дубчека доставили в московский Кремль. Но 22 августа ничто не указывало на то, что есть решение о таких переговорах. Напротив, в этот день в советском посольстве пытались сформировать "революционное рабоче-крестьянское правительство" во главе с Алойизом Индрой.

* * *

Утром 22 августа я должен был решить, идти ли на заседание чрезвычайного съезда КПЧ или в ЦК, чтобы выяснить, что происходит. Еще ночью мне сообщили, что пока нас караулили в кабинете Дубчека, промосковская группа — Биляк, Индра, Якеш и Кольдер — собрались в партийной гостинице "Прага", где находилось уже около 50 членов ЦК КПЧ. Я знал также, что на этой встрече некоторые выразили согласие сотрудничать с советской

армией, что там выбрали группу во главе с Биляком и уполномочили ее вести переговоры с командующим оккупационными войсками. Это не только противоречило сообщению полковника о предполагаемых переговорах на высшем уровне при участии Дубчека, но и подтверждало мои подозрения об аресте Дубчека и других членов политбюро от имени "революционного трибунала" и лично Алойиза Индры. Мне представлялось возможным, что промосковская группа пытается сформировать новые коллаборационистские партийные и государственные органы. Я решил, что необходимо разузнать об этом подробнее, договорился о связи с некоторыми людьми на чрезвычайном съезде и поехал в ЦК.

Здание все еще было окружено, перед ним стояли танки, но по пропуску впускали внутрь. В самом здании советских солдат не было, по крайней мере, их не было видно. Прибыли Биляк, Индра, Кольдер, Якеш, Ленарт, Швестка, Пиллер, Барбирек, Риго, Садовский и я, то есть одиннадцать из 22-х членов партийного руководства. Отсутствовали арестованные накануне члены политбюро Дубчек, Черник, Смрковский, Кригель, Шпачек и Шимон, члены секретариата Цисарж, Славик и Эрбан. Я не помню, где находился тогда еще один член секретариата Ольдржих Воленик, отсутствовал или был с нами в ЦК. Не помню я также, как вел себя А. Капек, но 22 августа его в ЦК не было. В тот день в ЦК прибыли генерал Рытирж, бывший начальник генерального штаба при Новотном, и министр внутренней торговли Павловский. Они были членами ЦК КПЧ, но в руководящие органы партии не входили.

Открыл заседание Биляк. Присутствие Рытиржа и Павловского он объяснил тем, что накануне их выбрали в делегацию, которая вела переговоры с командованием оккупационных войск. Затем Биляк информировал о результатах этих переговоров, которые, как он считал, были главной предпосылкой решения создавшегося в стране положения. Биляк требовал также, чтобы присутствующие партийные руководители дали соответствующие директивы обкомам и государственным учреждениям и объявили бы себя органом, который в дальнейшем будет вести переговоры с советским командованием на "высшем уровне".

Мы с Садовским спросили, что с Дубчеком и остальными. Конкретного ответа Биляк не дал. Его заверили, отметил Биляк, что товарищи в безопасности, что они под советской охраной. В ходе дебатов Пиллер, Барбирек, Риго и даже Швестка и Ленарт поддержали идею, что оставшиеся на свободе партийные руководители должны прежде всего стремиться установить контакт с арестованными. Биляк предложил выбрать делегацию, но большинство решило, что все оставшиеся на свободе члены партийного руководства должны вести переговоры — и не с командованием оккупационных войск, а с советским послом в Праге. Было решено добиться через Червоненко связи с Брежневым, чтобы потребовать освобождения шести интернированных партийных руководителей и участия в дальнейших переговорах с представителями СССР партийного руководства Чехословакии в полном составе.

Биляк, Индра, Кольдер и Якеш не выступили открыто против этих предложений — напротив, Биляк пошел звонить Червоненко.

Около полудня договоренность с Червоненко была достигнута. Одиннадцать членов партийного руководства должны были поехать в советское посольство, где им обещали связь с Кремлем (прямая линия в ЦК КПЧ была со дня оккупации прервана). Биляк сообщил также, что мы поедем в советское посольство на советских военных машинах. Как это ни странно, но абсолютно все присутствующие отказались воспользоваться этим транспортом, за исключением Биляка и Индры. Эти двое вышли во двор, где стояли советские бронемшины, а остальные поехали в машинах ЦК КПЧ.

Советское посольство было окружено танками, броневиками и шеренгами солдат. Внутри здания на лестницах и в коридорах все выглядело как в осажденной крепости: солдаты, работники КГБ в мундирах и в штатском, во всеоружии. Они стояли у каждого окна, у каждой двери. Нас впустили в комнату, расположенную рядом с кабинетом Червоненко. На столах были водка, коньяк, вино, бутерброды, икра. Ни одного советского чиновника там, однако, не было. Товарищ посол извинился и попросил нас подождать.

И мы ждали. Приблизительно через полчаса ко мне подошел незнакомый в штатском — по-видимому, работник КГБ. Он по-

просил меня выйти с ним, после чего передал мне привет от одного из моих сокурсников по московскому университету. Я знал, что тот стал подполковником КГБ. Мой собеседник предложил мне свою помощь. Я ответил, что даже не представляю себе, чем в данной ситуации он мог бы мне помочь, разве что устроить, чтобы Червоненко встретился с нами и связал нас с Брежневым. Он улыбнулся и сказал, что на это его возможностей не хватит. Я вспомнил, что мне необходимо позвонить людям, которые связаны с делегатами чрезвычайного съезда партии и что осуществить это в посольстве будет весьма трудно. Я сказал ему, что у меня есть более скромная просьба — позвонить по линии, которая не прослушивается. И он мне действительно помог — привел в комнату с таким телефоном. На протяжении следующих трех часов я трижды звонил и сообщал о результатах переговоров в посольстве. Это тут же передавалось делегатам съезда, хотя и не совсем точно.

В результате создалась весьма комичная ситуация. В комнате, где мы ждали встречи с Червоненко, а затем вели с ним переговоры, было радио. По радио мы слушали сообщения о съезде и вдруг услышали, что в советском посольстве промосковская группа членов политбюро обсуждает вопрос о создании коллаборационистского правительства, что несколько членов политбюро готовы в него вступить, а несколько отказываются. Некоторые из присутствующих пришли в ужас. Драгомир Кольдер кричал:

— Б... , как они узнали об этом?!..

Потрясло это и других. Даже здесь они не могли чувствовать себя спокойно. Догадаться о том, что я передавал это по телефону самого Червоненко, никто не мог.

Мы ждали Червоненко несколько часов. Биляк и Индра, которые ехали на советских бронемашинах, прибыли через час после нас. Оказалось, они задержались как раз потому, что выбрали этот вид транспорта. Броневи́к отъехал от здания ЦК КПЧ, переехал мост через Влтаву и вынужден был остановиться, потому что там трамвай столкнулся с советскими грузовиками. Броневи́к не мог идти ни вперед, ни назад. Командир броневика предложил Биляку и Индре пересесть в другую машину, но вокруг стояла толпа пражан, которые могли увидеть, как Индра

с Биляком вылезают из броневика оккупантов. Около часу они были вынуждены сидеть в утробе этой машины, раскаленной от августовского солнца, и прибыли в посольство в весьма потрепанном виде и в паршивом настроении.

Наконец, Червоненко явился. Он выслушал наше желание связаться с Брежневым и ушел. Вернувшись через час, он сообщил нам, что, к сожалению, телефонная связь с Москвой прервана. Я предложил ему воспользоваться телефонной линией командующего войсками генерала Павловского.

— Та линия тоже не работает, — бесстыдно заявил Червоненко.

— Но ведь это ужасно, — сказал я, — что армия не может связаться даже с маршалом Гречко.

— Да, положение весьма неприятное, — согласился он. И тут же перешел к делу: мы теряем драгоценное время. Связь восстановится, и тогда можно будет согласовать действия с Дубчеком, Черником и другими членами политбюро. Но пока что мы должны конкретно обсудить, как сформировать орган, который действовал бы в это чрезвычайное время. Такой орган, говорил Червоненко, должен был бы сочетать полномочия партийного и государственного руководства, то есть речь идет о революционном рабоче-крестьянском правительстве. Присутствующие здесь товарищи, отметил Червоненко, могли бы стать костяком такого правительства, поскольку они законно занимают ответственные посты и пользуются доверием советских товарищей. Он посоветовал нам обдумать его предложение и вышел.

Ситуация прояснилась, и начались дебаты. Кроме одиннадцати членов партийного руководства, которых я перечислил выше, в советском посольстве присутствовали министр Павловский и Шальгович, который оказался в советском посольстве еще до нашего приезда. Генерала Рытиржа, насколько я помню, на переговорах в посольстве не было.

Вначале дебаты были вялыми, было непонятно, кто что предлагает. Потом Василь Биляк четко сформулировал, что нам следует обсудить: наше утреннее решение не меняется, но пока не будет установлена связь с Москвой, мы можем подготовить предварительный проект, о котором говорил товарищ Червоненко.

— Лично я считаю это правильным, — сказал Биляк, но добавил, что окончательно вопрос решится после обсуждения его с отсутствующими членами руководства.

Ян Пиллер понимал, что я и Садовский к этому предложению не присоединимся, поэтому он предложил, чтобы мы с ним поехали на чрезвычайный съезд как делегация политбюро КПЧ и повернули съезд в нужном направлении. По радио уже передавали, что собравшиеся на пражском заводе делегаты провозгласили себя съездом КПЧ и приступили к выборам Центрального комитета. Поэтому я отказался, сославшись на то, что занимающиеся подготовкой какого-то революционного правительства ничего общего с чрезвычайным съездом не имеют, и я лично отказываюсь выступать в роли посредника между ними и съездом. Кроме того, мы утром договорились, что с Червоненко будут вести переговоры все члены партийного руководства, и я не намерен никуда уходить. Обсуждение зашло в тупик: никто из присутствующих не хотел оказаться на съезде вместе с Пиллером, а Пиллер один "делегацией" быть не мог, так что не поехал никто.

Дебаты о составе революционного рабоче-крестьянского правительства, которое одновременно выполняло бы и функции партийного руководства, продолжались около двух часов. Такой орган, утверждали некоторые, соответствовал бы, собственно, постановлению политбюро КПЧ, принятому два дня назад, в котором говорилось, что все должны остаться на своих постах. Но так как идея была в назначении нового руководства, то следовало бы ввести и новых людей. Во главе партийного аппарата предлагалось поставить Василя Биляка, а государственные дела передать Алойизу Индре.

Я говорю "предлагалось", потому что во время дебатов действительно вносились различные предложения. Было очевидно, что группа: Биляк, Индра, Кольдер, Якеш, Ленарт, Швестка и Павловский сыгралась великолепно. Возможно, к ней принадлежал и Пиллер, но казалось, что он колеблется, хотя весьма возможно, что он вел себя так умышленно. Барбирек и Риго вроде бы не были заранее посвящены в этот план и часто нарушали согласованный сценарий. Насколько мне помнится, Шальгович при обсуждении состава революционного правительства не присут-

ствовал, а Садовский и я вообще никакого отношения к этому спектаклю не имели.

Василь Биляк делал вид, что он нехотя берет на себя обязанности главы партии. Он патетически заявил, что, если товарищи оказывают ему такое доверие, то он сделает все для того, чтобы в эту годину кризиса помочь партии. С Индрой же вообще получился конфуз. Как только он высказал первые сомнения, подходит ли он для такой должности, кто-то сразу же согласился с ним и сказал, что Индре эту функцию поручать не следует. Мне думается, что это мнение высказал Садовский. Я поддержал его и предложил назначить главой правительства Ленарта, который уже занимал эту должность при Новотном. Еще кто-то присоединился к моему предложению, по-моему, Барбирек. Ленарт, однако, отказался, заявив, что, в соответствии с постановлением политбюро, он намерен остаться на той должности, которую он занимает. Будто бы это решение не распространялось и на Биляка.

Историческое совещание оказалось под серьезной угрозой, что вынудило Биляка снизойти до разговора со мной.

— Индра примет эту должность, — прошептал он мне на ухо, — он сейчас просто утомлен, и все ему безразлично.

В тот момент действительно казалось, что Индре все равно. Сам он не предпринимал ничего, чтобы сдвинуть дискуссию с мертвой точки. Вопрос, кто станет во главе правительства революционных рабочих и крестьян, так и остался нерешенным, и собравшиеся перешли к обсуждению кандидатур руководителей отдельных ведомств политического и государственного управления.

Ольдржих Павловский предложил назначить меня ответственным за партийно-государственную работу на участке культуры и печати. Если бы я относился к совещанию серьезно, такое предложение должно было бы меня задеть: менее благодарную должность в это время трудно было себе представить. Однако, назвав мою кандидатуру, Павловский поставил меня в положение, когда я должен был высказать свою точку зрения открыто. Было бы недальновидным заявить в здании советского посольства, что я не намерен иметь ничего общего с "революционным рабоче-крестьянским правительством", поскольку такая

декларация не позволила бы мне и далее присутствовать на совещании. Поэтому я сказал, что в первую очередь следует обсудить кандидатуры на решающие должности — в частности, кто будет руководить министерством внутренних дел. Никто из участников совещания не хотел занять этот пост. Я помню, как горячо сопротивлялся Якеш, когда кто-то предложил его кандидатуру.

Совершенно неожиданно в дискуссию вмешался Риго и заявил, что он вообще не хочет входить в правительство, и, если он должен занять какой-то министерский пост, то предпочитает вообще выйти из руководства. Барбирек настаивал на том, что он член Словацкого национального совета и хочет работать не в Праге, а в Братиславе. Таких заявлений от наименее значительных членов политбюро ЦК КПЧ никто не ожидал, но они совершенно изменили сценарий. Биляк, Кольдер, Ленарт и другие стали убеждать Риго согласиться на министерское кресло.

В истории коммунистического движения Риго был первым и, возможно, последним цыганом, дотянувшим до члена политбюро. В некоторые моменты в его действиях проявлялись независимые черты его народа. И на этот раз поколебать его решение оказалось невозможно. Когда вернулся Червоненко, проблема решилась легко.

— Конечно, товарищ Риго, — сказал он, — вам вовсе незачем становиться министром. Вы вернетесь на свой металлургический завод в Восточной Словакии, но будете членом рабоче-крестьянского правительства так же, как до сих пор были членом политбюро.

— Почему бы и нет, — ответил на это Риго.

Время шло, но дискуссия ни к каким конкретным решениям не привела. Когда Червоненко снова вернулся, революционное рабоче-крестьянское правительство все еще не было сформировано. Не было даже решено, кто возглавит его. Был поздний вечер, по плану все давно уже должно было свершиться, поэтому у Червоненко не было другого выхода, как заняться этим вопросом лично. Он сообщил, что только что говорил со Свободой, и обещал ему, что руководство КПЧ вскоре примет решение о дальнейших действиях, так что необходимо придти к какому-то заключению.

Оттягивать развязку стало невозможно. Мы с Садовским решили выступить открыто, отвергнуть идею создания рабоче-крестьянского правительства и вернуться к первоначальному требованию: сначала связаться с Дубчеком и другими интернированными, а потом сообща принимать решения. Мы понимали также, что необходимо выбраться из советского посольства целыми и невредимыми, чтобы не пришлось встретиться с Дубчеком там, где он в то время находился. Мы, правда, не знали, где он, так как Червоненко бессовестно лгал, что Дубчек и остальные задержанные находятся на территории Чехословакии. Это, собственно, не было ложью, если иметь в виду довоенные границы: арестованные в ту ночь находились в Закарпатской Украине и были попарно размещены в бараках КГБ.

Замечание Червоненко о разговоре со Свободой натолкнуло меня на мысль, как можно решить проблему приемлемым для всех способом. Я попросил слова и внес свое предложение. В соответствии с конституцией ЧССР, сказал я, когда председатель правительства не может выполнять свои обязанности, то главой правительства может временно стать президент республики. Мы здесь заседаем, сказал я, а правительство существует, хотя и без председателя. Товарищ Индра сам признает, продолжал я, что он не может заниматься правительственными вопросами. Мы не договорились даже о том, кто будет отвечать за отдельные правительственные ведомства, но ведь в стране есть министры. Поэтому я предлагаю, чтобы мы все поехали к президенту и продолжили обсуждение вопроса там. Что касается меня лично, то я отказываюсь от должности в рабоче-крестьянском правительстве. Создание такого органа было бы попыткой заменить существующие конституционные органы власти другими, а это полностью противоречит постановлению политбюро ЦК КПЧ и, насколько мне известно, позиции самого президента Чехословакии, который присутствовал при принятии этого постановления политбюро. Пока не начнутся переговоры об отводе иностранных войск, проблему новых органов власти решить невозможно.

В таком же духе выступил и Садовский. Внешне Червоненко оставался спокойным, но он понимал, что его план создания революционного рабоче-крестьянского правительства провалился. Это подтверждалось и его разговором со Свободой, который,

как я узнал позже, тоже отверг предложение о создании такого правительства и настаивал, чтобы ему предоставили возможность вылететь в Москву во главе чехословацкой делегации. Я не знал тогда и того, что правительство во главе со Штроугалом в то время заседало во дворце президента.

Червоненко стал убеждать меня, что я допускаю ошибку, отказываясь стать членом нового руководства. Он назвал меня способным человеком, которому не следует отказываться от правительственной должности. Он понимает, что сейчас мне кажется, будто все рухнуло. Но это недалновидный вывод. Через пять лет то, что сейчас представляется смертельной раной, заживет, как это случилось в Венгрии. Мне следовало бы задуматься о будущем народа, партии и своем собственном, а не поддаваться эмоциям. Не думаю же я, что вступившие в Чехословакию войска могут уйти: что бы произошло в этой стране?

Я действительно не считаю, ответил я, что раз уж интервенция совершилась, то войска сегодня или завтра уйдут. Ошибка уже в том, что они пришли. Этот шаг чреват такими последствиями, устранить которые нельзя будет и за пять лет. В Венгрии травма тоже не зажила — невозможно забыть того, что там произошло. И все же я настаиваю, чтобы последующие переговоры велись на высшем уровне и предлагаю поехать в президентский дворец и связаться с Дубчеком и остальными интернированными.

Во время короткого обсуждения никто, как это ни странно, не выступил против предложения поехать в президентский дворец. Червоненко еще раз переспросил меня относительно конституционного закона, который предоставляет право президенту республики стать во главе правительства, и в конце концов согласился.

Было уже около одиннадцати часов вечера, когда мы в сопровождении советских офицеров и броневиков попали в президентский дворец. Червоненко прибыл к Свободе еще до нас и предложил ему взять на себя обязанности председателя правительства. Члены правительства заседали в соседнем кабинете под председательством Штроугала. Присутствовали почти все министры. Мы же обсуждали, кто из нас представит президенту рекомендации, согласованные в советском посольстве, и, в конце концов, решили уполномочить на это Пиллера.

Из кабинета Свободы вышел рассерженный Червоненко. Он прошел мимо нас и удалился. Минуту спустя вошел Людвик Свобода. Он тоже был взволнован, но хорошо владел собой, держался по-офицерски прямо. Свобода поздоровался и предложил подключить к дальнейшему обсуждению заседавших в соседнем кабинете членов правительства. Он вошел к ним и вернулся, если я не ошибаюсь, с тремя: Штроугалом, Махачовой и Кучерой.

Штроугал сел напротив меня и шепотом спросил:

— В чем дело?

Я послал ему записку:

”Речь идет о том, вступишь ли ты в революционное рабоче-крестьянское правительство”.

Тот удивленно прочитал, потом что-то дописал и вернул записку мне.

— Что это такое? *

Я не успел ответить, так как Пиллер стал докладывать о принятых в советском посольстве рекомендациях.

Как только Пиллер кончил, мы с Садовским попросили слова, и оба еще раз заявили, что не вступим в такое правительство, повторив те же аргументы, которые мы выдвигали в разговоре с Червоненко. Свобода спросил, согласны ли в правительство вступить остальные. Штроугал от имени правительства резко отверг предложения Пиллера, после чего Свобода сказал:

— То, что вы мне предлагаете, я не могу сделать и не сделаю. В противном случае народ выгнал бы меня из президентского дворца как паршивую собаку.

Затем Свобода сообщил нам свое решение: он поедет в Москву и убедит Брежнева освободить Дубчека, Черника, Смрковского и других. Об этом он уже сообщил Червоненко. Все договорено, и утром он улетает. Сопровождать его будут три члена правительства: заместитель председателя правительства Густав Гусак, министр обороны Мартин Дзюр и министр юстиции Б. Кучера, который не является членом коммунистической партии и будет представлять Национальный фронт. Свобода предложил, чтобы присутствующие члены партийного руковод-

* Записка эта вместе с дополнением Штроугала случайно сохранилась у меня до апреля 1975 г., когда во время обыска ее конфисковали работники госбезопасности.

ства тоже избрали троих для включения в делегацию. Далее он говорил о том, что лично знает товарища Брежнева и советских маршалов, а потому невозможно, чтобы возникшее недоразумение не выяснилось. Он надеется, что личные переговоры приведут к решению проблемы. И, наконец, добавил:

— Вы увидите, что, когда советские солдаты будут уходить из Чехословакии, народ опять засыплет их цветами, как в 1945 году.

Противоречие между первой и последней фразами Свободы ошеломило меня. Но это было не последним сюрпризом. Тогда же, ночью 22 августа, главным было то, что Свобода провалил советские попытки создать коллаборационистское правительство. Нет сомнения, что на это в решающей степени повлияло всенародное сопротивление оккупации и факт созыва XIV съезда партии. Не вызывает, однако, сомнения и то, что важную роль сыграли личные качества Людвика Свободы, и не следует преуменьшать его вклада в связи с его последующим неблагоприятным поведением.

Слова Свободы подействовали на просоветскую группу в политбюро даже не как холодный душ, а просто как пощечина. Василь Биляк выглядел словно выпоротый. Как-то сразу открылось, что это простой недоучившийся портной, амбициозный, стремящийся к власти, злобный, но в данный момент просто одержимый страхом. Он сидел согнувшись, опустив глаза, нервничал, что-то мял в руках. Если удавалось перехватить его взгляд, то можно было увидеть в его глазах ужас, животный страх, поражение. Выпоротым членам политбюро предстояло еще выбрать троих в делегацию Свободы, и предпочтение отдано было Биляку, Индре и Пиллеру.

В ту ночь я еще около получаса говорил со Свободой наедине. Он рассказывал мне, что ему звонила какая-то женщина и сказала, что в знак протеста против оккупации он должен застрелиться. Свобода объяснил ей, почему он так не поступит: на нем лежит обязанность найти выход из создавшегося положения. Женщина, мол, сказала ему:

— Господин президент, но было бы прекрасно, если бы вы застрелились.

Я, правда, не знаю, как незнакомой женщине удалось свя-

заться с президентом, но в те дни все было возможно. Возможно и то, что Свобода это просто выдумал. Позже несколько человек говорили мне, что Свобода рассказывал похожую историю в различных версиях. Да и другие высказывания Свободы в ту ночь свидетельствовали о необычном состоянии его духа. Он говорил, что главная цель его поездки в Москву — возвращение Дубчека, Черника и Сморковского, и он убежден, что ему удастся этого добиться.

— А потом товарищ Дубчек подаст в отставку, — вдруг сказал он, — и все будет в порядке.

Прощаясь, Свобода заверил меня, что до смерти не забудет тех, кто был с ним в это тяжелое время. Что бы ни произошло. И все, кто его сейчас поддерживают, могут на него положиться.

Я вернулся домой с ощущением, что весь день грезил. Я уже третий день не спал и более двух суток находился в состоянии нервного стресса. Я принял снотворное, но не успел уснуть, как зазвонил телефон. Звонил Венек Шилган, которого чрезвычайный съезд ЦК выбрал членом политбюро и уполномочил исполнять обязанности первого секретаря до возвращения Дубчека. Шилган сообщил о решении политбюро назначить меня секретарем ЦК КПЧ и что я должен приехать на завод, где заседает съезд. Мы договорились, что я приду туда завтра, и он объяснил мне, как туда попасть.

* * *

В пятницу, 23 августа, по дороге на завод, где собрался съезд, я впервые увидел при дневном свете оккупированную Прагу — улицы и людей. Накануне по пути в советское посольство мы проезжали вначале по улицам, занятым советскими солдатами, а затем через район особняков Бубенеч, где простой народ не живет, и внешне там все казалось спокойным. Дорога на завод шла через главные рабочие районы Праги — через Карлин и Либень в Высочаны. Танков и советских военных здесь было меньше, чем в центре, но зато здесь была более выразительной и убедительной картина всенародного сопротивления оккупации.

На стенах домов появились различные лозунги и плакаты. Люди читали газеты и листовки, которые, несмотря на оккупацию, тайно издавали различные типографии. Это и была демонстра-

ция единства жителей Праги, объединенных в невооруженном, пассивном сопротивлении иностранным оккупантам. Знамена и герб Чехословакии украшали улицы, витрины, и в виде значков и кокард — отвороты костюмов. Там, где пали жертвы советских пуль, были импровизированные памятники, цветы и знамена. Указатели с названиями улиц были сорваны, во многих случаях на них были наклеены другие названия, например, "Улица Дубчека", а кое-где были таблички с неверными названиями. Дорожные указатели были либо разбиты, либо повернуты в противоположном направлении, некоторые надписи перекрашены. Часто встречался указатель: "Москва — 2000 км". На стенах домов и витринах магазинов были следы от пуль интервентов, и в это утро они воспринимались как свидетельство народной борьбы с оккупантами.

Лозунги на стенах домов чаще всего провозглашали государственную и национальную независимость, кое-где они сопровождались требованиями подлинно демократического социализма. Можно было увидеть цитаты из Ленина или, например, "Ленин, проснись, Брежнев сошел с ума!" Имена Дубчека и Свободы были повсюду, и всюду были заверения в доверии Дубчеку, Свободе, Смрковскому и Чернику. На многих местах было написано: "Убирайтесь домой", наряду с другими лозунгами, инспирированными антиамериканской пропагандой, которая представляла присутствие американских войск в других странах мира как империалистическую оккупацию. Распространенный пропагандистский лозунг "Ami — go home" был заменен на "Иваны — go home". Можно было увидеть надписи "США во Вьетнаме, СССР — у нас" и т.п.. Аббревиатура СССР рисовалась так, что первых два "С" приобретали форму молнии — символ гитлеровских эсесовцев. Серп и молот часто приравнивались к свастике. Было много анекдотов и иронических надписей, карикатур, высмеивающих оккупантов как глупых марионеток, которыми советское правительство безнаказанно манипулирует. Некоторые надписи были по-русски.

Эти лозунги, как и дебаты, которые жители Праги вели с советскими танкистами, свидетельствовали о стремлении пражан убедить в чем-то оккупантов при помощи аргументов. Ничего подобного не наблюдалось, когда в марте 1939 г. Прагу оккупи-

ровали солдаты нацистской Германии. На этот раз люди были убеждены, что "Иваны" — это балбесы, с которыми правительство делает все, что хочет; которые даже не знают, что творят — а потому им необходимо все объяснить. Таким образом, и народ подсознательно чувствовал то же, что и я, представитель власть имущих: быть может, это действительно только недоразумение; ведь не может же быть, чтобы все это оказалось правдой.

Избранное на чрезвычайном съезде новое партийное руководство заседало на одном из высочанских заводов. Подступ к административному зданию этого завода охраняли вооруженные члены Народной милиции. Протоколы чрезвычайного съезда были опубликованы за границей, так что я остановлюсь на впечатлениях, которые я вынес лично.

Я убежден, что заседание XIV съезда КПЧ 22 августа 1968 г. сыграло огромнейшую политическую роль и в значительной степени обусловило дальнейшее развитие событий. Именно благодаря созыву этого съезда КПЧ как политическая партия сохранила решающее влияние, и граждане видели в ней ведущую политическую силу. Позиция, которую занял съезд, полностью соответствовала создавшемуся положению. Осуждение агрессии, с которым дубчеховское руководство выступило в ночь на 21 августа, съезд трансформировал в ряд конкретных требований — в первую очередь, в требование ухода иностранных войск, возвращения всех избранных в соответствии с конституцией политических деятелей к своим обязанностям, соблюдения норм международного права, в том числе норм, определенных документами Варшавского договора. Возможно, учитывая опыт Венгерской революции 1956 г., XIV съезд КПЧ не выдвинул требования выхода ЧССР из Варшавского договора и нейтралитета Чехословакии.

В то же время съезд обратился за помощью к международному коммунистическому движению и полностью лишил влияния промосковскую группу в КПЧ, поскольку члены этой промосковской группы не получили ни одной должности в партийных органах, которые были избраны на Чрезвычайном съезде. Благодаря тому, что Национальное собрание и правительство открыто признали XIV съезд КПЧ, народ сделал вывод, что КПЧ как

правящая партия продолжает действовать в соответствии с политической линией Пражской весны. Благодаря съезду в течение нескольких дней выработалось ощущение, что в ситуации, которая, казалось бы, означала полное поражение сторонников реформы, на деле именно они одержали политическую победу.

Все это было в высшей степени важно не только в плане внутривнутриполитическом, но и для определения линии московских властей. Чрезвычайный съезд КПЧ поставил московское политбюро в весьма сложное положение. Как бы халтурно ни была разработана политическая подоплека военной интервенции, какой бы демагогичной она ни была, все же основной ее целью была легализация военной оккупации. Из того, что в первые дни оккупации публиковала советская печать, и из того, что происходило в руководстве КПЧ 20 и 22 августа, а также на основании документов, с которыми я познакомился позже, я могу утверждать, что политический план интервенции заключался приблизительно в следующем.

Группа в руководстве КПЧ, главарями которой были Биляк, Индра, Кольдер и Якеш, в которую входили Швестка, Пиллер, Ленарт и Капек и которая надеялась на поддержку Риго, Барбирека и, возможно, Воленика, обещала Кремлю обосновать законность интервенции. Последняя перед оккупацией встреча этой группы произошла утром 20 августа в кабинете Алойиза Индры в здании ЦК КПЧ. На заседании политбюро ЦК КПЧ, начавшемся в 14.00 часов, должны были обсуждаться предложения Индры и Кольдера в связи с отчетом отдела информации ЦК КПЧ (во главе которого был Й. Кашпар), представленным членам политбюро неделю назад. В этом отчете наряду с правдивыми содержались тенденциозно искаженные данные об экономическом и политическом положении Чехословакии. Разработанные на основе этого отчета предложения Индры и Кольдера должны были способствовать переформулировке этого отчета так, чтобы он подтверждал заявления Москвы относительно обострившейся возможности контрреволюционных антисоциалистических выступлений в Чехословакии.

Связанная с интервентами группа предполагала, что ей удастся убедить большинство членов политбюро ЦК КПЧ поддержать предложения Индры и Кольдера. Решающими должны были стать голоса Пиллера, Барбирека и Риго. Следует отметить, что

ни Барбирек, ни Риго впоследствии не поддержали советскую интервенцию, но тогда, на заседании политбюро, голосовать нужно было не за это. Возможно, если бы предложения Индры и Кольдера были вынесены на голосование, то Барбирек и Риго выступили бы "за". В результате эти предложения получили бы большинство 6 : 5. Из кандидатов в члены политбюро их наверняка поддержали бы Ленарт и Капек, тогда как к Дубчеку присоединился бы только Шимон. Из остальных членов партийного руководства, не входивших, однако, в политбюро, к промосковской группе относились Якеш, Индра и, возможно, Воленик, а к Дубчековской группе — Цисарж, Садовский, Славик и я. Формально 3 : 4, но на деле позиция промосковской тройки была сильнее нашей четверки — они стояли во главе тех отделов аппарата, которые занимались внутрипартийными делами и одной из важнейших областей Чехословакии — Оставской. Цисарж и Славик возглавляли идеологические участки работы, Садовский занимался в ЦК сельским хозяйством и вопросами управления экономикой. Я же, хотя и отвечал за важнейшие участки системы власти, разрабатывал только общую линию их деятельности, не решавшей исход путча, результат которого зависел от соотношения сил различных клик.

Что касается расстановки сил, то в партийном руководстве, которое насчитывало 21 человек, при обсуждении предложений Кольдера и Индры их сторонники могли получить большинство: 11 к 10. Член секретариата ЦК КПЧ и секретарь Национального фронта Эвжен Эрбан в тот день отсутствовал. И, возможно, это не было случайностью. Я не исключаю его симпатии к консерваторам; при голосовании о предложениях Кольдера и Индры он мог остаться нейтральным, но мог также присоединиться к Дубчеку.

Весьма возможно, что, если бы предложения Кольдера и Индры прошли, промосковская группа немедленно перешла бы к обсуждению письма Брежнева. В ходе этого обсуждения они попытались бы сформулировать ответ — это было бы своего рода просьбой оказать "братскую помощь". Возможно, что незначительное большинство при обсуждении письма Брежнева пыталось бы, напротив, расколоть руководство, а затем связалось бы с советскими агентами в государственных органах — с Пав-

ловским, Шальговичем, Гофманом и другими (в первую очередь в армии) и адресовала бы такое письмо Кремлю самостоятельно. После прихода советских войск эта группа провозгласила бы себя "революционным рабоче-крестьянским правительством" и ввела бы в действие свой "революционный трибунал".

Совершенно очевидно, что чешский текст письма, который был опубликован в "Правде" 21 августа 1968 г. по-русски (без подписей, как письмо "группы деятелей" ЦК КПЧ, парламента и правительства), действительно в эти дни был написан в Праге. Копия этого письма позднее была найдена в кабинете директора ЧТК (Чехословацкого печатного агентства — Л.С.) Сулека, который также был советским агентом. На этой копии его подписи нет. Я убежден, что подписей там не было вообще, именно поэтому нельзя было опубликовать их. Но даже если бы подписи были, их все равно нельзя было бы обнародовать, поскольку тогда стало бы известно, что нынешние "нормализаторы" от Гусака до Штроугала, от Кэмпного до Цолотки, в первые послеоккупационные дни никакого просоветского рвения не проявили. Напротив, выяснилось бы, что подлинно верными оккупантам были сталинисты времен Новотного, а в обнародовании этого факта гусаковское руководство совершенно не заинтересовано. Подписей, однако, нет, и нет их потому, что провалился план создания нового "революционного рабоче-крестьянского правительства", которое должно было подписать заранее подготовленное письмо. Но этот замысел так и не осуществился.

20 августа послеобеденное заседание политбюро началось весьма острыми дебатами о порядке включенных в повестку дня пунктов. Наконец, решили начать с обсуждения проектов документов, которые должны быть представлены съезду партии, и только после этого заслушать предложения Кольдера и Индры. Настаивал на этом сам Дубчек. Я не думаю, что он догадывался о возможной связи между этими предложениями и интервенцией, которая началась несколько часов спустя. Он, вероятно, просто хотел оттянуть обсуждение письма Брежнева, т.к. понимал, что оно еще больше обострит конфликт в руководстве, а потому старался, чтобы до этого была утверждена концепция выносимых на съезд материалов. Что обсуждение письма Бреж-

нева будет увязано с предложениями Кольдера и Индры, Дубчек не сомневался.

Как это ни парадоксально, но факт остается фактом: чисто процедурная бюрократическая рутина воспрепятствовала первой атаке промосковской группы. Объяснить это можно, я думаю, двумя обстоятельствами. Во-первых, речь шла о бюрократическом путче — и как таковой он мог натолкнуться именно на непреодолимые бюрократические препятствия; а, во-вторых, промосковская группа сильно трусила. После изменения очередности стоявших на повестке дня вопросов несколько членов промосковской группы должны были решительно открыто выступить, чтобы все-таки вызвать конфликт в руководстве и осуществить свой план, несмотря на процедурные перемены. Это могло сработать, но при условии, что главари группы примут решение мгновенно, не совещаясь. Минуту-две спустя время было упущено. Уже кто-то докладывал по другим вопросам. У организаторов путча кишка оказалась тонка.

Об этом же свидетельствовало и поведение промосковской группы и до, и после оккупации, в частности, ее поведение в советском посольстве 22 августа, крик Биляка ночью 20 августа "Так линчуйте меня" — все это свидетельствует о том, как сильно все они трусили. Один из ближайших сотрудников Новотного, Ян Свобода, спустя долгое время после оккупации, рассказывал мне, что до интервенции группа сталинистов и советских агентов собралась в городке Печки у Нимбурга, и там они тайно подготавливали оккупацию. На эту встречу должны были явиться и члены промосковской группы в партийном руководстве. Но они до последней минуты страшно трусили, рассказывал Ян Свобода. В конце концов пришел только Биляк. У него от страха были полные штаны, он даже голоса лишился.

Таким образом, 20 августа 1968 г. план политической подготовки интервенции в Чехословакии провалился. Но режиссер настаивал, чтобы дальнейшие шаги предпринимались в соответствии с этим планом. Однако к вечеру 22 августа второй этап плана при попытке реализовать его в советском посольстве тоже провалился. Одной из главнейших причин, обусловивших этот второй провал, был заседавший на заводе XIV съезд КПЧ. Этот съезд заставил главных режиссеров в Москве изменить

сценарий и начать переговоры. Они воспользовались для этого Людвиком Свободой, но были вынуждены согласиться на участие в переговорах тех, кто по первоначальному замыслу должен был предстать перед "революционным трибуналом" — Дубчека, Смрковского, Черника и других.

Положение интернированных изменилось в пятницу 23 августа. В бараки КГБ, расположенные в карпатских горах, где находились чехословацкие представители, вдруг позвонил Брежнев, и Дубчека с Черником перевезли в Москву. 25 августа к ним и к делегации под руководством Свободы присоединились остальные интернированные (кроме Кригеля) и оставшиеся члены партийного руководства, которые прилетели из Праги. Среди них был и я. Москва оказалась вынужденной вести переговоры, и другого партнера, кроме дубчековского руководства КПЧ, у нее не оказалось. Московские агенты не смогли даже провести путч, а избранное XIV съездом КПЧ партийное руководство было совершенно неприемлемым для Москвы.

Несмотря на огромное значение для дальнейшего развития событий, XIV съезд КПЧ и избранные им органы с самого начала были в определенной степени уязвимы. Я не имею в виду аргументы, к которым прибегают нынешние "нормализаторы", утверждающие, что съезд, а тем самым и избранные им органы незаконны и противоречат Уставу КПЧ. Это абсолютная бессмыслица. Любая организация, которая своим высшим органом считает съезд, должна при этом признать, что, если законно избранные на этот съезд делегаты соберутся в достаточном для кворума количестве, то они и будут этим высшим органом — они не связаны ни датой открытия съезда, ни даже некоторыми положениями устава организации, поскольку как ее высший орган имеют право аннулировать и изменять устав и любые другие принятые в прошлом постановления, в том числе и постановления о дате созыва съезда. По Уставу КПЧ, власть центрального комитета, его политбюро и аппарата была властью, предоставленной партийным съездом. Поэтому утверждать, что решение двух третей делегатов, которые свою работу назвали съездом, есть узурпация власти и нарушение Устава партии, значит утверждать бессмыслицу. Политическая уязвимость избранных XIV съездом органов заключалась в другом.

Избранное чрезвычайным съездом партийное руководство само считало себя временным органом — так воспринимала его и общественность. Иначе не могло и быть. Съезд и избранные им органы прежде всего утвердили в должности интернированных, похищенных и увезенных за границу членов прежнего партийного руководства — Дубчека, Черника, Смрковского, Кригеля, Шпачека и Шимона. Все они были переизбраны в политбюро. На съезде они, однако, отсутствовали и не могли принимать участия в работе партийного руководства. Таким образом, и члены новых партийных органов, и чехословацкая общественность понимали, что только после возвращения интернированных положение выяснится, а нынешнее руководство — временное. Те, кто практически выполнял обязанности членов партийного руководства, в том числе и Венек Шилган, исполнявший обязанности Дубчека, были, как правило, мало известны населению и работникам аппарата, они сами понимали, что действуют только временно. Можно сказать, что избранное на XIV съезде руководство было лишь на первый взгляд новым, в действительности же съезд поддержал именно ту часть дубчековского руководства, которую военная интервенция должна была лишит власти и, возможно, жизни. Избранный на чрезвычайном съезде новый ЦК КПЧ отдал судьбу реформы, судьбу партии и судьбы всех членов ЦК в руки этой части дубчековского руководства. Но именно они-то и отсутствовали — их не было не только на съезде, но даже на территории Чехословакии. Когда московское политбюро начало вести переговоры с этой частью дубчековского руководства, оно вело их с людьми, которые вплоть до 25 августа понятия не имели о том, что происходит на их родине и какова их позиция на переговорах с Москвой.

Избранное на XIV съезде политбюро состояло из 28 членов. 18 из них были и прежде членами ЦК КПЧ, ЦК КП Словакии или занимали государственные должности (заместители председателя правительства Гусак и Цолотка). 15 же, то есть больше половины, отсутствовали вообще и не принимали участия в работе политбюро. Причем отсутствовали как раз люди с наибольшим политическим авторитетом. Помимо шести интернированных, отсутствовали Ота Шик (он был в Югославии), Г. Гусак (он был в Москве как член правительственной делегации), Ч. Цисарж

(вплоть до 26 августа он скрывался) и, наконец, все представители Словакии (они находились в Братиславе) — Цолотка, Зрак, Тяжкий, Павленда и др. Члены политбюро, которые с 23 по 26 августа практически выполняли свои обязанности, были в большинстве своем партийными работниками из различных обкомов, райкомов и с заводов (Л. Хрдинова, Й. Литера, В. Кабрна, З. Моц и др.) некоторые прежде к партийному аппарату никакого отношения не имели, а потому не имели в нем соответствующей поддержки (В. Шилган, профессор Высшей экономической школы в Праге, З. Гейзлар — с июня 1968 г. директор радио, в прошлом партийный функционер, пострадавший в 1951 г. от репрессий). Главной опорой политбюро, избранного на чрезвычайном съезде, стал аппарат пражского горкома КПЧ и часть аппарата ЦК КПЧ, которой руководил Мартин Вацулик, сам в политбюро не вошедший. Меня на чрезвычайном съезде в политбюро не избрали, но 23-24 августа я выполнял обязанности секретаря ЦК КПЧ в тех случаях, когда участвующие в переговорах настаивали на том, чтобы с ними встретился секретарь ЦК КПЧ, назначенный на эту должность еще до чрезвычайного съезда. Мне пришлось в эти дни вести переговоры с представителями профсоюзов о проведении забастовок; с руководством Народной милиции о мероприятиях, касавшихся этих вооруженных частей; с представителями Национального фронта и т.д.

В те дни, как мне кажется, многие, в том числе и действовавшие от имени нового партийного руководства, понимали, что так долго продолжаться не может, что их положение временное, пока не вернуться руководители из Москвы. То же чувствовали и работники партийного аппарата, на которых легло множество организационных заданий, и люди, помогавшие составлять прокламации, заявления, и журналисты, приходившие на завод, где действовало новое партийное руководство, чтобы рассказать об их работе по радио или в газете. Чем дольше продолжалось это временное положение, тем менее уверенным в себе было новое руководство. Люди нервничали, опасались за судьбу государства и свою собственную. XIV съезд КПЧ мог быть только временным решением — таковым он и был.

В это переходное время среди функционеров и работников партийного аппарата сформировалась группа (в нее входило 40-

50% всего аппарата), которая с полным сознанием риска активно участвовала в проведении XIV съезда КПЧ. Представители этой группы практически осуществляли директивы избранных съездом органов. Вместе с другими, в свою очередь поддерживавшими съезд не столь открыто, они составляли решающее большинство — около 90% партийного актива. Они поддержали Дубчека и отказались сотрудничать с оккупантами.

Готовых сотрудничать с интервентами работников партийного аппарата было совсем немного, но даже они вели себя пассивно до возвращения партийных руководителей из Москвы (27 августа), не высказывая открыто своих взглядов. Лишь единицы — не больше 20 человек из 500 работников партийного аппарата — работали в захваченном советскими солдатами здании ЦК КПЧ, где "партийное руководство" представлял Драгомир Кольдер. Свои ощущения в те дни Кольдер выразил весьма метко, когда он позвонил мне, чтобы сообщить об отлете в Москву вместе с другими членами партийного руководства. Когда ему сказали, что меня нет и неизвестно, где я, Кольдер ответил:

— Как это "неизвестно"? Он на съезде, где ему еще быть? Там ведь почти все, так чего они боятся? Я же здесь один — и бояться должен я.

В те дни советские агенты, прежде действовавшие в аппарате КПЧ, находились в Дрездене и в Москве. Они обрабатывали все, что могло пригодиться для пропаганды оккупантов. Из их мастерской выходили клеветнические и лживые пропагандистские заявления, они передавались по радио "Влтава". Эти же люди издавали журнал "Зправы" ("Новости"). Подготовленные ими материалы печатались в газетах Советского Союза и других четырех участвовавших в интервенции государств. Но сами они по радио "Влтава" не выступали, хотя этому радио как воздух нужны были люди, знающие чешский язык, так как акцент дикторов этого радио поразительно напоминал акцент обращавшихся к чешскому народу в марте 1939 г. Один из советских агентов в КПЧ все же по радио "Влтава" выступил. Это был Павел Ауэрсперг. Я говорил с ним 31 августа на заседании ЦК КПЧ после того, как мы уже вернулись из Москвы. Ни капельки не смущаясь, Ауэрсперг сказал мне, что ему обещали изменить интонацию голоса, но не сдержали слова, свиньи, — оправдывался

он. Мой пропитый голос все узнают, продолжал он, а что я могу сейчас сделать?

Некоторые представители промосковской группы в руководстве КПЧ на эти несколько переходных дней исчезли со сцены и выжидали. Так, например, поступил Антонин Капек. Из сторонников реформы прятался Честмир Цисарж. В ночь 20 августа, когда Дубчек объявил совещание политбюро закрытым, только Цисарж поехал домой. Рано утром за ним пришли люди Шалговича из органов и арестовали ("взяли под охрану", как они тогда говорили). Через несколько часов Цисаржа выпустили — возможно, потому, что сценарий, в соответствии с которым следовало создать "революционный трибунал", провалился уже 21 августа утром. Но Цисарж до предпоследнего дня работы партийного руководства на пражском заводе скрывался на даче у своего приятеля — декана юридического факультета Пражского университета. Он послал оттуда письмо, которое передавалось по радио и было 24 августа напечатано в газетах. Он рассказывал, как его задержали и как ему удалось "выскользнуть из их рук", что сейчас он находится у "чешских патриотов, настоящих коммунистов" и посылает оттуда всем "боевой привет".

Решающим фактором, который обеспечил политический успех XIV съезда КПЧ, успех позиции Национального собрания и правительства Чехословакии, и провал плана создания коллаборационистского правительства, было отношение народа к советской интервенции. Протест чехословацкого народа подтвердил, что Пражская весна, которая началась с попытки провести политическую реформу, переросла во всенародное демократическое движение, что для народа она стала делом надполитическим, делом нравственности и человечности. Наряду с соображениями международного характера, именно это обстоятельство заставляет меня часто задумываться, был ли я прав, занимая в 1968 г. позицию "центриста". Ведь если бы тогда попытка реформы ограничилась только одобренными "наверху" мерами (причем даже в случае институциональной реформы не удалось бы избежать военной интервенции), в августе 1968 г. не было бы столь могучего всенародного протеста, при том исключительно дисциплинированного и демонстрировавшего доверие к Дубчеку. Оглядываясь назад, я могу утверждать, что ход политиче-

ской реформы, который я считал оптимальным, оказался бы действительно оптимальным лишь в том случае, если бы не произошло советского военного вмешательства.

Всенародный протест против интервенции проявлялся в тысячах конкретных актов пассивного сопротивления, перед которыми военная машина агрессоров оказывалась беспомощной. Перед московским политбюро назревал вопрос: что делать дальше? Под контролем Москвы была вся страна, но при этом Москва ничего не могла с ней сделать. Люди делали только то, что их заставляли делать силой.

Если военная власть не решилась пойти на массовые казни населения, чтобы установить господство над страной, то другими средствами насилия она почти ничего добиться не могла. По-прежнему работали радиостанции, выходили газеты и листовки — и все это было направлено против оккупантов. Продолжали работать органы управления — от национальных комитетов до правительства, и эти органы не только не подчинились оккупационным властям, но даже не установили контакт с ними, не вели с ними никаких дел. Люди не только думали независимо, но и в повседневной жизни вели себя так, будто бы правительство Чехословакии не было свергнуто, будто все это — лишь короткий эпизод, который кончится, и все снова вернется к норме, как было до интервенции.

Все это, правда, довольно незначительно в момент, когда страна оккупирована иностранными войсками. Понятно, что постоянно такое продолжаться не может, и что это состояние всенародного протеста недолговечно. Но пока оно держалось, оккупационные войска ничего сделать не могли, кроме массовых зверств по отношению к мирному населению. Но этого Москва себе позволить не могла.

В результате маленький народ, на который напала далеко превосходящая его по силе армия, в действительности, пусть на короткий период, победил. Народ Чехословакии понимал это, и еще более укреплялся в своем стремлении к протесту. Метафора, которой кто-то в те дни воспользовался в печати, что слон не может растоптать иголку, метко отражала ситуацию. С одной стороны, эта метафора показывала беспомощность слона, но, с другой стороны, и то, что слон велик, и что он здесь, и что какое-то решение необходимо найти. Тогда все понимали, что пассивное сопротивление — весьма эффективное средство, но к окон-

чательному решению оно не приведет. Мандат для поисков выхода из тупика народ Чехословакии и Чрезвычайный съезд КПЧ предоставили Дубчеку, Чернику и Сморковскому, которые в те дни уже находились в Москве.

Ощущение населением и партийными органами временного характера ситуации характеризовало первые послеоккупационные дни — с 21 по 26 августа 1968 г. Это понимали и оккупанты и их правители в Москве. С сознанием необычайной серьезности роли, которую мне придется сыграть в заключительной фазе этого переходного периода, я готовился вечером 24 августа вылететь в Москву.

* * *

Я вылетел в Москву через несколько дней после оккупации. Во-первых, находившийся в Москве Дубчек захотел, чтобы я принял участие в переговорах в Кремле, а, во-вторых, меня уполномочило присутствовать на этих переговорах политбюро ЦК КПЧ, избранное на съезде в Высочанах.

В Москву я летел вместе с представителями старого партийного руководства — со Швесткой, Ленартом, Якешем, Барбиреком и Риго. Кольдер остался в Праге, в оккупированном советскими частями здании ЦК. Антонин Капек где-то скрывался; он тогда, кажется, уехал из Праги. Члены секретариата — Цисарж, Садовский, Славик, Эрбан и Воленик — в Москву приглашены не были, а остальные члены дубчековского руководства КПЧ уже находились в Кремле. Некоторые прибыли в Москву, сопровождая Людвика Свободу, а некоторые накануне переговоров просто получили новый статус — я имею в виду тех, кого силой, как пленных, увезли советские военные самолеты и кого позже держали под охраной гебешников в Карпатских горах, в каких-то засекреченных объектах.

Летели мы в Москву на военном самолете; в нем, кроме нас, было несколько офицеров. Были там еще киноленты в ящиках — заснятые советскими операторами кадры первых оккупационных дней в Праге. Мы сидели молча, говорить было не о чем — каждый знал, как вели себя в первые дни оккупации остальные. И вот 25 августа 1968 года, в воскресенье, около девяти часов утра по московскому времени наш самолет приземлился на Внуковском аэродроме, неподалеку от Москвы. "Чайки" от-

везли нас на Ленинские горы — в правительственные особняки, которые расположены всего лишь в нескольких сотнях метров от московского университета.

После тринадцати лет перерыва я увидел панораму Москвы, которая в студенческие годы была фоном моей повседневной жизни. В Праге эта хорошо знакомая картина ассоциировалась с добрыми для меня студенческими временами. Теперь она снова стала явью. Но я отчетливо помнил, что всего лишь несколько часов полета отделяло меня от оккупированной Праги. Передо мной, в сиянии раннего солнца, лежала Москва, — такая же, как в прошлом; но эту панораму перекрывали картины пражских улиц, на которых со зловеще вытянутыми жерлами пушек стояли танки и солдаты-автоматчики.

На этот раз я был не в Москве своей молодости, а в столице державы-окупанта. Вместо сокурсников, вокруг вертелись — почтительно, но в то же время настороженно, — сотрудники КГБ, кто в штатском, а кто в мундирах. Абсурдность этих минут проявляла абсурд моего прошлого. Меня охватило страстное желание вообще не быть. Но я жил, и более того, мне предстояло, вместе с другими, думать о том, что станет с нашей страной, какое еще абсурдное решение последует за прежними.

Я прибыл в Кремль. В одном из залов уже собрались сопровождавшие Свободу лица. Но, кроме них, там были Черник — на этот раз как председатель правительства, Смрковский, Шпачек и Шимон. Отсутствовали Дубчек, Кригель и Индра. Я привез с собой из Праги всевозможные материалы — газеты, листовки, сообщения избранного в Высочанах партийного руководства — а для прежде арестованных руководителей у меня были и личные письма: некоторые от сотрудников, а некоторые от родных.

Были еще письма для Дубчека и Свободы от президиума съезда в Высочанах. С Дубчеком я хотел встретиться в первую очередь. Людвик Свобода сказал, что Дубчек лежит, принять участие в переговорах не может, но что меня к нему проведут. Дубчек находился в одной из комнат Кремля, предоставленных Свободы и сопровождавшим его лицам. Свобода провел меня через две смежные комнаты и открыл двери.

Дубчек лежал в постели под одеялом; было жарко и одеяло было несколько спущено. Дубчек был полуодет; он лежал не-

подвижно, по всей вероятности, под действием успокоительно-го. На лбу у Дубчека была небольшая, заклеенная пластырем ранка, выражение лица у него было отсутствующее, как у одурманенного наркотиками человека. Но когда я вошел, Дубчек очнулся, приоткрыл глаза и улыбнулся. В этот момент я вспомнил святого Себастьяна, который улыбался под пыткой. У Дубчека было такое же мученическое выражение лица, а лучами разбегавшиеся по подушке от его головы линии напоминали ореол. Я подошел и погладил его по лицу. Дубчек говорил прерывисто и бессвязно. Он сказал, что не в состоянии сейчас же прочитать письма и попросил положить их ему под подушку. Я удовлетворил его просьбу, но попытался объяснить кое-что устно. Дубчек был даже слушать не в силах. Я посидел несколько минут на его постели и вышел.

Дубчек находился в состоянии тяжелого нервного потрясения. Ранку на лбу он получил от удара об умывальник, когда поскользнулся в ванной. Пользовал его личный врач президента Свободы. После обеда состояние Дубчека несколько улучшилось, с ним встретились Черник и Смрковский. Мне же удалось переговорить с ним лишь на следующий день, незадолго перед тем, как мы приступили к официальной части переговоров — к подписанию так называемого московского протокола.

В коллективных переговорах и обсуждениях при подготовке текста этого протокола Дубчек участия не принимал.

В переговорах не участвовал и Франтишек Кригель. В те дни его вообще не было в Кремле. Позже стало известно, что советское руководство старалось не допустить Кригеля к переговорам; более того, советское руководство хотело воспрепятствовать возвращению Кригеля в Прагу. Но об этом речь впереди.

Отсутствовал во время переговоров и Алоиз Индра. Он был болен и лежал где-то вне Кремля, вероятно, в больнице. Ходили слухи, что у него был приступ синдрома Меньера — весьма характерная для того времени болезнь, симптом ее — потеря равновесия. У Индры, однако, независимо от болезни, были все основания чувствовать себя неуверенно; он действительно не знал, наверху ли он или внизу. Было лишь бесспорно, что с рабоче-крестьянским правительством покончено.

Отсутствовали при обсуждении текста московского протокола еще два члена правительства — министры Дзюр и Кучера.

В переговорах принимало участие политбюро ЦК, а, — кроме членов политбюро, — Людвик Свобода и Густав Гусак. Как мы увидим, то, что происходило в Кремле, вообще трудно назвать переговорами. Вплоть до подписания протокола вечером 26 августа у политбюро ЦК КПЧ не было равного партнера. От советской стороны выступали отдельные лица, предлагавшие различные проекты текста как ультиматум. Причины такого поведения советской стороны совершенно ясны. Целью СССР было не обсуждение, а утверждение продиктованных условий капитуляции. Ведь еще опыт переговоров в Чиерне на Тиссе показал, что даже длительные переговоры достижению поставленной советской стороной цели не способствуют.

У чехословацкой же стороны, — за исключением совещания ночью 25 августа, — единой точки зрения не было. Партийное руководство разделилось на тех, кто хотел сформировать "рабоче-крестьянское правительство", и тех, кого это правительство должно было посадить на скамьи подсудимых. Было ясно заранее, что группа, которая согласилась создать рабоче-крестьянское правительство, согласится на все, что внесет московское руководство в текст заключительного протокола. Поэтому в том, чтобы переговоры с Москвой все-таки состоялись, была заинтересована лишь вторая часть дубчековского руководства — Черник, Смирковский, Шпачек, Шимон и я — а также, конечно, Свобода и Гусак, которые в то время не были связаны ни с одной из групп.

Когда утром 25 августа я прибыл в Кремль, кое-что уже было согласовано. (Я не знаю подробностей, как проходили переговоры до моего приезда, кто принимал в них участие и кто какую позицию занимал. Так что когда я говорю о переговорах, то имею в виду совещания, состоявшиеся 25 и 26 августа). Решены были уже три важных вопроса. Первый из них был решен в пользу группы Дубчека: была отвергнута альтернатива формирования нового руководства, состав которого отличался бы от существовавшего до 20 августа 1968 года. В этом важнейшем пункте, иначе говоря, советская сторона смирилась с поражением. Однако другие два вопроса были решены в пользу Москвы: был аннулирован XIV съезд партии в Высочанах; кроме того, чехословацкие представители согласились, чтобы обсуждение ситуации в Чехословакии было снято с повестки дня Совета

безопасности ООН. Мне думается, что Смрковский, Шпачек и Шимон подключились к переговорам уже после того, как по этим двум вопросам решение было принято. В обсуждении их участвовали Людвик Свобода и сопровождавшие его лица, а также Дубчек и Черник.

Вернувшись из комнаты Дубчека, я информировал присутствующих о положении в Чехословакии, или, говоря точнее, я высказал свою точку зрения по поводу создавшегося в стране положения. Вот короткое содержание моего выступления: всенародное пассивное сопротивление свергло оккупационную власть в кризис; она не в состоянии контролировать события — если, разумеется, не применит для подавления гражданского населения вооруженную силу. После съезда в Высочанах КПЧ пользуется большим авторитетом, парламент и правительство признали съезд в Высочанах и осудили оккупацию. Все это стабилизирует положение органов власти, которые оккупанты пытались, но не смогли разрушить. В то же время положение в стране неустойчиво, и это чревато опасностями. Достаточно нескольких маленьких провокаций и может произойти взрыв. Оккупационная власть начнет нервничать, и ни одной из сторон не удастся удержать создавшуюся ситуацию в желательных рамках. Все ждут, что окончательное решение будет принято здесь, в Кремле. Дубчек, Свобода, Черник и Смрковский пользуются огромным авторитетом. И если они будут едины при переговорах в Кремле, достигнутое в Москве соглашение будет принято преобладающим большинством населения Чехословакии. Однако, неотъемлемой частью достигнутого компромисса должна быть гарантия ухода иностранных войск из Чехословакии, — по возможности, с указанием срока. Кроме того, соглашение должно гарантировать, что чехословацкая политика будет и в дальнейшем соответствовать Программе действий КПЧ. Далее я подробно рассказал, какую роль в эти дни сыграли радио и печать, а также об условиях, в которых радио и печать работают. Я роздал присутствующим наглядно документировавшие положение в стране изданные в Чехословакии газеты и листовки.

Присутствующие задавали много вопросов, обсуждались самые различные проблемы. Если я не ошибаюсь, больше всех из недавно прибывших в Москву говорили Швестка и Ленарт. Однако они подчеркивали не размах всенародного сопротивления,

а опасность, которая будет угрожать стране, если принятие решения затянется. Они говорили о том, что государственные органы должны сотрудничать по практическим вопросам с органами оккупационной власти, что отсутствие такого сотрудничества может привести к нежелательным конфликтам с населением и т.д. и т.п. В общем же они не предлагали своего политического решения и не возражали против того, чтобы отвод оккупационных войск и подтверждение линии Программы действий КПЧ стали для продолжения переговоров в Москве обязательным условием. О необходимости "братской помощи в борьбе с контрреволюцией" и о том, что соответствующая Программе действий КПЧ политика — это проявление "правого оппортунизма", ими тогда не было сказано ни слова.

Позже, в частной беседе, я коротко информировал Черника, Смрковского, Шпачека и Шимона о том, как Биляк, Индра, Якеш и другие пытались сформировать правительство в советском посольстве в Праге, и чем это кончилось. А я узнал от своих собеседников, что с ними случилось после того, как мы виделись в последний раз в кабинете Дубчека 21 августа 1968 года. Мы договорились также о совместных действиях на предстоящих переговорах и, естественно, о том, что все мы будем с Дубчеком, как только он сможет принять участие в переговорах.

Черник сказал мне позже, что нам следовало бы подготовить материал для заключительного заседания и как можно раньше представить его советскому политбюро. У него уже был черновик текста, мы обсудили его с остальными. Потом мы с Богумилом Шимоном начали составлять окончательный текст. После обеда я надиктовал его русский перевод кремлевской машинистке.

Содержание нашего проекта фактически представляло собой измененный вариант той позиции, которую политбюро ЦК КПЧ заняло в июле 1968 года по поводу варшавского письма пяти стран, которые впоследствии оккупировали Чехословакию. Правда, некоторые аргументы и общий тон текста мы изменили, поскольку изменилась ситуация: были отмечены некоторые отрицательные явления; мы признали и то, что политическое давление снизу несколько вышло за рамки ожиданий политического руководства. Но и на этот раз мы отказывались признать, что события в Чехословакии до оккупации были "контрреволю-

цией". Напротив, мы подчеркивали социалистический и демократический характер всенародного движения. Мы допускали, что положение в Чехословакии могло вызвать озабоченность пяти соседних стран, что руководство КПЧ этого недооценило. Но в интервенции мы видели трагическую ошибку, шаг, который не может ничего решить, а потому считали, что войска всех пяти государств должны быть из Чехословакии выведены. Только при этом условии последующее реформистское развитие Чехословакии может проходить в соответствии с общими интересами всех социалистических государств. В качестве возможной отправной точки мы ссылались на документы совещания в Братиславе. В отношении внутренней политики подчеркивалось, что Программа действий КПЧ — это основной документ, который должен определять линию компартии Чехословакии и в будущем. Если я не ошибаюсь, текст нашего нового предложения перешел советскому политбюро Ольдржих Черник.

Советское политбюро было возмущено. Нам было сказано, что предложение выглядит как ультиматум, а что наша делегация должна понять, что ее положение не позволяет ей выступать с ультимативными требованиями. Чтобы подкрепить этот тезис, советская сторона представила свой проект. И вот этот проект, действительно, звучал как ультиматум. На основе советского проекта и был составлен подписанный позже текст "московского протокола". Вначале его отвергли все члены чехословацкой делегации. Его не поддержали даже члены промосковской группы. О том, что чехословацкая сторона не согласна с проектом, советскому политбюро сообщил Смрковский.

Я уже точно не помню, сколько раз и из-за каких формулировок возвращались к нам различные варианты текста, сколько раз они перерабатывались. Различные формулировки текста два, а иногда и три, члена нашей делегации передавали с нашими замечаниями одному-двум представителям советской стороны. А те либо были, либо не были уполномочены высказать свою точку зрения. И в зависимости от этого, либо сразу, либо через некоторое время возвращали наши варианты или замечания, в большинстве случаев отказываясь принять. От чехословацкой стороны в этой процедуре участвовали Черник, Смрковский, Швестка, Ленарт, Шимон и я. Партнерами от советской стороны были Косыгин, Суслов, Пономарев. Шимон и я встречались с Пономаревым.

Остальные во время этой бумажной войны занимались кто чем. В течение дня с некоторыми членами нашей делегации встречались Брежнев и Косыгин. О том, что делали представители промосковской группы чехословацкого руководства Биляк, Якеш и др., я не имел никакого представления, да тогда это меня и не интересовало. Я был занят формулировкой различных проектов и замечаний и поэтому почти не присутствовал в зале, где проходило так называемое "коллективное обсуждение". Чаще всего, в этом зале находилась лишь небольшая часть делегации. Разбившись на маленькие группы, присутствующие обсуждали самые разнообразные вопросы.

К вечеру, когда советское политбюро окончательно отвергло наше предложение как недопустимый "ультиматум", обсуждался уже только советский вариант. Первоначальный советский текст отличался от подписанного позднее, главным образом, тремя моментами: в нем говорилось, что военная интервенция была обоснованной; в нем не упоминалось об отводе из Чехословакии советских войск; наконец, первоначальный советский вариант не признавал линию КПЧ правильной. Напротив, поскольку там говорилось о необходимости аннулировать XIV съезд КПЧ и сместить некоторых деятелей (в частности, Кригеля, Цисаржа, Шика, министра внутренних дел Павела и министра иностранных дел Гайека), создавалось впечатление, что реформистская политика КПЧ осуждается целиком и полностью. На изменении текста именно этих трех пунктов и сосредоточилось длительное обсуждение документа.

Промосковская группа в дубчеховском руководстве КПЧ вела себя в основном пассивно. Такое поведение, с ее точки зрения, было разумно: эти люди знали, что разговорами ничего не изменишь. Поэтому никто из промосковской группы не поддерживал первоначальный текст советского предложения и не препятствовал стараниям нашей делегации внести изменения. Сами же они не выдвигали предложений, выжидая только, чем закончится словесная дуэль. Зато активно старались уговорить нашу делегацию принять советские предложения Людвик Свобода и Густав Гусак, которые тогда в партийное руководство не входили. Свобода несколько упрощал, но все же, уговаривая нас, искренне боялся, что каждый час оттягивания решения увеличивает опасность столкновения между оккупационными войсками

и населением Чехословакии. Гусак же, напротив, старался лишь угодить советским представителям. Обсуждение XIV съезда в Высочанах он сводил к единственному — съезд необходимо аннулировать, так как в нем не участвовали делегаты Словакии.

Мне думается, что Людвик Свобода определил свою позицию уже 21 августа и с того момента от нее не отступал. Свобода не был политиком-реформистом, не был, собственно говоря, политиком вообще. Он был солдат, офицер армии Первой Чехословацкой республики, который по случайному стечению обстоятельств стал командиром чехословацкой части, которая сформировалась во время второй мировой войны в СССР и сражалась на стороне советских войск. Вероятно, уже тогда, во время войны, Свобода стал сторонником союза Чехословакии с СССР со всеми вытекающими из этого последствиями. Когда Свобода, до 1948 года, был министром обороны чехословацкого правительства, формально он оставался беспартийным, на деле же он представлял не только КПЧ, но ярко выраженную просоветскую ориентацию, а сторонники ее не утруждали себя чрезмерными размышлениями о государственном суверенитете в отношениях с СССР. У него было двумерное мышление. Все воспринималось с чисто военной точки зрения: либо с советской армией, либо против нее. Он больше был просоветским солдатом, чем коммунистом. Доктрины коммунистической идеологии и тоталитарная практика коммунистов были ему, скорее всего, чужды, но в необходимости безоговорочной просоветской ориентации Чехословакии он был убежден.

В этих категориях Свобода и анализировал, вероятно, создавшееся в августе 1968 г. положение. Эти категории делали его мышление близким мышлению советских маршалов, для которых проблемы демократии существовали постольку, поскольку они касались их соображений о стратегическом господстве над территорией, на которой расположена Чехословакия. Людвик Свобода не возражал, чтобы на этой территории стратегически господствовал СССР, и это — ключ к его политической позиции. Когда в марте 1968 г. Свобода был избран президентом Чехословакии, он возложил венок на могилу Масарика, и очень может быть, что он сделал это, чувствуя известную симпатию к основателю чехословацкого государства.

Став президентом, Свобода, вероятно, предпочитал больше походить на своих довоенных предшественников, чем на Нового. И если бы дело не дошло до военной интервенции, он и в дальнейшем выступал бы за развитие демократии в Чехословакии. Но как только он оказался перед дилеммой — подчиниться ориентации на Советский Союз или нет, он по-солдатски однозначно выбрал Москву.

Ночью 22 августа Свобода сообщил мне о своей поездке в Москву с целью добиться возвращения Дубчека, но он тут же добавил, что потом Дубчек подаст в отставку, и все будет в порядке. Тогда это заявление показалось мне непонятным и противоречивым. Но после того, как я наблюдал Свободу в Кремле, никакой загадки для меня не осталось. С точки зрения самого Свободы, в его позиции вообще не было никакого противоречия. Противоречивой она могла показаться лишь тому, для кого интересы демократической реформы в Чехословакии были выше интересов советских маршалов. А поскольку Свобода принимал или отвергал демократическую реформу в зависимости от того, насколько она соответствовала военным концепциям советских маршалов, противоречие исчезало. Свобода был против похищения и убийства государственных деятелей. Но он не возражал, чтобы неудобные Москве политики были отстранены от дел более цивилизованным образом — например, отставкой. Свобода не был сторонником интервенции со всеми вытекающими из нее последствиями, он хотел воспрепятствовать применению варварских методов и кровопролитию.

Во время переговоров в Кремле Свобода вдруг начал кричать членам дубчековского политбюро: "Вы все болтаете и болтаете! Вы уже доболтались до оккупации страны! Так хотя бы сейчас ведите себя соответственно и действуйте. Я видел за свою жизнь горы трупов и не допущу, чтобы из-за вашей болтовни погибли тысячи!"

Опасность кровопролития не была плодом горячего воображения Свободы. В письме, посланном ему президиумом съезда в Высочанах, президиумом Национального собрания и правительством, которое я ему привез, говорилось: "Очень серьезный и опасный фактор представляет собой растущая усталость и нервное истощение как оккупационных войск, так и на-

шего населения". Авторы этого письма выше всего ставили интересы демократического развития в Чехословакии, а потому предлагали Свободе прервать московские переговоры, вместе с Дубчеком и Черником вернуться в Прагу, стабилизировать положение, проконсультроваться дома и лишь после этого вернуться к переговорам.

Позиция Людвика Свободы была иной: он хотел как можно быстрее вернуться домой, но с соглашением в кармане, покончив тем самым с неопределенностью. В Москве Свобода встречался не только с Брежневым, но и с маршалами. В отличие от тех, кто писал ему письма из Праги, он, вероятно, не очень обольщался насчет своего собственного положения. Свобода знал, что при всем своем желании он сможет вернуться в Прагу лишь после того, как подпишет соглашение, — вернее, диктат Кремля. Внутренне он этому не противился; он из Чехословакии уехал, отчетливо понимая, как ему придется поступить. Он думал, что разговоры о сопротивлении были бессмысленной болтовней политиков.

Что же касается уверенности Свободы, что в данной обстановке человеческие жертвы были бы напрасны, то, как я уже писал в начале главы, и я ее разделял. Этими возможными жертвами, тысячами погибших, Свобода постоянно угрожал нашей делегации во время переговоров в Кремле, торопя нас придти к соглашению. И ему было совершенно безразлично, какие возможности оставит КПЧ текст протокола. Тем самым Свобода служил и советским интересам. И все же я отказываюсь ставить знак равенства между Людвиком Свободой и людьми типа Билляка, Индры, Якеша и др., которые, будучи сторонниками тоталитарной диктатуры, тайно подготавливали военную интервенцию, или между Свободой и людьми типа Гусака, который сразу же перешел на сторону интервентов ради реализации своих личных амбиций, ради власти. Мотивы Свободы были иными. Лично я не могу согласиться с ними. Я не разделял их тогда, не разделяю их и сейчас. Я просто пытаюсь понять его, но не оправдать.

По-моему, проблема Людвика Свободы вовсе не в том, что в решающую минуту он предал демократические реформы Пражской весны. Дело просто в том, что во время Пражской весны главой государства оказался человек, ничего общего с

демократической политикой не имевший. Во время Пражской весны главой правительства стал наш старый чехословацкий маршал, суждения которого в чем-то напоминали маршалов из Москвы. Чехословакия — не держава, а потому и у нашего маршала не было агрессивного великодержавного аппетита; напротив, как маленький маршал, он по-солдатски подчинялся маршалам большим, с которыми давно и прочно связал свою судьбу.

В августе 1968 года Москва использовала Людвика Свободу в своих целях. В последующие годы, — вместе с гусаковским руководством КПЧ, — она им злоупотребила. Свобода запутался в паутине политики "нормализации" и сыграл тогда унижительную роль статиста. Все это оказалось возможным только благодаря его примитивному просоветскому мышлению, его старости и тщеславию, типичному для многих вояк, причем не только вояк по профессии, но и по характеру. Народу было за него стыдно, а власть имущим — как в Праге, так и в Москве — он стал в тягость. И в 1975 году Свобода навсегда сходит с политической сцены.

В те же дни московских переговоров начал свою крупную политическую игру Густав Гусак. Ставкой была наивысшая должность в КПЧ. Тогда, правда, Гусак поддерживал два основных требования реформистского крыла партийного руководства: включить в заключительный протокол гарантии ухода иностранных войск с территории Чехословакии и подтвердить в тексте протокола правильность линии Программы действий КПЧ. Но он последовательно и настойчиво защищал советское требование признать недействительным XIV съезд КПЧ в Высочанах. Этот вопрос, как я уже говорил, был предварительно согласован еще до моего приезда. Но несмотря на это, съезд в Высочанах снова стал предметом обсуждения; во время переговоров стороны пытались найти политически более подходящее, компромиссное решение.

Я сам старался найти какой-то компромисс. Мне казалось абсурдным, что соглашение с московским политбюро может аннулировать XIV съезд КПЧ, который сыграл в Чехословакии такую важную роль. Ведь он не только укрепил позицию КПЧ среди населения, но и спас жизни и должности арестованных членов дубчеховского руководства. К тому же я приехал в Москву от имени партийного руководства, избранного этим съездом, и

это меня обязывало. Правда, я не был членом политбюро, избранного новым ЦК КПЧ в Высочанах. Но членами его были Дубчек, Черник, Смирковский, Шпачек, Шимон и Гусак. Формально именно эти люди должны были защищать (или, напротив, осудить) позицию съезда в Высочанах. Но они на съезде не присутствовали, они не имели никакого представления об атмосфере съезда и о надеждах тех, кто там, в Чехословакии, представлял тогда КПЧ. А я помнил лица людей, которых я видел на заводах ЧКД, я отчетливо представлял, что бы они сказали о проекте документа, который перечеркнет, осудит их деятельность в первые дни советской оккупации.

Смирковский, Шпачек и Шимон прибыли в Кремль уже после того, как чехословацкая делегация предварительно согласилась аннулировать XIV съезд, но они пытались снова вынести этот вопрос на повестку дня. Им было невозможно отказаться от результатов съезда, который спас им жизнь. Поэтому проблема съезда обсуждалась снова и снова; снова и снова делались попытки найти иное, компромиссное решение. Наконец, начал вырисовываться вариант возможного компромисса: признать недействительными выборы нового ЦК КПЧ. В таком решении было весьма заинтересовано московское политбюро, которое ссылалось на заявление самого XIV съезда о том, что выборы ЦК не окончательны, поскольку работа съезда еще не была завершена. Мы же рассуждали так: в ближайшее время, — тогда предполагалось, что это произойдет в течение двух месяцев, — после отвода советских войск из ЧССР, съезд соберется снова, пересмотрит свои решения и будет избран новый ЦК. До этого в состав старого ЦК и его политбюро будут кооптированы члены ЦК, избранного на съезде в Высочанах, которые обеспечат численное превосходство сторонников реформ. Поэтому в заключительном московском протоколе нужно было так сформулировать утверждение о недействительности XIV съезда, чтобы осталась открытой возможность осуществить этот план. И мы этого добились: принятое в Москве компромиссное решение было проведено в жизнь на заседании Пленума ЦК КПЧ, которое состоялось 31 августа 1968 года сразу после возвращения дубчековского руководства из Москвы.

По всей вероятности, Гусак обещал советскому политбюро добиться от чехословацкой делегации признания XIV съезда

КПЧ недействительным. Его действия осложнили достижение компромисса. Но в конце концов и Гусак согласился. Для этого у него были серьезные основания: Гусак не был прежде членом ЦК, а съезд в Высочанах избрал его и в ЦК, и в политбюро. Принятие компромиссного решения обеспечивало Гусаку членство в этих органах. Исходя из интересов своей личной карьеры, Гусак рассчитывал вначале на другой вариант: он надеялся, что на съезде компартии Словакии (КПС) его выберут на должность первого секретаря и тогда он уже не будет зависеть от постановлений съезда в Высочанах. Он звонил из Москвы в Братиславу, прося отложить съезд компартии Словакии, который был назначен на 26 августа, до возвращения чехословацкой делегации из Москвы. Его сторонники обещали выполнить эту просьбу. В момент моего приезда в Москву Гусак был убежден, что съезд в Братиславе не заседает. Я сказал ему, что он ошибается, что мне точно известно, что словацкий съезд начнется завтра, и он наверняка утвердит работу высочанского съезда. На съезд в Словакии была направлена делегация высочанского съезда. Я сообщил Гусаку и состав этой делегации, который был утвержден еще до моего отъезда в Москву. Выслушав меня, Гусак самоуверенно и презрительно улыбнулся. Он смотрел на меня как на дефективного ребенка, который понятия не имеет, как делается политика, и с апломбом назвал все это чепухой: съезд в Братиславе не состоится, в этом он уверен. И вообще только от него зависит, будет съезд или нет.

Но к вечеру Гусак, вероятно, уже знал, что съезд в Братиславе начнет свою работу на следующий день. И поэтому пройдет без него. Это несколько поколебало его самоуверенность. Он начал склоняться к решению, которое позволило бы назначить некоторых избранных на высочанском съезде деятелей на ключевые партийные должности, так как только это могло привести к власти и его. Но к тому же Гусаку удалось осуществить и свой первоначальный план: съезд КП Словакии начал свою работу 26 августа, но уже 27 на нем присутствовал Гусак. Там ему удалось провести резолюцию об отмене высочанского съезда, выполнив тем самым данные Москве обещания. Более того, будучи избранным первым секретарем компартии Словакии, Гусак автоматически, независимо от выборов высочанского съезда, стал членом политбюро всей КПЧ.

Но в первый день работы, когда еще Гусак отсутствовал, словацкий съезд, как и съезд в Высочанах, принял резолюцию, которая осудила интервенцию.

Во время переговоров в Кремле Гусак выступал как соратник и союзник Дубчека, Свободы и Черника. Главным образом — прямо и косвенно — он поддерживал Свободу. В отношении Гусака к Смирковскому уже тогда была заметна определенная сдержанность. Шпачек, Шимон или я вообще не были для него достаточно значительными фигурами. Поэтому к нам он никак не относился. В те дни Гусак не присоединялся и к промосковской группе, т.е. к своим нынешним компаньонам по власти Биляку, Индре, Якешу и др. Советскому политбюро он понравился. Перед нашим отлетом из Москвы Косыгин сказал мне: "Товарищ Гусак такой способный товарищ, замечательный коммунист. Мы его раньше не знали, но он произвел на нас очень хорошее впечатление".

Я никогда не обольщался иллюзиями в отношении Гусака. Я познакомился с ним поздно, лишь в марте 1968 года, когда мы оба были сотрудниками Академии наук — он в Братиславе, я в Праге. Тогда, на одном из совещаний исследовательской группы, которой я руководил и которая занималась проблемой развития политической системы в Чехословакии, рассматривался вопрос государственно-правового упорядочения национальных отношений между чехами и словаками. В этом совещании принял участие и Густав Гусак.

В то время я уже много слышал о нем — как от его друзей, так и от врагов. Поэтому я ожидал встретить амбициозного политика, стремящегося вернуться в круг власть имущих. Но действительность превзошла все мои ожидания. На заседании группы, где все мы привыкли говорить по существу, откровенно, с терпимостью к разным взглядам, Гусак выступил как политический лидер, дающий указания и благосклонно разъясняющий неполноценным людям "правильную линию". По содержанию его выступление было крайне консервативно. Он повторял затертые фразы из работы Ленина "Государство и революция", смысл которых давно уже был отброшен в политической практике Советского Союза и других стран советского блока. Гусак старательно отгораживался от всех идей плюралистического, демократического понимания политической системы социализ-

ма. В области национальных отношений Гусак требовал федерализации государства. Он выступал как человек, который все знает. Местами его выступление было грубо, местами демагогично.

В конце совещания, подводя итоги работы, я сказал, что выступление Гусака годилось бы для митинга, но что мыслей оно не содержало. Гусак с трудом скрыл злобу; у меня появился враг.

Впечатление, которое он на меня тогда произвел, было настолько неблагоприятным, что сблизиться с ним мне совершенно не хотелось.

Его отношение было мне безразлично.

До войны Гусак, по образованию юрист, принадлежал к словацкой коммунистической интеллигенции. Он работал в подполье и свою главную роль сыграл в словацком национальном восстании в августе 1944 года. С того времени началась особая, противоречивая эволюция Гусака и как политика, и как человека. Можно говорить о личной трагедии Гусака, но гораздо серьезнее трагедия народа, которым, из-за поддержки извне, он правит вот уже десять лет.

Гусак — политик сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ, линию которой он проводил и методами которой он пользовался. Однако, с другой стороны, Гусак — личность-самородок. Он гораздо талантливее большинства этой гвардии. У него были свои взгляды и убеждения, — в первую очередь по вопросу Словакии, — а потому он неизбежно вступал с этой гвардией в конфликт. Это основное противоречие красной нитью проходит через всю политическую деятельность Гусака.

Во время войны, находясь в словацком коммунистическом подполье, Гусак выступал как носитель официальных в то время взглядов Коминтерна. Так, например, Густав Гусак предлагал Готвальду после войны присоединить Словакию к СССР как союзную республику, ссылаясь при этом на невысказанное желание большинства словацкого народа. Гусак огульно называл чехов, оставшихся в Словакии во времена словацкого фашистского государства, группой коллаборационистов; он говорил, что участвовавшие в движении сопротивления евреи ненадежны, и настаивал, чтобы они были изолированы. Сталинское мышление, согласно которому определенная классовая, национальная или религиозная группа может подпасть под подозрение,

а затем быть дискриминирована как целое, столь же типично для Гусака, как и для всей сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ.

В послевоенные годы, до его ареста в 1951 году, Гусак был одним из самых талантливых и активных проводников сталинской политики. После выборов 1946 года он стал председателем Собрания уполномоченных в Словакии. Коммунисты Словакии проиграли в то время выборы. Методы, которые применял Гусак в те годы, послужили прообразом тактики КПЧ в масштабах всей страны в феврале 1948 года для захвата власти независимо от результатов голосования. Гусак, не колеблясь, дискредитировал и натравливал друг на друга своих политических противников — существовавшую в то время Демократическую партию и католическую церковь. Как председатель Собрания уполномоченных, Гусак принимал активное участие в провокациях, организованных органами государственной безопасности и направленными против некоммунистических политиков и духовных лиц. Нельзя отрицать, что некоторые лица из рядов антикоммунистической оппозиции в Словакии были в то время связаны с католическими политиками фашистского толка. Однако Гусак, прибегая к полицейским провокациям, создавал впечатление, будто *все* некоммунистические политические течения представляли непосредственную опасность для демократического чехословацкого государства. Он не рассчитывал получить большинство голосов на демократических выборах, а поэтому старался захватить ключевые позиции путем кабинетной политики, провокаций и насилия.

И все же Гусак-сталинист отличается от других сталинистов Братиславы и Праги. Он действительно озабочен, чтобы словацкие национальные интересы не ущемлялись пражским центром. Кроме того, Гусак — не типичный аппаратчик, т.к. сила аппарата зиждется на посредственности и анонимности работников. Он, скорее, предпочитает интеллигентное манипулирование, осуществляемое способной, квалифицированной правящей элитой. Поэтому для тех, кому Гусак помог захватить власть, для государственного и партийного аппарата, для политической полиции он так и не стал своим. Гусак для них — инородное тело, индивидуалист, амбициозный человек, которого, однако, побаиваются. В аппарате его называли "коммунистом-барбином". Эта

аттестация на разные лады повторялась официальной партийной пропагандой, когда Гусак был в тюрьме, и позже, при Новотном, когда Гусак был уже на свободе. Несмотря на то, что он содействовал победе сталинизма в Чехословакии, Гусак оказался его жертвой, так как другие сталинисты видели в нем опасно талантливую личность, а сторонники пражского централизма — опасного защитника словацких национальных интересов.

В сущности, Гусак — неудачник. В период словацкого национального восстания он, отказавшись от прежних своих планов присоединить Словакию к СССР, помог вернуть Словакию в единое чехословацкое государство. Он надеялся, что Словакия — а тем самым и он как словацкий политик — получит возможность удовлетворять свои интересы. Но в итоге в стране была создана диктатура центра, вступившая в противоречие с интересами общества вообще, а тем самым с интересами Словакии. В период с 1945 по 1951 гг. Гусак делал все для укрепления власти КПЧ, а тем самым и своей собственной власти. Но его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Диктаторы, которым так активно помогал Гусак, исключили его из круга высоких чиновников, они боялись его как опасного конкурента.

Арест Гусака был в значительной степени следствием его личного конфликта с Широкиным, который в готвальдовском, а позже и в новотновском политбюро представлял то направление сталинистов, которое требовало безропотного подчинения словацких интересов диктатуре центра. В пятидесятые годы Гусак и Широкий были соперниками. Думаю, что если бы тогда победил Гусак, он бросил бы в тюрьму Широкого, не испытывая при этом угрызений совести. Но факт остается фактом: арестован был Гусак. Его осудили за "преступления", которых он не совершал. Десять лет он был узником сталинских, а позже новотновских тюрем.

В 1963 году Гусака реабилитировали. Новотный предложил ему, как и Смерковскому, вернуться к политической деятельности. Он мог стать заместителем министра финансов. Гусак отказался. Я не был тогда знаком с Гусаком, но думаю, что поступил он так по двум причинам. Гусак понял, и понял верно, что Новотный хочет перевести его из Словакии в Прагу, чтобы ото-

рвать от политического тыла. Кроме того, в политическом плане должность заместителя министра финансов была для Гусака чересчур незначительна. Мне думается, что Гусак уже в то время делал ставку на серьезные изменения в стране, надеясь сыграть в будущем более важную политическую роль.

В тюрьме Гусак несколько изменился, но, в основном, остался самим собой. Он на собственном опыте увидел, как поступает режим коммунистической диктатуры с теми, кого выбрасывает на свалку. Но себя самого Гусак не относил к вышвырнутым навсегда и "за дело". Напротив, он вышел из тюрьмы с твердым убеждением, что ему "по праву" положено место на Олимпе. Ведь он всегда защищал коммунизм, интересы рабочего класса в Словакии, ведь он способнее тех, кто правит сейчас. Он наверняка думал, что режим нужно изменить. Однако представления Гусака о необходимых переменах были обусловлены его прошлой политической деятельностью. К тому же на протяжении многих лет он был изолирован от того, что происходило в стране. Выйдя из тюрьмы, Гусак остался сильной личностью, но демократом не стал. Он был убежден в своей миссии, стремился устранить от власти бесталанных, чтобы показать им, что такое настоящий политик.

Мне думается, что потребность самореализации неразрывно связана у Гусака со сферой политики и власти. Он убежден в своем призвании указать правильный путь. Мирослав Кусый, один из ведущих коммунистов-реформистов Словакии, рассказывал мне об одной встрече с Гусаком. Это было утром 21 августа 1968 года перед зданием ЦК в Братиславе. Вокруг двигались танки. Это были первые часы оккупации. Тогда, под грохот танков, Гусак произнес: "Я выведу народ из этой катастрофы". Нечто подобное в такие минуты мог сказать лишь человек, глубоко верящий в свою миссию.

После 1963 года Гусак, по собственной инициативе, встречался со многими коммунистами-реформистами в Братиславе и Праге. На протяжении нескольких лет Гусак выступал с острой критикой Антонина Новотного, умело собирая вокруг себя оппозиционно настроенных людей.

Многие влиятельные коммунисты-реформисты стали видеть в нем возможную альтернативу, смену Новотному. Сам Новотный все больше и больше боялся Гусака, старался ограничить его по-

литическое влияние. Он по любому поводу дискриминировал его. Но снова бросить Гусака в тюрьму Новотный уже не мог. Напротив, преследования со стороны Новотного еще больше способствовали росту популярности Гусака. Гусак умело использовал и это.

После смещения Новотного Дубчек с Черником и Кольдером подбирали состав нового руководства. Никому из них не хотелось включить Гусака в партийную верхушку. На должность секретаря компартии Словакии Дубчек назначил Биляка — тогда Дубчек считал его своим товарищем. Поэтому даже в Братиславе у Гусака не было никаких перспектив. Он снова оказался в явном проигрыше и должен был удовлетвориться должностью заместителя председателя правительства.

Пражскую весну Гусак воспринял как временное явление. Окончательное соотношение сил должно было — считал он тогда — определиться в будущем. Положение его не было легким. Попытки радикальных реформ, которые вели к политическому плюрализму, он считал несостоятельными, неосуществимыми. В личных беседах он называл коммунистов-реформистов, главным образом из кругов пражской интеллигенции, "могильщиками процесса возрождения". Дубчек и некоторые другие члены партийного руководства выглядели в его глазах наивными дилетантами в политике, которых он явно превосходит талантом и политическим реализмом. У него не было, как мне кажется, чрезмерных иллюзий в отношении великодержавной политики СССР. Гусак знал из собственного опыта, что советская армия не поддержала словацкого национального восстания, поскольку оно не соответствовало стратегическим замыслам Сталина. Но, тем более, — и как убежденный коммунист, и как политик-реалист — он считал необходимым избежать конфликта с Москвой. В случае же возникновения такого конфликта Гусак заранее был готов на компромисс. При таких взглядах он не мог найти поддержки у реформистов, а просоветская и сталинская клика в КПЧ сама избегала союза с ним. Поэтому Гусаку никак не удавалось подняться на верхние ступеньки иерархической лестницы. В конце концов Гусак вынужден был присоединиться к радикальным течениям, представители которых требовали дальнейших персональных изменений.

Но для этого ему пришлось замаскироваться и скрывать свои подлинные убеждения.

В шестидесятые годы и в период "Пражской весны" многие коммунисты-реформисты видели в Гусаке политического союзника, а некоторые — и личного друга. Для Гусака же эти люди были необходимым, но не лучшим орудием для осуществления собственных мессианистских представлений и связанных с этими представлениями амбиций. Многие из этих людей разобрались в Гусаке слишком поздно, лишь после 1969 года, когда Гусак наконец-то поднялся на самую высшую ступеньку власти.

Наиболее показателен случай с историком Миланом Гиблом, который в 1968 году был ректором Высшей партийной школы ЦК КПЧ. В последние годы правления Новотного Гибл делал все возможное, чтобы Гусака не только реабилитировали, но и вернули на политическую арену. Он поддерживал Гусака в его выступлениях против Новотного, и за это в 1965 году Новотный выгнал Гибла с работы. Еще в апреле 1969 года, когда Гусак сменил Дубчека на посту генерального секретаря ЦК КПЧ, будучи убежден, что Гусак — самый подходящий политик для осуществления "кадаризации", для защиты остатков реформ 1968 года, Гибл активно помогал ему заручиться поддержкой реформистов в ЦК. А в 1972 году Гибла арестовали, и Гусак хладнокровно позволил приговорить Гибла к шести с половиной годам тюрьмы за "подрывную деятельность против республики". Гибл же все время выступал за сохранение хотя бы некоторых реформ, старался собрать вокруг себя реформистов, своих единомышленников, обращался за поддержкой к коммунистическим партиям Италии и Франции. Гусак, сам несправедливо осужденный в прошлом, продержал Гибла в тюрьме вплоть до конца 1976 года, хотя ему было хорошо известно, за что арестовали Гибла, насколько унижительно и опасно для здоровья Гибла заключение.

Придя к власти, Гусак расправился почти со всеми, кто помог ему вернуться к политической деятельности и занять высшую партийную должность. Более того, он связал свою судьбу с людьми, которых презирал и считал бездарными слугами Новотного — прежде всего с Василием Биляком. Правда, Гусак оказался во власти обстоятельств: он стал первым человеком

партии, когда удержаться на этой должности мог лишь верный лакей Кремля. А Кремль требовал ликвидации прежних друзей Гусака и возвращения к власти его многолетних личных врагов. Получая свой пост по милости Москвы, Гусак должен был знать об этом заранее. Он гораздо умнее своих нынешних коллег по политбюро. Он прекрасно понимал, как ему придется действовать. Всю жизнь он мечтал вскарабкаться на самую высокую ступень власти. И когда такая возможность представилась, Гусак не устоял. Он отказался от своих прежних убеждений, согласился заплатить полную цену за право стоять во главе оккупированного государства.

После того как в мае 1969 года московское политбюро назначило Гусака на высшую должность в КПЧ, в Чехословакии казалось, что положение несколько улучшилось. Было известно, что Гусак — не советский агент. Напротив, поскольку в шестидесятые годы он был связан с реформистами, люди надеялись, что ему удастся "предотвратить трагедию". Им казалось, что Гусак представляет центр. В Чехословакии этому верили довольно долго, на Западе же журналисты думают так до сих пор. До сегодняшнего дня они пишут о Гусаке как о человеке, который не допускает эксцессов. В действительности такие утверждения ни на чем не основаны. Гусак проводит политику, угодную Кремлю, и если иногда создается впечатление, что дело не доходит до крайностей, то только потому, что этого не желают в Кремле. В самой КПЧ, в аппарате ЦК и других партийных группировках у Гусака не было и нет поддержки. Он не принадлежит ни к группе так называемого здорового ядра КПЧ, то есть к тем, кто в 1968 году хотел советской оккупации и способствовал ей; его нельзя отнести и к прагматикам в партийном и государственном аппарате. Он держится на милости Кремля. В этом его сила, но в этом же и его слабость. Гусак есть и будет всего лишь советским наместником в Чехословакии, которого, если возникнет необходимость, кремлевские патроны безжалостно устроят.

Весьма вероятно, что тогда, в Кремле, в августе 1968 года, Гусак сам не вполне предвидел, какой режим сложится в Чехословакии под его властью. Я не думаю, что Гусак хотел ликвидировать треть членов КПЧ как "пособников контрреволюции". Гусак, вероятно, не представлял тогда, что Биляк, которого он презирал, станет его главной опорой. И все же уже тогда Гусак

совершенно сознательно вступил на путь, который привел его к вершинам власти и в партии, и в государстве; уже тогда Гусак готовился принести в жертву своим амбициям реформы Пражской весны.

Так вот, поздним вечером 25 августа, в отсутствие Дубчека и Кригеля, пять сторонников демократических реформ — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я — столкнулись с семью представителями промосковской группы (Биляк, Якеш, Швестка, Пиллер, Ленарт, Барбирек, Риго). Восьмой из этой группы — Алойиз Индра — тоже отсутствовал. Мы все еще пытались внести некоторые исправления в советский проект заключительного документа, старались сберечь хоть некоторый простор для осуществления реформ. На нас постоянно сыпались окрики Людвика Свободы и Густава Гусака. Все это наблюдали министры Дзюр и Кучера, посол Чехословакии в Москве Владимир Коуцкий. Они не вмешивались в обсуждение, но явно были на стороне тех, кто готов был подписать советское предложение без каких-либо оговорок.

Во время обсуждения протокола советское политбюро постоянно оказывало давление на чехословацкую сторону. В основном это делалось путем сепаратных переговоров с отдельными членами чехословацкой делегации, когда угрозы чередовались уговорами и обещаниями. Советские обещания, которые давались в таких частных беседах, вызывали у некоторых делегатов иллюзию, будто именно они могут заручиться советской поддержкой. Давление советской стороны определяло атмосферу переговоров. Над нами постоянно висели две очень серьезные угрозы.

Во-первых, нам дали понять, что мы не выйдем из Кремля, пока не подпишем советский ультиматум, — пусть и с некоторыми изменениями. Советская сторона не скрывала этого; напротив, несколько раз было сказано: не подпишете завтра, подпишете через неделю. И не было сомнений, что Кремль свою угрозу осуществит. У шести членов политбюро, которых привезли как арестантов, имелись на этот счет весьма наглядные представления. Они уже пережили допросы инквизиции; им показали орудия пыток. Я говорю это буквально, а не образно. Мне известно, что каждый из них уже прощался с жизнью. Это, правда, придает силу, так как после первого страха перед смертью наступает

примирение с судьбой. Но психологически состояние резко меняется, когда, вместо неизбежного конца, перед человеком снова открываются ворота в жизнь. Когда самоубийцу спасают, он ведь тоже не сразу повторяет свою попытку.

С чисто человеческой точки зрения, положение некоторых членов дубчеховского руководства было похоже скорее на положение людей, которых шантажируют гангстеры, чем на положение правительственной делегации на международных переговорах. Но не это главное. Главное то, что знали мы все: по некоторым принципиальным вопросам Кремль не уступит, даже если расплачиваться за это придется бессмысленным кровопролитием в Чехословакии. Такова была вторая угроза, которую мы слышали не только от Свободы, но и во время прямых контактов членов нашей делегации с советскими представителями. Если вспыхнет конфликт, — говорили нам, — то советским войскам приказано применить против населения Чехословакии оружие. Мы ведь должны понять, что сейчас, то есть пока хотя бы в общих чертах не достигнута договоренность, они уступить не могут. И если все откладывается и задерживается, то это наша вина, только мы несем ответственность за жизнь гражданского населения Чехословакии.

Легко утверждать задним числом, что Москва не пошла бы на драконовские меры, а если бы пошла, то это было бы чревато для нее катастрофическими международными последствиями. Легко рассуждать, что народам Чехословакии открытый конфликт принес бы историческую и нравственную победу, что они противопоставили бы тогда цепи капитуляций в своей истории акт героического сопротивления могущественному агрессору и выпрямили бы спину. Мы и тогда обдумывали эти аргументы. Но все же трудно было взять на себя ответственность за решение, чреватое кровавой бойней. У нас не было даже гарантии, что бойни не произойдет еще до того, как мы, в Кремле, придем к соглашению. Ведь отступление от первоначального плана, попытка Кремля договориться с теми, кого по идее предполагалось судить "контрреволюционным трибуналом", — это был максимум, достигнутый пассивным сопротивлением народа. Но если бы переговоры в Москве провалились, у Кремля не осталось бы выхода. Он вынужден был бы вернуться к своему первоначальному плану и проводить его в жизнь с еще большей жестоко-

стью. Нелепо надеяться, что разбойник, сила которого в угрозе оружием, не применит это оружие, если окажется в затруднительном положении и поймет, что другого выхода у него нет. А советское политбюро не было неопытным в разбое новичком. Сталинская традиция массовых преступлений, как и Будапешт 1956 года, — живое тому доказательство.

Разумеется, и для Москвы установление в Чехословакии оккупационного режима, а тем самым доведение агрессии до всех логических ее последствий, было в политическом отношении не самым удачным исходом. Но уже решившиеся на военную оккупацию силы, при определенных обстоятельствах, могли пойти и на это. Такое решение не требовало даже согласия политбюро ЦК КПСС: достаточно, чтобы за него выступили "ястребы" в генералитете. В их власти было начать бойню, свалить ответственность за нее на "волнения", вызванные "контрреволюцией" и чехословацкими гражданами.

Мы знали, конечно, что советское руководство, оказавшись вынужденным вести переговоры с Дубчеком, стремилось провести руками самого Дубчека и других реформистов те меры, которые невозможно было осуществить посредством Биляка и Индры. Но насколько им это удастся, зависело хотя бы отчасти от тех, кого Москва пыталась использовать как орудие. Палка, которой хотела воспользоваться Москва, была о двух концах. Перед нами снова открывались определенные политические возможности. Путь компромисса давал нам известные шансы, а как ими воспользоваться — зависело уже от нас самих. Даже если надежда была невелика, все же открывалась реальная политическая перспектива. И если мы хотели предотвратить кровавую бойню, спасая при этом хотя бы часть реформ, мы должны были пойти на этот компромисс. Так, по крайней мере, мы считали тогда, в Кремле.

Ни для кого не было тайной, что советское политбюро не было едино, когда решался вопрос о военном вмешательстве. Поэтому мы рассчитывали на то, что провал военных методов укрепит позицию тех, кто в свое время не соглашался на применение силы. Политический компромисс с Москвой во всех отношениях был бы выгоден Кремлю, но такой компромисс вовсе еще не означал автоматического сведения на нет политики реформ в Чехословакии: требования "ястребов" можно удовлетворить

размещением незначительного контингента советских войск — прежде всего стратегических частей — при условии, что эти войска не будут вмешиваться в политику КПЧ, то есть, в политику проведения реформ, пусть и в меньших масштабах. Таким образом, мы рассчитывали, что сможем приступить к своего рода "кадаризации" в максимально благоприятных условиях — без кровопролития, без ссылки наших людей в Сибирь, без репрессий со стороны полиции, без тоталитарной диктатуры.

Приблизительно так рассуждали мы все — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я. Но у каждого, кроме того, были и свои соображения. Различной была и степень нашего оптимизма относительно будущего Чехословакии. Всем нам было ясно, что желаемое часто принимается нами за действительность, что мы склонны видеть лучшую из существующих возможностей. Во время дискуссий мы высказывали свои сомнения вслух; мы подсмеивались над своей верой, а время от времени то один, то другой теряли всякую веру. Я помню, как несколько раз, совершенно неожиданно, в каком-то провидении, — без каких-либо логических взаимосвязей, — мне вдруг начинало казаться, что все наши рассуждения бессмысленны, что мы в чем-то себя обманываем, а правда очень проста: мы подписываем капитуляцию, отречение, и народ дома назовет это изменой. Тогда в Кремле в один из таких моментов я сказал Смрковскому (кажется, при этом присутствовали Шпачек и Шимон), что для меня лично эти переговоры оказались полезны лишь в одном: я понял Эмиля Гаху.* Никто не возмутился; Гаху тогда, наверняка, вспоминали все. Но некоторые отворачивались от собственных сомнений энергичнее, упорнее других. Кажется, первым решил подписать советский ультиматум Черник.

Это серьезно сузило обсуждение различных альтернатив. Было ясно, что промосковское большинство участников переговоров, а вместе с ними министры Дзюр и Кучера и посол Чехословакии в Москве Коуцкий подпишут ультиматум в любом виде.

* Эмиль Гаха (1872-1945) был избран президентом чехословацкого государства 30 ноября 1938 года — после ухода в отставку президента Бенеша. В ночь с 14 на 15 марта 1939 года Гаха (в то время очень больной человек) подписал в Берлине документ о создании на территории Чехии и Моравии немецкого протектората. До конца второй мировой войны он был президентом Протектората. После окончания войны Гаха был арестован. Он умер до суда.

Затем ультиматум подпишут Свобода и Гусак. И как только стало ясно, что ультиматум подпишет и Черник, советской стороне оставалось убедить только Дубчека. Без подписи Смирковского положение осталось бы для нее довольно затруднительным, но, с политической точки зрения, все же терпимым. С этой же, политической точки зрения, подписи Шпачека, Шимона, Кригеля и моя значили не так уж много. Это гирька, которая не перетянула бы чашу весов.

Позиция Дубчека оставалась, однако, неизменной вплоть до 26 августа, до торжественного заседания, которое предполагалось завершить подписанием документа. Даже на этом заседании еще вносились какие-то изменения в текст. На переговорах, которые проходили ночью 25 августа, Дубчека не было, но некоторые члены делегации его несколько раз навещали. Дубчек поддерживал все предлагаемые нами изменения. Он хотел, чтобы мы продолжали вести переговоры и работать над текстом, но окончательного "да" относительно своей подписи под документом не говорил. Он хотел увидеть прежде окончательный текст договора.

Поздней ночью 25 августа вся чехословацкая делегация, за исключением Дубчека, Кригеля и Индры, собралась за одним столом. Председательствовал Ольдржих Черник. Каждый член делегации должен был выступить и заявить, подпишет ли он документ. Текст протокола еще не был отредактирован. Окончательную редакцию предполагалось принять на следующий день на совместном заседании с советским политбюро в полном его составе. Так что еще была возможность вносить изменения. К тому времени советская делегация еще не приняла формулировку об отводе войск с территории Чехословакии. (В подписанном протоколе такая формулировка есть.) Поэтому я считал преждевременным брать на себя обязательство подписать документ, исключив тем самым для себя возможность дальнейших изменений текста. Это было как раз то заседание, на котором Свобода кричал, что мы доболтались до оккупации страны иностранными армиями и продолжаем болтать. Гусак настаивал, чтобы высказался каждый из присутствующих. Атмосфера была очень тягостная, напряженная, истеричная. На этом заседании я отказался сказать "да" и оставил за собой право принять решение на следующий день, — в зависимости от итогов

окончательного обсуждения. Все остальные уже тогда обещали подписать протокол. Что же касается отсутствовавших, то в позиции Алойиза Индры не сомневался никто. Позиция Кригеля была вообще неизвестна, а Дубчек, как и я, хотел сообщить свое окончательное решение на следующий день. Только он мог еще изменить ход событий.

Совещание окончилось почти в три часа ночи. Это была ночь с 25 на 26 августа. Потом мы поехали в правительственный особняк на Ленинских горах. В прихожей, как и в Кремле, стояли столики с водкой, коньяком, икрой, осетриной и другими яствами. Я вошел в свою комнату и свалился на кровать. Послышался тихий стук в дверь. Я открыл и увидел барышню в халатике, под которым, как мне показалось, не было ничего. "Вам что-нибудь еще нужно, товарищ?" — проговорило это создание и кокетливо улыбнулось. Я не знал, какие еще услуги полагаются официальному гостю Кремля, но выяснять не хотелось. Я раздраженно ответил, что мне нужно лишь одно: чтобы меня оставили в покое. И закрыл двери.

С ночи на 21 августа я спал лишь три раза, всего по несколько часов. Я выкурил за это время сотни сигарет и выпил десятки чашек черного кофе. Напряжение не ослабевало — в кабинете Дубчека с дулом автомата у затылка, в советском посольстве в Праге, на съезде в Высочанах, а потом в Москве, в Кремле. От усталости я не мог уснуть. В голове мелькали не мысли, а картины, ощущения, бесконечные и бессвязные кадры. А в просветах между ними меня вдруг осеяло ошеломляюще ясное и бесхитрое понимание.

Я открыл окно. Оно выходило в сад. Свежий утренний воздух несколько успокаивал нервы, на смену видениям снова пришли мысли. Только сейчас мой мозг начал анализировать обстановку глобально, выделяя наиболее существенное. Пока я находился в вихре событий, разговоров, совещаний, в процессе принятия решений по поводу десятков конкретных вопросов, пока я писал проекты и замечания, переводил их на русский язык, обдумывал конкретные требования данного момента, я жил только своей ролью, как заранее запрограммированная вычислительная машина. То, что происходило вне меня, либо воспринималось как фон, либо служило стимулом для моих действий. То, что происходило во мне, откладывалось внутри, но у мозга

не оставалось времени это обдумать. Из этого комплекса переживаний, впечатлений, ощущений и невысказанных слов в голове складывались вопросы, которые требовали ответа. А все многочисленные ответы выливались в один, в ответ на главный вопрос: что же произошло и какова моя роль в происшедшем?

То, что я оказался в Москве, — наполовину заложником, наполовину правительственным гостем, — логическое следствие всей моей жизни и политической деятельности. Я сам участвовал в создании такой ситуации. Собственно говоря, она — следствие не 20 августа 1968 года, а 25 февраля 1948 года. Потому что именно тогда я безоговорочно, по собственному решению и убеждению примкнул к тем, кто, в свою очередь, безоговорочно, по собственному решению „на вечные времена” подчинился Москве и ее целям. Сейчас уже не важно, почему я так поступил, почему так поступили другие, были ли намерения и идеалы, которые вели нас к этому, благими. Но так случилось. Выбор сделал я сам. Правда, вот уже больше десятка лет я знал, что Москва — это рассадник уголовщины. Я не хочу оставаться ее прислужкой. Но что же я делаю? Я пытаюсь изменить положение у нас, в Чехословакии, но почему-то надеюсь, что Москва искренне согласится покончить с уголовщиной. Я надеюсь получить разрешение Москвы на реформы дома. У меня есть некоторые доводы, чтобы так думать. Однако уже много лет существуют веские доводы думать совершенно иначе. Я либо недооценил, либо не учел их. Они не соответствовали моим концепциям коммунистического реформизма.

Случившееся неделю назад полностью соответствовало логике вещей. Москва решила приостановить экспериментирование с коммунистическими реформами, которое показалось ей чересчур опасным, угрожающим ее собственным интересам. Кремль вправе поставить меня перед судом, вправе спросить: „Так что, ты все еще с нами „на вечные времена”? Ведь ты же сам это твердил целых двадцать лет!” Москва хочет слышать либо „да”, либо „нет”. Подробности ее не интересуют. Она требует определенного ответа и от меня, и от остальных, кто оказался здесь в двусмысленной роли заложников и членов правительственной делегации одновременно.

Собственно, старый генерал Свобода был прав, когда ругал нас и требовал, чтобы мы взглянули прямо в глаза правде. Он

понял ситуацию, и потому отвечает Москве недвусмысленным "да". Свобода требует, чтобы так же поступили и остальные, а кто не хочет, пусть скажет "нет", но перестанет тянуть время, заниматься проволочками. Мы несколько ошарашены тем, что советское политбюро повело себя как банда гангстеров. Но разве мы сами не виноваты? Кадар спрашивал Дубчека: "Неужели вы не знаете, с кем имеете дело?" Кадару казалось невозможным, чтобы Дубчек этого не знал. Мы оказались в дураках потому, что окутали свою глупость идеологией коммунистического реформизма.

У меня затекла нога — я долго стоял, опираясь о подоконник; я сел на него и продолжал смотреть в сад. Из тени вышел человек в штатском, его профессия не вызывает сомнений; он подходит к окну и задает тот же вопрос, что и девушка: "Вам что-нибудь нужно, товарищ?" — "Нет", — говорю я ему, схожу с подоконника и ложусь на кровать. Этот человек в саду — еще одно свидетельство, что в Москве все предусмотрели. Может быть, он стоит там, чтобы помешать мне выброситься из окна, если бы я решил таким способом уклониться от прямого ответа. Может быть, стоит ему свистнуть — прибегут другие сотрудники КГБ: окно невысоко, меня бы подхватили внизу без труда, я даже ногу бы не сломал.

Уже почти шесть утра, а в девять в Кремле снова начнутся переговоры. Я думаю о советском ультиматуме. Я знаю, что он будет подписан, что подписи под ним — тоже логическое заключение всей прошлой жизни. Не подписать — значит, начать новую, совершенно иную жизнь. Способен я на это? Не только способен, но и должен.

Ведь все мои прошлые политические поступки, в том числе и последний этап, этап реформы, завершились катастрофой. Благие намерения никого не интересуют, уже Данте знал, что ими вымощена дорога в ад. Я решаю не подписывать. Усталость побеждает, я засыпаю.

К девяти мы собрались в Кремле. О том, что я протокол не подпишу, сообщаю Чернику и Биляку как представителю промосковской группировки — пусть все знают. Я рассказал о своем плане: пойду к знакомому доктору, скажусь больным и на совместную встречу двух политбюро не приду. Пойти и не подписать — значило бы вызвать скандал. Этого я хотел бы избе-

жать. Я не хотел оказывать давление на тех, кто решил иначе; но подписывать я не собираюсь. Биляк пробормотал, что я волен поступать, как мне угодно, но в восторге он явно не был, вид у него был хмурый, неприветливый. Черник привел Шпачека. Потом я говорил наедине со Сморковским и Шимоном. Я решаю подписать.

Почему? Все четверо признались, что пережили то же самое, когда их превратили из заключенных узников в членов правительственной делегации. Тогда все они почувствовали, что не могут с полной ответственностью действовать так, будто ничего не случилось. И все же все они, в конце концов, передумали. Они поняли, что отказ от подписи решит их личную проблему, но не политическую проблему страны, что на их плечах лежит бремя, которое они не могут просто сбросить. Более того, аргументы, которые я приводил накануне, укрепили их уверенность, что компромисс — совсем не безнадежное дело, что в Чехословакии все еще есть возможность создать лучшие и более перспективные условия, чем в Венгрии после интервенции 1956 года. Разумеется, я могу выбирать, как считаю правильным, но я должен помнить, что решаю не только свои личные проблемы, проблемы своей совести, но обязан думать и о политической перспективе. И если я выйду из рядов партийного руководства, это осложнит их положение, поставит под угрозу многое из того, что можно еще спасти. Кроме того, если я уклонюсь от подписи, создастся впечатление, что подписание протокола — это вопрос совести, вопрос чести каждого члена делегации в отдельности. В моем отказе будет осуждение тех, кто подписал, как предателей. В действительности же чехословацкая делегация была обязана найти выход из создавшегося положения, за которое ответственны мы все. Мне сказали также, что в заключительных переговорах будет участвовать Дубчек, что он намерен настаивать на некоторых пунктах, по которым договоренность еще не достигнута — главным образом, на выводе из Чехословакии иностранных войск.

Ночь, когда я был наедине с самим собой, со своим прошлым, кончилась. Настал день, и опять я был с другими. Я попал в свою старую привычную роль; мой мозг работал как запрограммированная машина. В глубине души я должен был признать верным, по крайней мере, один основной аргумент: поли-

тическая ответственность за все случившееся лежала и на мне. Отказавшись искать выхода, я уклонился бы от своей ответственности. И я снова, со всеми четырьмя, принялся подробно обсуждать конкретные возможности политического решения.

В момент, когда я согласился подписать протокол вместе с другими, политическая перспектива для Чехословакии представлялась мне так.

Как бы ни исправлять текст протокола, он даст Москве явные преимущества, возможность систематически давить на наших реформистов. Но, с другой стороны, и у нас появится возможность защищать политику КПЧ. Исход будет зависеть не от текста протокола, а от соотношения сил — как в Чехословакии, так и в Москве. Возвратившись в Прагу, мы сохраним ключевые позиции в своих руках. Невиданная сила всенародного сопротивления оккупации еще больше ослабит положение промосковских групп в структуре власти сверху донизу, несмотря на то, что именно эти силы Москва пытается взять под защиту. Представители промосковских групп попадут на менее значительные должности. Но, самое главное, можно добиться, чтобы советские войска ушли из Чехословакии не позже декабря. Исключение можно сделать для небольшого количества воинских частей, размещения которых на территории Чехословакии Москва добивается уже два года. К тому времени необходимо будет снова созвать XIV съезд партии и избрать новый Центральный Комитет. Все это осуществить возможно, поскольку в Москве, — в связи с международным возмущением по поводу оккупации Чехословакии, — будут заинтересованы смягчить общественное мнение. Весьма вероятно также, что "ястребы" в московском политбюро несколько умерят свой пыл.

Все это, конечно, возможно, но не наверняка. Если же к концу года станет ясно, что события развиваются в другом направлении, что политикам-реформистам не удалось сохранить свои позиции, все еще останется другой выход: представители политики реформ смогут подать в отставку, назначив предварительно своих преемников. Тем самым будет предотвращен приход к власти "революционного рабочего-крестьянского правительства", то есть захват власти в Чехословакии советской агентурой. Москва должна бы согласиться на этот вариант: ведь тем самым она добилась бы отхода Дубчека от дел. Что же касается Биляка

и Индры, то они успели настолько скомпрометировать московское руководство, что оно не будет особенно против "третьего варианта". Новые руководители Чехословакии будут несколько лет проводить политику "кадаризации", а затем настанет время для нового периода реформ. Но, чтобы это осуществилось, надо было сохранить состав КПЧ, который склоняется к линии реформ. Иначе верх в партии возьмут агенты Москвы.

Успех этого плана целиком зависел от сплоченности реформистов вокруг Дубчека. Мы обещали друг другу этой сплоченности не нарушать. У меня никогда не было особых иллюзий насчет отношений между людьми внутри партийного аппарата. Всего несколько лет назад товарищи посылали друг друга на смерть. В партии всегда были интриги, и прошла всего неделя с тех пор, как часть руководства была арестована с согласия своих коллег. Но тогда речь шла не об этих коллегах по руководству КПЧ, не о касте аппаратчиков-бюрократав. Соратники Дубчека столько пережили в те дни, что я внезапно поверил в возможность прочных отношений даже в политике, отношений, которые основывались бы на личном доверии, на чести и совести, на выполнении данных обещаний, на честном слове. Однако не прошло и двух месяцев, как испарилась и эта иллюзия. Иллюзорным оказался и расчет, что Кремль захочет умиротворения. Напротив, Москва и на этот раз была заинтересована лишь в последовательном, пусть и постепенном, достижении поставленной цели.

Все-таки могут спросить, как это мы, все еще оставаясь в Кремле в положении заложников, в плену у гангстеров, могли всерьез надеяться, что с течением времени Москва сама согласится разрядить напряженность в Чехословакии, а не громить все неудобные ей политические силы? Ответа, по крайней мере, два: нам очень этого хотелось, а потому мы убеждали себя, что это возможно; кроме того, мы все еще веровали в коммунизм. Таково объяснение, но оправдания — ни политического, ни морального — нашему поведению нет.

Около полудня я заявил, что передумал и подпишу протокол вместе с остальными. Ольдржих Черник обнял меня, он был искренне рад. Радость его была эгоистична, — теперь уже никто не поступит иначе, уже нет никого, кто потом мог бы сказать: "А я не подписал!" Впрочем, радость оказалась преждевременной, ее вскоре омрачил Франтишек Кригель.

Мы еще накануне спрашивали, почему Кригеля нет среди нас. Встречаясь с отдельными членами руководства КПЧ, советская сторона придумывала всяческие отговорки. Она старалась изолировать Кригеля от остальных. Но когда дело дошло до подписания протокола, оттягивать дальше было невозможно. Кригеля привезли в Кремль. Первым с ним говорил в отдельной комнате Смрковский. Потом, после обеда, Кригель присоединился к остальным. Унизительно было его положение, а наше — постыдно. Каковы бы ни были причины и отговорки, но мы обсуждали документ в отсутствие Кригеля, а потом поставили его перед готовым решением: подписать протокол необходимо. Франтишек Кригель категорически отказался. Конечно, все мы вначале вели себя так же, а для него это было только начало, которое мы миновали еще вчера. Но Кригель остался при первом своем решении, настаивая, что не подпишет.

Мы старались его убедить. Людвик Свобода специально для Кригеля повторил свой вчерашний спектакль. Он кричал так, что Кригель не выдержал и оборвал его. Свобода замолчал. Помню, Кригель сказал: "Что они могут мне сделать? Сослать в Сибирь? Расстрелять? Я учел и такую возможность, но подписывать из-за этого не намерен". Политические мотивы компромисса он обсуждать отказывался. Он почти не слушал. Он даже не выглядел политиком. В тот момент это был человек, которому разбойники угрожают смертью, а в качестве выкупа требуют не денег, а честь, детей или жену. Такой человек говорит: "Нет, лучше убейте!" Я думаю, что Кригель, которого последние три дня все еще держали в изоляции как заключенного, решил, что его приговорили к смерти, и смирился с этим. Он не хотел в последние минуты замарать всю свою жизнь и поступить вразрез с совестью. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить значение поступка Кригеля. Просто я так понимаю причины этого поступка. В те минуты Кригель повел себя прежде всего как человек, а не как политик. И, как подтвердило будущее, его поведение гораздо точнее отвечало ситуации, чем наше: нас ведь действительно шантажировали гангстеры, но мы тешили себя иллюзией, будто мы все еще политики, с которыми ведут переговоры политики другой страны.

Франтишек Кригель сказал, что не намерен участвовать в переговорах с советским политбюро. Его увели снова. Но советская сторона еще некоторое время настаивала на привлечении

Кригеля к переговорам. По всей видимости, режиссер преднамеренно хотел довести до открытого разрыва членов чехословацкой делегации с Кригелем в присутствии советского политбюро. Дубчек на это не согласился, переговоры проходили в отсутствие Кригеля. Для сохранения некоторой симметрии, не участвовал в них и Индра. Наконец, чехословацкая делегация, на этот раз вместе с Дубчком, разместилась вдоль одной стороны стола, а напротив расположилось советское политбюро.

Переговоры начались перед наступлением вечера, открыл заседание Брежнев. Не краснея, непринужденным тоном он декламировал фразы о товарищеских отношениях и общих интересах, из которых мы вот сейчас будем исходить, чтобы достичь соглашения о дальнейших действиях в создавшейся сложной и серьезной обстановке. Он говорил о том, с каким сожалением, с какой сердечной болью приняло советское руководство решение о военном вмешательстве. Но иначе оно поступить не могло, так как интересы социализма — превыше всего. Брежнев хвалил государственный ум Людвика Свободы, верного друга Советского Союза и героя второй мировой войны; он объяснялся в любви Чехословакии. Он сам умилялся своим речам.

По сценарию, с подобной же речью должен был выступить и представитель чехословацкой стороны. Потом делегации должны были перейти к обсуждению отдельных абзацев проекта протокола. Но Дубчек все еще чувствовал себя неважно. Перед самым заседанием врач сделал ему несколько уколов. Поэтому с ответным словом выступил Черник. Он говорил, в основном, по существу, избегая болтовни о товариществе и вечной дружбе. Черник очень осторожно защищал Программу действий КПЧ и, между строк, осудил военное вмешательство.

На это ответил кто-то из советского политбюро. Атмосфера снова накалялась. Не соглашаясь с чем-то в выступлении Черника, Брежнев его перебил. Настала напряженная пауза. Черник кончил, слова попросил Дубчек — или, кажется, он просто, без процедуральных церемоний начал говорить. Вначале он слегка заикался, не мог правильно произнести некоторые слова, но постепенно овладел собой и закончил плавно. Он говорил по-русски. Это была прочувственная, вдохновенная защита "процесса возрождения" в Чехословакии, которая местами переходила в полемику, в обвинение интервентов. Дубчек импровизировал.

Он говорил, что думал, потому его выступление — и по содержанию, и по форме — произвело впечатление.

С ответом Дубчеку сразу же выступил Брежнев. На этот раз он тоже импровизировал. Кажется, это было единственное понастоящему содержательное выступление с советской стороны за все время переговоров: Брежнев тоже говорил, что действительно думал. Он коротко и ясно ответил на три основных вопроса: что больше всего раздражало Москву в Пражской весне, как понимает Москва суверенитет государства, что она считает самым важным в международной политике.

Брежнев больше не говорил ни о "контрреволюционных силах", ни об "интересах социализма". Он прямо и четко обвинил Дубчека в том, что тот проводил внутреннюю политику Чехословакии без предварительного одобрения и утверждения Брежнева, и, еще хуже, даже не считаясь с его указаниями и советами. "Я ведь тебе с самого начала хотел помочь бороться против Новотного, — говорил Брежнев Дубчеку, — и еще тогда, в январе, спрашивал тебя: не угрожают ли тебе люди Новотного? хочешь ли их сменить? хочешь заменить министра внутренних дел? или министра национальной обороны? кого хочешь еще сменить? Но ты говорил, что не хочешь, что все они — хорошие товарищи. А позже я вдруг узнаю, что ты назначил нового министра внутренних дел, нового министра обороны и других новых министров, что ты сменил секретарей Центрального Комитета".

"Еще в январе я сделал несколько замечаний к твоему выступлению, — продолжал Брежнев, — я обратил твое внимание на то, что некоторые формулировки неверны. А ты их оставил! Да разве можно так работать! Ведь у нас даже я, подготовив доклад, даю его всем членам политбюро, чтобы они высказались. Верно я говорю, товарищи? — задал Брежнев риторический вопрос, окинув взглядом политбюро, которое разместилось по обеим сторонам от него. Все закивали в знак согласия, забормотали, подтверждая сказанное начальником. — У нас — коллективное руководство, — продолжал Брежнев, — а это значит, что свои взгляды каждый должен подчинять взглядам других".

Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчек не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. "Я тебе верил, я тебя защищал перед другими, — упрекал он Дубчека. — Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ. А ты нас всех так подвел!" Во время подобных пассажей голос

Брежнев дрожал от жалости к себе; он говорил, заикаясь, со слезами в голосе. Он выглядел обиженным племенным вождем, который считает само собой разумеющимся и единственно правильным, что его положение главы племени покоится на безоговорочном подчинении и послушании, что только его мнение и только его воля — последняя инстанция, ибо только он печется о благе всех. Сама идея, что действительность может или должна была бы быть иной, ему чужда. В независимом поведении он усматривал враждебность и измену.

И вот от этого смертного греха, — то есть из того, что в Праге не всегда спрашивали согласия Кремля, — рождались, по мнению Брежнева, все остальные грехи: бурное развитие "антисоциалистических тенденций"; печать публикует все, что хочет; возникают "контрреволюционные организации", а руководство КПЧ под давлением всех этих сил постоянно отступает. Если бы Дубчек все делал с согласия и по совету Брежнева, если бы он вычеркнул из своих выступлений слова, которые Брежнев рекомендовал вычеркнуть, если бы он назначал министров и секретарей, которых Брежнев бы утвердил, ничего подобного в Чехословакии бы не случилось. Такова, вкратце, была оценка Брежневым Пражской весны.

Брежнев разъяснил Дубчеку, что Москве стало, наконец, ясно, что на его, Дубчека, руководство КПЧ положиться нельзя. И он сам, долго защищавший "нашего Сашу", вынужден был это признать. Потому что речь шла уже о совершенно ином и самом важном — об итогах второй мировой войны.

Брежнев долго и подробно говорил о жертвах Советского Союза, о погибших солдатах и гражданах, об огромных материальных потерях и страданиях советских людей во время войны. Этой ценой обеспечил Советский Союз свою безопасность, гарантия которой — послевоенный раздел Европы, как, в частности, и то, что Чехословакия связана с СССР "на вечные времена". По мнению Брежнева, это логично и справедливо, ибо тысячи советских солдат отдали жизни за наше освобождение, и их могилы наш народ обязан уважать, а не оскорблять. Наши западные границы — это не просто наши границы, это — общие границы "лагеря социализма". Советское политбюро не имеет права рисковать достижениями последней войны, так как это было бы надругательством над памятью о жертвах, которые понес советский народ.

Брежнев признавал, что сейчас, после военной интервенции, обстановка в Чехословакии сложная: люди относятся к событиям эмоционально. Он даже извинял партийное руководство Чехословакии во главе с Дубчеком, которое, по его мнению, продолжает неправильно оценивать положение. "Сегодня вам кажется невозможным согласиться с нашими действиями, — сказал Брежнев. — Но посмотрите на Гомулку. В 1956 году он, как и вы теперь, был против того, чтобы наши войска помогли Польше. Но если я сегодня заявлю, что отзываю из Польши советские войска, Гомулка сядет на самолет, прилетит сюда, чтобы просить меня этого не делать".

Брежнев даже и не пытался доказывать, будто "западные империалисты" угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать: что "западногерманские реваншисты" уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов, и т.д. Логика Брежнева была проста: мы, в Кремле, поняли, что на вас положиться нельзя. Во внутренней политике вы делаете, что хотите. При этом ваша страна лежит на территории, на которую во время второй мировой войны ступила нога советского солдата. Мы заплатили за нее огромными жертвами и уходим не собираемся. Границы этой территории — и наши границы. А вы нас не слушаетесь. В этом мы видим угрозу нашим интересам. Память о погибших во второй мировой войне, которые отдали свою жизнь и за вашу свободу, дает нам полное право послать к вам своих солдат. Мы завоевали право чувствовать себя в безопасности в наших общих границах. Не существенно, угрожает ли нам кто-либо. Речь идет о принципе, суть которого не меняется в зависимости от внешних обстоятельств. Он утверждён "на вечные времена".

Брежнев не только возмущался, он был удивлен: ведь это же так просто, как вы не понимаете? Таких слов, как суверенитет, национальная и государственная независимость, он даже не произносил. Он не повторял и дежурные фразы насчет "общих интересов социалистических стран". В его монологе содержалась одна простая идея: наши солдаты дошли до Эльбы, а потому сейчас там наша, советская граница.

"Результаты второй мировой войны, — продолжал Брежнев, — для нас незыблемы, и мы будем их защищать даже ценой но-

вого военного конфликта". Он совершенно недвусмысленно заявил, что военная интервенция в Чехословакии была бы принята даже в том случае, если бы из-за нее могла начаться третья мировая война. К этому Брежнев добавил: "Впрочем, в настоящее время опасности военного конфликта нет. Я спросил президента Джонсона, признает ли сейчас американское правительство соглашения, подписанные в Ялте и Потсдаме. И 18 августа я получил ответ: в отношении Чехословакии и Румынии эти соглашения признаются полностью, что же касается Югославии, то об этом еще следует поговорить. Так что же, по вашему мнению, будет сделано в защиту Чехословакии? — Ничего. Война из-за вас не начнется. Выступят товарищи Тито и Чаушеву, выступит товарищ Берлингуэр. Ну и что? Вы рассчитываете на коммунистическое движение Западной Европы, но оно уже пятьдесят лет никого не волнует!"

И это тоже было просто и ясно. Нам, коммунистам-реформистам, Брежнев преподал воистину ценный урок: мы, дураки, рассуждаем о какой-то модели социализма, пригодной для Европы, — в том числе и для Западной, — а он, реалист, знал, что вот уже пятьдесят лет это никого не волнует. А почему? Да потому, что граница социализма, то есть граница СССР, — пока все еще проходит по Эльбе. И американский президент с этим согласен, так что, вероятно, ничего не изменится еще лет пятьдесят.

А кто такой Берлингуэр? Разве у него есть танки? Разве может он изменить итоги второй мировой войны?

Брежнев, вероятно, ожидал, что после такого ясного, реалистического разъяснения Дубчек поймет ситуацию, и можно будет приступить к обсуждению протокола, которое завершится его торжественным подписанием. Но случилось другое. Дубчек стал возражать, — не помню уже, по какому конкретно вопросу. Он сказал что-то, что вывело Брежнева из себя. Он перебил Дубчека, начал кричать, лицо его стало красным. Наконец, Брежнев произнес сердито: "Все ваши предшествующие переговоры были бессмысленны. Все повторяется, как в Чиерне на Тиссе. Говорить больше не о чем". Брежнев заявил, что прекращает переговоры.

Брежнев, а за ним и все остальные члены советского политбюро, встали, собираясь уйти. В наступившей сумятице начал говорить Людвик Свобода. Он опять хотел утихомирить бурю. Брежнев остановился, выслушал, потом снова повернулся к выходу, добавив, что надо обсудить дальнейший порядок дейст-

вий. Он вышел в сопровождении всего советского "коллективного руководства", покидавшего зал гуськом.

Я и теперь не уверен, было ли это случайностью. И тогда у меня создалось впечатление, что нам показали заранее запланированный спектакль. Реакция Брежнева и его приказ прекратить переговоры совершенно не соответствовали обстановке. Я даже не запомнил слов Дубчека, которые послужили поводом брежневского гнева, а потому думаю, что Дубчек не сказал ничего такого, чего не говорил и раньше. Дальнейший ход переговоров тоже подтвердил, что это был обдуманый шаг. Советское политбюро подготавливало обстановку для утверждения протокола. Ему было нужно, чтобы чехословацкие реформисты повели себя осторожно и свели неприятные советской стороне замечания до минимума. Но, независимо от действительных причин этой сцены, она вызвала в зале панику.

У Дубчека снова начался нервный припадок. Он дрожал, говорил захлебываясь и бессвязно. Появились врачи со шприцами. Дубчек отталкивал их, не хотел никаких уколов и вдруг — к всеобщему изумлению — заявил: "А я не подпишу! Пусть делают со мной, что хотят — не подпишу!"

К нему подбежало несколько человек (среди них были Черник, Свобода и Смрковский); перебивая друг друга, они говорили, что это невозможно, что сейчас уже нельзя ничего переменить. Я тоже тогда думал, что так закончить переговоры нельзя. К тому же я был уверен, что поведение Дубчека обуславливалось его психическим состоянием; что через некоторое время он передумает. Я говорил с ним несколько минут, высказал это свое мнение. Мы говорили с ним по очереди, старались на него повлиять, чтобы переговоры возобновились. Дубчек слушал, но не отвечал и позиции своей не менял. "Да разве ты не видишь, ведь они совершенно не понимают, что наделали", — ответил он мне. И повторил: "Я не подпишу!" То было мгновение правды. Быть может, если бы Дубчек участвовал в совещании чехословацкой делегации прошлой ночью и занял такую же позицию, это существенно изменило бы ход переговоров в Москве. Но тогда уже было поздно. В конце концов он разрешил сделать ему успокоительный укол, а после второго тура уговоров сдался.

Но еще до того, как Дубчек сдался, обе стороны пытались возобновить переговоры. Свобода, Черник и другие реформи-

сты, а кроме них Биляк и Якеш, убегали из зала в какие-то комнаты, где они встречались с Сусловым, Пономаревым и другими. Наконец, Свобода был принят Брежневым, и они о чем-то договорились. Перерыв длился около часа. Когда переговоры возобновились, был уже поздний вечер.

Дальнейший их ход уже не был столь драматичен. Абзац за абзацем обсуждался текст протокола. Советская сторона стала уступчивей. Не могу припомнить точно, какие именно поправки были внесены в протокол на этом последнем этапе. Однако в окончательном тексте остались два важных пункта. Во-первых, там говорилось, что после их "временного" пребывания войска уйдут, хотя отход этот был обусловлен прогрессом "нормализации". Кроме того, в протоколе говорилось, что советская сторона поддерживает политическую линию январского и майского пленумов КПЧ.

По этому пункту опять разгорелся диспут. Спор возник по поводу апрельского пленума, на котором была одобрена Программа действий КПЧ. Брежнев, как и в Братиславе, возражал, якобы по соображениям стилистики, чтобы между словами "январский" и "майский" пленумы стояло тире. При такой формулировке включался и апрельский пленум. Наконец, Брежнев заявил откровенно: В программе действий есть некоторые положения, которые советское политбюро не считает правильными, а потому и не может согласиться с программой в целом. В конце концов, и нам, мол, должно быть ясно, что при создавшейся обстановке программу действий надо исправить. При этом, однако, советское политбюро полностью поддерживало резолюцию майского пленума, которая не только признает программу действий, но и называет ее основной линией партии. Правда, в этой резолюции говорится о враждебных социализму силах. На этом обсуждение закончилось.

К полуночи все было готово, настал момент подписания. Неожиданно распахнулись двери и в зал ворвалось с десятков фотографов и операторов. Тут же, как по приказу, все члены советского политбюро встали и, наклоняясь через стол, пытались обнять сидевших напротив членов чехословацкой делегации. Это напоминало театр абсурда: вспышки магния и протянутые над столом десятки рук членов советского политбюро. Казалось, какое-то фантастическое растение-мясоед хватается нас своими

липкими щупальцами. Я не встал, не сделал встречного движения. Я оттолкнулся от ножки стола, и мое кресло, скользя по натертому полу, отъехало к стене. Я оказался возле посла Коуцкого, сидевшего вместе с теми, кто не поместился за столом. Глаза Коуцкого широко раскрылись от испуга. Он прошептал: "Ты с ума сошел!" Я кивнул головой в знак согласия, добавив, что обниматься с ними не могу и не хочу. Коллективное объятие у стола кончилось. Операторы и фотографы успели его увековечить.

Потом запечатлели главных представителей обеих сторон в момент подписания протокола. После этого так же неожиданно, как их впустили в зал, фотографов выпроводили, а двери закрыли. Я слышал, как Подгорный спросил: "А разве товарищ Млинарж не подпишет?" Значит, он заметил, как я увернулся от объятий. Да он и не мог не заметить, — ведь я сидел напротив него, ко мне он тянул руки. Начали оглядываться и остальные: что, собственно, со мной происходит? Я ответил, что подпишу, встал и собственноручно поставил свою фамилию под смертным приговором, вынесенным демократической реформе Чехословакии.

Как после каждого напряженного момента, — трагичного ли, или комичного, — наступила разрядка. Но продолжалась она недолго. Атмосфера снова накалилась, когда возник спор из-за Франтишека Кригеля. Этот эпизод напоминает уголовный роман из гангстерской жизни, хотя случился он в Кремле, после переговоров, которые, как утверждалось в коммюнике, проходили "в товарищеской и дружеской обстановке".

Когда обсуждались технические вопросы, связанные с отлетом в Прагу, кто-то заметил, что Кригеля нужно привезти в Кремль, так как он должен улететь вместе со всей делегацией. На это Брежнев ответил, что, возможно, было бы лучше, если бы Кригель не улетел в Прагу с нами. "Оставьте его пока здесь, — сказал Брежнев. — Он ведь не подписал протокола, и вам будет с ним неловко". Дубчек, — и, кажется, Свобода, — решительно сказали, что делегация вернется в Прагу в полном составе. Без Кригеля мы не уедем. Брежнев продолжал настаивать. Он говорил, что Кригель будет саботировать выполнение протокола и, ссылаясь на то, что он сам протокол не подписал, будет строить оппозицию силам, которые "стремятся к консолидации".

Думаю, что за этим скрывался какой-то замысел. Все мы вдруг вспомнили, что Кригель до сих пор в заключении, что он

всего лишь заложник, а не член делегации, как мы. И сам Брежнев говорил о нем, как о заключенном, который к нам вроде и отношения не имеет. Людвик Свобода сказал, что по приезде в Прагу Франтишек Кригель и его жена будут в Ланах.* Брежнев, вероятно, подумал, что Свобода обещает посадить Кригеля в какую-то роскошную тюрьму. "Но он же может бежать! — сказал он. — Кто из вас может за него поручиться?"

Им нужен был не выкуп за заложника! Главарь банды попросту требовал заклад — как в детективе. Шпачек, Шимон и я, не сговариваясь, сказали, что ручаемся за Кригеля. Но этого оказалось недостаточно. Началась закулисная торговля. Дубчек, Свобода, Черник и Смрковский вместе с руководством советского политбюро ушли в соседнюю комнату, и там, за закрытыми дверями, они договорились. Если не ошибаюсь, и Якеш, используя свои связи, — вероятно, в органах, — пытался добиться освобождения Кригеля. Соглашение было постыдное, для Кригеля — унижительное. Пленника доставят прямо на аэродром, так как в Кремле ему не место.

Кремлевские руководители предложили собраться перед нашим отлетом — на этот раз не формально, по-дружески. Косыгин, которому развеселое поведение явно не шло, принялся шутить, вспоминая старый русский обычай, согласно которому гости не могут уехать, не присев перед дорогой, не выпив "посошка". Когда-то я читал про обычай одного из монгольских племен. Там особо милые сердцу пленники приковывались цепями к юртам, а в их босые ноги вонзали конский волос, который постепенно вращался в кожу. Этот волос как будто бы и не мешал пленнику — если, конечно, он не вставал на ноги, не пытался бежать. Обычай задерживать милых гостей, о котором говорил Косыгин, был, конечно, гуманнее. Мы провели с хозяевами еще около часа.

Все разбились на группы — по два-три человека в каждой. Ко мне подошел Косыгин и, после нескольких ни к чему не обязывающих слов, спросил, считаю ли я реальным осуществление протокола, какие трудности могут встретиться и как я смотрю на некоторые персональные проблемы. По ходу разговора он еще и еще возвращался к вопросам кадров. Я догадался, что он

* Ланы — замок неподалеку от Праги, место отдыха чехословацких президентов. В Ланах похоронен первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик.

меня прощупывает. Этот способ надежнее и проще политико-идеологических дебатов. Косыгину важно было не то, что я думаю о "социализме с человеческим лицом", а то, что я думаю о Чернике, Гусаке или Индре.

Я ответил откровенно, что если московское политбюро и дальше будет ориентироваться на людей, из которых в августе предполагалось сформировать "революционное правительство", — в их числе я назвал Биляка и Индру, — это кончится катастрофой. "Ну, эти...", — произнес Косыгин и презрительно махнул рукой. И тут же отозвался с похвалой о Гусаке. Вероятно, он хотел намекнуть, на кого они будут ориентироваться. Не возражал Косыгин и против того, что главное — воспрепятствовать победе крайних тенденций. Я ему сказал, что отставка Кригеля, Цисаржа, Павела, Гайека и других возможна лишь при том условии, что одновременно уйдут в отставку те, кто полностью скомпрометировал себя в августе. Тогда мне показалось, что Косыгин, как и мы, заинтересован в быстрой разрядке напряженности в Чехословакии.

На следующий день, уже в Праге, Дубчек сообщил нам, что в качестве условия сохранения добрых отношений с СССР в будущем Брежнев потребовал оставить за Биляком и Индрой их партийные должности.

Брежнев и остальные члены советского политбюро поехали с нами на аэродром. Это были официальные проводы, снова с фотографами и операторами. В ожидавшем нас самолете находился Франтишек Кригель. 27 августа 1968 года, около двух часов утра по московскому времени наш самолет поднялся в воздух. Мы снова молчали, но на этот раз причина была другая. Каждый думал о том, как встретят "московский протокол" дома. И думаю, что предвидения были у всех далеко не розовыми.

Роли, которые нужно было сыграть после прилета, распределили заранее. Первым публично выступит Свобода, за ним — Дубчек. Утром Черник встретится с правительством, а Смрковский — с парламентом. Дубчек, сразу после прибытия в Прагу, обсудит положение с политбюро, избранным на съезде в Высочанах. А так как после обеда он должен выступить перед народом, нужно подготовить для него текст выступления. И, как и прежде, до оккупации, это задание поручается Млинаржу и Шимону.

Мы сидим в самолете и пишем. Это наши последние спокойные часы. Думаю, что эта речь Дубчека была самой значительной из всех, когда-либо мной написанных. Дубчек немного поправил и дополнил ее — сначала на бумаге, а потом и по ходу выступления. Эта речь Дубчека стала самой известной. Огромную политическую роль сыграли тогда не только слова, но и сдерживаемые Дубчеком слезы. Этой речью Дубчеку удалось невозможное: народ опять поверил, что еще не все потеряно, что еще жива надежда и что Дубчек осуществит ее.

Э П И Л О Г

То, что мне казалось в Кремле возможным, продолжалось в Чехословакии не больше месяца. Уже в начале октября я понял, насколько иллюзорны мои представления и что в действительности события развернутся совершенно иначе. Стали проявляться первые симптомы необратимого разложения, раскола дубчековского руководства, причем раскол начался среди тех, чье единство было обязательной предпосылкой успеха реформистской политики, которую сейчас приходилось проводить в рамках компромисса с Москвой.

Единственным успехом реформистов было включение в политбюро (31 августа 1968 г.) нескольких новых членов — семерых из них выбрали в политбюро на XIV чрезвычайном съезде КПЧ. За исключением Франтишека Кригеля, все арестованные в день оккупации и увезенные в Москву партийные руководители также вошли в политбюро. Из четырех, голосовавших ночью 20 августа против осуждения советской интервенции, в политбюро остался только Василь Биляк, и то по прямому указанию Брежнева. По этим же причинам не был отозван с должности секретаря ЦК и Алойиз Индра. Он оставался в Москве по состоянию здоровья, как тогда это объясняли, и его судьба должна была решиться позже. В партийном руководстве остались Пиллер, Ленарт и Барбирек, которые 22 августа согласились войти в "революционное рабоче-крестьянское правительство", но среди 24 членов нового политбюро ЦК КПЧ эти люди составляли меньшинство. Вошли в политбюро также Гусак и Свобода.

В сентябре в Прагу приехал московский эмиссар Кузнецов. У него были большие полномочия и по партийной линии. Кузнецов сразу же приступил к работе: он переговорил с каждым членом политбюро в отдельности и, выяснив ситуацию, искусно обострял разногласия, о которых узнавал во время бесед. После моей встречи с ним и по рассказам других я понял, что глав-

ной миссией Кузнецова была разработка рекомендаций для Москвы, кого в политбюро следовало бы поддержать, а кого как можно быстрее отстранить от должности. Обычно он начинал разговор с комплиментов собеседнику. Встретившись со мной, Кузнецов передал мне личный привет от Брежнева и подчеркнул, что товарищ Брежнев высоко оценил мою статью, опубликованную тогда в "Руде право". Йозефа Шпачека он заверил, что его арест 20 августа был грубой ошибкой, что товарищи в Москве весьма сожалеют об этом и что Шпачек пользуется полным доверием Кремля. После такого рода преамбул Кузнецов в непринужденном тоне пытался выяснить, кто какую позицию занимает по конкретным вопросам, связанным с трактовкой "московского протокола". Кузнецов часто задавал провокационные вопросы, незаметно переходил к разговору о том, кто как оценивает отдельных членов политбюро — от Дубчека вплоть до Индры.

Моя оценка Индры, да и другие высказывания привели к тому, что в блокнотике Кузнецова я оказался среди тех, на кого нельзя рассчитывать. Он спросил, как бы следовало "поступить с Индрой". Я ответил, что, поскольку Индра все еще в Москве, то проблему эту решить не трудно: ему вообще не следует возвращаться в Прагу. Неприветливое лицо Кузнецова стало еще более неподвижным. Он, возможно, счел это намеком на судьбу ряда коммунистических деятелей, которые при Сталине из кремлевской больницы уже не выходили. Я добавил, что Индра мог бы остаться в Москве как представитель Чехословакии в СЭВе, например, и обосновал это предложение так: по-моему, роль Индры в августе исключает его возвращение на политический пост в Праге. Об этом я еще в Кремле говорил с Косыгиным, и тот не только не возражал, но и согласился со мной. После этого Кузнецов перестал притворяться любезным и быстро закончил беседу.

Мне кажется, что первым отошел от общей линии Черник — как в разговорах с Кузнецовым, так и во время своих сольных визитов в Москву. Союз с Дубчеком, Смирковским и другими, который Черник заключил в Москве, он уже в сентябре стал менять за надежду, что Москва поддержит его и при изменившейся расстановке сил. За эту надежду Черник отрекся от меня, затем от Смирковского и, наконец, от Дубчека, объединившись со

Штроугалом, который был его личным приятелем, Гусаком и Свободой. Весьма возможно, что Черник рассчитывал стать вместо Дубчека первым секретарем ЦК КПЧ. В апреле 1969 г., когда под нажимом Москвы Дубчек должен был отказаться от должности, он сам выдвинул кандидатуру Черника как своего преемника. Дубчек ни за что не хотел, чтобы эту должность получил Гусак: он опасался и, как подтвердилось позже, у него были для этого основания, что стремление к власти и другие черты характера Гусака будут чреваты катастрофическими последствиями для партии — даже более серьезными, чем оккупация. Черник, каким бы он ни был слабохарактерным, все же внушал надежду, что рациональная и прагматическая "нормализация" не сменится произволом сталинских подонков, которых устранили от власти еще при Новотном.

Во время визитов в Москву Черник прежде всего нарушил соглашение руководителей чехословацкой компартии добиваться постепенного вывода советских войск из Чехословакии. В соответствии с "московским протоколом", чехословацкое руководство должно было настаивать на удалении всех советских частей. Черник первый согласился с положениями, которые вошли в договор о пребывании советских войск в Чехословакии, подписанный в октябре 1968 г., фактически узаконившими неограниченное во времени пребывание 100 тысяч советских солдат на территории Чехословакии.

Эти действия Черника обеспечили ему пребывание на посту председателя правительства до конца января 1970 г., т.е. всего на несколько месяцев после падения Дубчека и исключения из ЦК КПЧ всех, кого он в августе 1968 г. обнимал в Кремле и кому клялся в верности.

Черника тоже принесли в жертву, и его кресло занял его друг Любомир Штроугал. Но до этого Черник — единственный из тех, кого в августе 1968 г. намеревались поставить перед "революционным трибуналом", оплевал демократические реформы Пражской весны и свое участие в их проведении. После исключения Черника из партии весной 1970 г. у него на время прояснилось сознание, и он в частной беседе сказал:

— Я потерял не только свой пост, но и честь.

Александр Дубчек тоже вначале рассчитывал сохранить свое

положение и получить поддержку Москвы. Он не понимал, что Москва окончательно списала его со счетов и что политическая игра, первым ходом которой был визит Кузнецова, началась именно ради замены Дубчека. Я сказал ему об этом в январе 1969 г., но он не хотел этого понять. Он утверждал, что договорился с Москвой и что советские войска уйдут из Чехословакии, как только ему удастся убедить Брежнева в необходимости такого акта, что он продолжает оставаться хозяином положения.

— Если бы некоторые журналисты и те, кто не понимают, что они неприемлемы для Москвы, не мешали бы, говорил тогда Дубчек, все давно уже было бы согласовано.

Он говорил это на следующий день после саможжения Яна Палаха — акта протеста против капитуляции перед оккупантами. Дубчек действительно верил, что разговоры с Брежневым в московских кулуарах и на охоте в Киеве имеют какое-то значение. За неделю до этого под давлением Москвы, инспирированным нажимом Гусака, вынужден был подать в отставку председатель Национального собрания Йозеф Смирковский. Дубчек еще занимал пост первого секретаря КПЧ, но из его бывших сторонников у руководства остались только Черник, Гусак, Штроугал и Свобода. Среди секретарей ЦК КПЧ уцелел лишь один реформист — Йозеф Шпачек. Кроме него должности секретарей занимали Биляк, Индра, Ленарт и Йозеф Кемпный — весьма преданный Чернику человек. Москве оставалось устранить только самого Дубчека, а он продолжал верить в свою победу. Я не понимал этой веры тогда и не могу понять ее до сих пор. Возможно, тогда все лгали Дубчеку, в первую очередь Брежнев. Но как он мог верить им?

Меня Дубчек списал давно, во время переговоров в Москве, которые состоялись 4 октября 1968 г. Вначале на эти переговоры должна была поехать делегация из четырех человек: Дубчек, Черник, Гусак и я. Меня даже уполномочили подготовить материалы для переговоров. Но накануне отъезда я был исключен из состава делегации. Дубчек объяснил, что Брежнев настаивает на трехчленной чехословацкой делегации, поскольку с советской стороны будут тоже трое. Разумеется, я не принял это объяснение всерьез, понимая, что причины моего удаления из делегации заключаются в другом — либо этого потребовал

Брежнев, либо Гусак и Черник, либо все они вместе. Чехословацкая тройка вернулась из Москвы с дополнительными требованиями оккупантов, которые выходили за рамки так называемого московского протокола. Делегация согласилась с пребыванием советских войск на территории Чехословакии на неограниченное время, она согласилась также отложить на неограниченный срок созыв съезда КПЧ и приняла к сведению заявление политбюро КПСС, что Программа действий КПЧ — неверная программа. Кроме того, были согласованы дополнительные удаления из руководства — среди этих жертв был и я.

О том, что Дубчек в Москве продал меня, он сообщил мне только несколько недель спустя. Я же понял это сразу после возвращения делегации из Москвы. Я встретился с Дубчеком наедине, и старался убедить его, что целью усиливающегося давления Москвы является постепенное устранение с руководящих постов всех реформистов, а потому необходимо обдумать альтернативное решение: Дубчек и его люди должны были подать в отставку, назначив таких преемников, которые гарантировали бы сохранение хотя бы минимума реформ и помешали бы наступлению сталинистов и советской агентуры в партии. Только такая мера, говорил я, воспрепятствует распаду партии и превращению ее в организацию, которая и в будущем не будет способна пойти по пути реформ. Биляк не скрывал своего мнения, что половину членов КПЧ следует исключить, и только тогда партию можно будет назвать "ленинской".

Я считал, что единственной возможностью помешать Биляку, Индре, Якешу и другим организаторам "революционного рабоче-крестьянского правительства" взять все в свои руки — это заменить Дубчека, Шпачека, Шимона и меня людьми, выбранными Дубчеком. Я предлагал назначить Черника первым секретарем КПЧ, а Штроугала — председателем правительства. Если они займут эти самые высокие посты в государстве, то им удастся удержать Гусака в Братиславе, заручиться поддержкой Москвы и контролировать сталинистов в партии, поскольку и Черник и Штроугал были связаны с прагматистами и в партийном и в государственном аппарате. Конечно, придется заморозить политическую реформу на несколько лет, но некоторое время спустя путем чехословацкой "кадаризации" можно будет снова действовать в духе 1968 года.

Дубчек отклонил мои предложения. Его положение не казалось ему безнадежным. Он отказался подать в отставку, но не уговаривал меня остаться, и я понял, что обо мне с ним говорили в Кремле. Я взял отпуск на две недели и уехал за город, в лес, отсыпался и размышлял на свежем воздухе.

Но оценки мои не изменились. Подписав "московский протокол", руководство КПЧ утратило возможность опираться на свободную активность народа. Согласившись "нормализовать положение" в стране, руководство КПЧ отреклось от всенародного демократического движения, активизировавшегося до августа 1968 г., когда люди свободно проявляли свою волю. Фактически с конца августа дубчечковское руководство занималось исключительно умиротворением всенародного движения против оккупации, стараясь ввести это движение в такое русло, которое не спровоцировало бы нового нажима Москвы и требований ускоренной "нормализации". Можно было рассчитывать лишь на молчаливое соглашение между руководством и народом, что народ поймет: многое было принесено в жертву лишь для того, чтобы сохранить силы на будущее.

Однако, рассчитывая на это, необходимо было действительно беречь силы. А для достижения этого следовало сделать то, о чем я говорил Дубчеку. Если же мы поступим иначе, полагал я, то Москва предпримет новые атаки и будет наступать до тех пор, пока не сбросит Дубчека и его людей. Весьма возможно, что для достижения своей цели Кремль мобилизует даже тех, кого отстранили от политической деятельности в Чехословакии в 60-е годы, и все достигнутое в результате более чем десятилетних усилий реформистов будет уничтожено, а партия станет соответствовать представлениям Василя Биляка. Я решил еще раз попытаться повлиять на Дубчека и других, а если это не удастся, уйти со всех должностей, поскольку, оставаясь на них, я все равно не смогу ничего сделать. Возможно, удалось бы удержаться на месте неделю или месяц, но потом все равно меня устроят, поскольку так решила Москва. Но тогда это не только не принесет никакой пользы реформе, а, напротив, нанесет ей еще больший вред.

В Прагу я вернулся в конце октября. Свои соображения я высказал Смирковскому, Шпачеку, Шимону и еще раз Дубчеку. Первые трое по общим вопросам со мной согласились, но оговари-

ли, что их окончательная позиция будет зависеть от решения Дубчека. Если он не подаст в отставку и не выберет нового первого секретаря, их уход будет лишен всякого смысла. Только Богумил Шимон склонялся к тому, чтобы, как и я, подать в отставку независимо от позиции Дубчека. Дубчек, однако, своего решения не изменил. В начале ноября он откровенно сказал мне, что моя отставка пошла бы на пользу делу и что об этом с ним говорили в Кремле. Он уверял меня, что после ухода в отставку я сохраню свою серьезную роль, поскольку он намерен консультироваться со мной и в дальнейшем, и его двери открыты для меня днем и ночью, как и двери всех других членов партийного руководства. После этого Дубчек предложил мне пост министра культуры.

Я ответил, что эту должность мне предлагали в августе в советском посольстве, но я отказался тогда и отказываюсь сейчас. Любая должность важна для меня постольку, поскольку позволит мне влиять на реализацию демократической реформы. Сейчас об этом даже речи быть не может, а потому это лишь моя личная проблема, и я намерен вернуться к исследовательской работе. Дубчек не возражал, и на этом мы и порешили.

Последнее поручение, которое я выполнил как секретарь ЦК КПЧ, была подготовка совместно с Йозефом Шпачеком проекта резолюции, в ноябре 1968 г. утвержденной пленарным заседанием ЦК КПЧ. Это было моей последней попыткой определить рамки, в которых сохранилась бы хоть какая-то возможность проводить линию реформ. Я не очень надеялся, что это мне удастся, да и текст резолюции оказался не таким, какой мы со Шпачеком подготовили. Ночью, еще до заседания ЦК КПЧ, Дубчек (возможно, вместе с Черником и Гусаком) полетел в Москву для консультации с Брежневым. После этого из проекта резолюции были вычеркнуты абзацы, в которых учуяли препятствие признанию обоснованности военной интервенции. Затем в проект резолюции были включены абзацы об опасности "правового оппортунизма" в рядах КПЧ. Говоря откровенно, мне это уже было безразлично. Я понял, что больше ни на что повлиять не могу.

16 ноября 1968 г. Пленум ЦК КПЧ принял мою отставку. Я ушел со всех занимаемых мною должностей, но продолжал ос-

таваться членом ЦК КПЧ. После этого я присутствовал только на одном заседании ЦК. Это заседание началось 16 января 1969 г. в день, когда в Праге покончил жизнь самоسوжением Ян Палах. Когда об этом стало известно присутствовавшим на пленуме членам ЦК, слова попросила Хелена Рашкова — известный врач. Она сказала, что ей стыдно слушать, о чем говорят на пленуме, и, возможно, именно потому, что Палах знал об этом, он решился на столь отчаянный протест. Ее грубо одергивали из зала, мешали говорить. Вилем Новый, который впоследствии, во время "нормализации", вел себя как лакей, выступил с циничной речью о Палахе. Смерть пражского студента, потрясая мир, нисколько не взволновала тех, на чьей совести она была.

Перед началом пленарного заседания, на совещании политбюро и секретариата, вдруг появился скрывавшийся прежде в Москве Алойиз Индра. Я почувствовал физическую тошноту. Все, кого должен был судить "революционный трибунал" Индры, за исключением Франтишека Кригеля, сидели рядом с ним. И делали вид, что ничего, собственно, не произошло. Просто товарищ Индра снова вместе с нами. Такую же тошноту я почувствовал на заседании Центрального Комитета, когда некоторые его члены кричали на Хелену Рашкову. Я подумал, что эта компания, возможно, снова начнет арестовывать и казнить своих же. Тогда, наверное, Кремль признает, что положение в Чехословакии вернулось к норме.

Больше я на заседания ЦК не ходил — ни в апреле, когда секретарем ЦК выбрали Гусака, ни в сентябре, когда меня исключили из ЦК. Но в нем оставались люди, свергнувшие Антонина Новотного, принявшие Программу действий, избравшие Александра Дубчека и меня.

Мог ли я верить, что их политическая позиция во время Пражской весны была искренней? Разве не знал я, что отечески ласковый Антонин Запотоцкий поднял руку за смертный приговор своим многолетним друзьям и товарищам? Нынешние члены ЦК поступают так же и, возможно, это нормально для нашего общества.

Еще до исключения из ЦК я должен был предстать перед Комиссией политбюро. В комиссию входили Ян Пиллер, Эвжен Эрбан и Ольдржих Воленик, с которыми я вместе был в политбюро.

Вначале все выглядело как на встрече старых знакомых, не видевшихся некоторое время. Затем Пиллер в весьма светской форме сообщил мнение политбюро, в то время уже гусаковско-го: товарищи признают, что я не был экстремистом и не придерживался правых взглядов; они ценят это и считают, что мне нетрудно будет удовлетворить их пожелание. На предстоящем пленарном заседании я должен выступить с заявлением, что, во-первых, отказ поехать на встречу с агрессорами в Варшаву в июле 1968 г. был ошибкой, и, во-вторых, что еще летом того же года я говорил Смрковскому, что его политическая позиция зависит от того, куда ветер дует. Если я выступлю, то останусь членом ЦК КПЧ. На вопрос, что произойдет, если я откажусь сделать эти заявления, Пиллер коротко ответил:

— В таком случае ты членом ЦК оставаться не сможешь.

Я отказался от их предложения. Я сказал им, что мое мнение о встрече в Варшаве полностью противоречит их мнению, а что касается Смрковского, которому я действительно нечто похожее высказал, то я вовсе не думаю, что это главная черта его характера. Если я когда-нибудь снова буду вместе с ним в политбюро, и я снова сочту его позицию неверной, то я скажу ему это в глаза, а не выполняя чью-то грязную работу.

— Я предполагал, что ты откажешься, — сказал Пиллер. — Мне это даже нравится. Просто противно наблюдать, как люди меняют кожу. До тебя мы беседовали с Цисаржем, и было просто тошно.

При этом сам Пиллер относился к категории хамелеонов.

— Я рад, — ответил я, — что тебя тошнит от тех, кто меняет кожу. Боюсь, теперь ты себя часто будешь плохо чувствовать.

На этом беседа закончилась. Позже я узнал, что эта тройка представила Центральному Комитету письменную экспертизу, в которой меня называли "правым оппортунистом" и предлагали исключить из Центрального Комитета.

Тогда из ЦК были изгнаны все, кто оставался на позициях Пражской весны, в том числе Йозеф Смрковский, клеветой на которого мне предлагалось сохранить свое членство в ЦК. Смрковский, в молодости пекарь, был старым, еще довоенным коммунистическим деятелем. Он кончил школу Коминтерна в Москве, во время войны был в подполье, причем с 1944 г. был членом подпольного ЦК КПЧ. Во время Пражского восстания

(май 1945 г.) он был заместителем председателя Чешского национального совета, затем, вплоть до 1951 г. — членом партийного руководства и заместителем министра сельского хозяйства. В 1951 г. он был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Из тюрьмы вышел после смерти Сталина в 1955 г. Реабилитировали Смрковского только в 1963 г., и Новотный снова вернул его на политическую арену. Смрковский стал министром, депутатом Национального собрания, а в 1966 г. членом ЦК. Кроме Кригеля, Смрковский был единственным в дубчековском руководстве представителем старой гвардии коммунистических деятелей и воплощал в себе их типичные качества — как положительные, так и отрицательные.

Смрковский был воинствующим политиком. Заняв определенную позицию, он ее упорно защищал. У него была склонность к демагогии, характерная для митинговых ораторов и трибунов. Он быстро улавливал политическое значение событий и так же быстро принимал решения. Но Смрковский был умудрен жизненным опытом, а потому понимал, что ошибочные решения не следует упрямо защищать, а правильное во-время изменить их. Поэтому в дебатах он готов был выслушать самые противоречивые точки зрения и переубедить его было легче, чем Дубчека. Если Смрковский менял свое мнение, он так же упорно и с такой же страстью защищал новое. По некоторым вопросам Смрковский менял позицию, и в этой его черте сторонники "нормализации" до сих пор видят доказательство бесхарактерности и называют его в пропагандистских брошюрках "двуличным политиком".

Я совершенно убежден, что некоторые головокружительные перемены во взглядах Смрковского ничего общего с бесхарактерностью не имеют. Во всех кризисных ситуациях, когда речь шла не только о карьере, но и о жизни, Смрковский вел себя как принципиальный, стойкий человек. Таким он был в подполье во время войны, таким оставался в заключении, так он повел себя в августовские дни 1968 г. В кризисной ситуации Смрковский своей позиции не менял и защищал ее так, как положено убежденному верующему человеку. Пражская весна была для Смрковского воплощением его надежд и веры, с сознанием этого он защищал ее идеалы. К тому же Пражская весна

была последней возможностью Смирковского реализовать себя как политика: в 1968 году ему было уже 57 лет, и он был болен. Обвинения Смирковского в карьеризме карьеристами "нормализованной" КПЧ нельзя охарактеризовать иначе, как одну из подлостей в их послужном списке.

В ситуациях не критических Смирковский позволял себе колебания. Я говорил об этом в связи с заседанием партийного руководства в июне 1968 г. по поводу манифеста "Две тысячи слов". О другом таком случае мне предложили рассказать, чтобы сохранить членство в ЦК КПЧ. Это произошло до переговоров в Чиерне на Тиссе. Я готовил для обсуждения на политбюро законопроект о Национальном фронте. Этот закон, как я надеялся, должен был укрепить позиции чехословацкого политбюро на переговорах с советским. Смирковский обещал поддержать меня, но позже, на заседании, он изменил свою позицию — на него повлияли его советники из кругов радикальной коммунистической интеллигенции. Во время перерыва за ужином я оказался рядом со Смирковским и действительно сказал ему, что его политика определяется направлением ветра. Смирковский знал, что он подвел меня, и, мне думается, чувствовал себя неловко. Видимо, поэтому он ответил очень глупо:

— Посмотри на список популярных политиков в сегодняшних газетах, — сказал Смирковский. — Я на пятом месте.

Я раздраженно спросил, чем он будет руководствоваться, когда снова запретят печатать в газетах такие списки. Смирковский смолчал. Сидевшие близко слышали нас. Среди них, мне кажется, был и Пиллер.

Смирковского исключили из руководства одним из первых, так как он открыто выступил против "нормализации". Дубчек, Кригель, Шпачек, Шимон, Славик и я тогда молчали, у каждого, правда, были на это свои причины, но все мы молчали. А ведь речь шла о том, пойдут ли и на этот раз люди без сопротивления, как скот на бойню, позволят ли запрячь себя в старо-новое ярмо тоталитарной диктатуры, или хотя бы взявшие на себя ответственность и ставшие политическими руководителями народа поднимут голос. В сентябре 1971 г. итальянский коммунистический журнал "Vie nuove Giorni" опубликовал интервью с ним, в котором член бывшего дубчеховского руководства критиковал проводившуюся тогда в Чехословакии политику "нормали-

зации". На этот раз Смрковский не колебался подставить себя под удар — как он не раз поступал в действительно критических ситуациях.

Его авторитет в народе еще больше возрос, но в той же степени углубилась ненависть властей и усилился полицейский надзор. Так продолжалось до самой его смерти. Режим мстил и мертвому Смрковскому — до сих пор на пражском кладбище нет его могилы. Урна с пеплом Смрковского была поставлена в семейную гробницу — и ее украли. Органы государственной безопасности сообщили, что она была найдена в туалете (!) скорого поезда Прага — Вена, и сконструировали версию, что Смрковского намеревались в "провокационном порядке похоронить в Австрии". Полиция вернула урну семье, но запретила захоронить ее на пражском кладбище, поскольку "провокация" могла повториться. С пеплом Смрковского поступили так же, как с гробом Яна Палаха, могила которого на Ольшанском кладбище была уничтожена — режим боялся их и мертвых.

Через полгода после исключения из ЦК я был исключен из партии. Это произошло в марте 1970 г. Меня вызвали к Милошу Якешу в Центральную ревизионную комиссию КПЧ. Начиналась жесточайшая чистка, в результате которой из КПЧ выбыла треть членов. Я был одним из первых. Мое дело должно было стать образцом для партийных организаций — директивой, кого и за что исключать. Якеш не принимал участия в слушании. Вместо него присутствовал заместитель председателя контрольной комиссии О. Мандяк.

Час спустя закончился период моей жизни, продолжавшийся почти четверть века. Я не просил выдать мне новый партийный билет, обосновав это несогласием с советской интервенцией в августе 1968 г. и с политикой КПЧ на протяжении последнего года. Коммунистическая партия Чехословакии — это организация, в которую можно добровольно вступить, но из которой нельзя выйти по собственному желанию. Гусаковское руководство не могло допустить, чтобы я сам отказался от партбилета, ему нужно было наказать меня исключением.

Текст с обоснованием моего исключения из партии уже был подготовлен. Я отказался подписать его, поскольку формулировки напоминали тирады из речей прокурора на политических

процессах 50-х годов. Комиссии понадобился час на то, чтобы выбросить некоторые фразы, изменить другие и составить новый протокол.

После собеседования я зашел в туалет. Минуту спустя туда же вбежал председатель трибунала Мандяк. Увидев меня, он заколебался, но все-таки подошел к соседнему писсуару и приступил к делу.

— У тебя много работы с нами? — спросил я его.

— Нет, сегодня еще только трое, — ответил Мандяк и мы снова замолчали.

Я уже мог уйти, но намеренно задержался. Я хотел, чтобы Мандяк ушел первым и попрощался. Мне было интересно, произнесет ли он официальное приветствие чехословацких коммунистов: "Честь труду". Мандяк торопился, его ждали, и он нашел компромиссное решение:

— До свиданья, товарищ, — сказал он мне.

Если бы четверть века назад, когда я воодушевленным идеалистом вступал в партию, кто-нибудь сказал, каким фарсом закончится мое пребывание в ней, я стал бы его врагом не на жизнь, а на смерть. Четверть века назад я бы считал, что не переживу исключения. А сейчас я просто ощущал конец одного жизненного этапа и понимал, что начинается новый, возможно — более важный. Я даже чувствовал своего рода облегчение.

Еще семь лет я жил в Чехословакии, но уже не в среде привилегированных и власть имущих, а в гетто, среди отверженных. Партия, которой я посвятил почти 25 лет жизни, отвергла меня, не оставив, однако, своим вниманием. Мною занялись те, кому поручены судьбы противников тотальной власти этой партии — работники политической полиции.

Однако эти семь лет — материал для другого рассказа.

Заказы на книгу 3. Млинаржа посылать по адресу:

**Problems of Eastern Europe
P.O. Box 566
Maspeth, New York 11378**